

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



Чанак и Тучетом





ВАГРИУС

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



ПРЕДИСЛОВИЕ
Ургана
Джамбона
Тулку
VII

• ВАГРИУС •
МОСКВА • 1996

**ББК 84 Р7
П 23**

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

4702010201
П **Без объявл.**

ББК 84 Р7

С82(03)-96
ISBN 5-7027-0344-8

© Издательство «ВАГРИУС», 1996

© В.Пелевин, автор, 1996

© Е.Вельчинский, дизайн сери, 1996

*Глядя на лошадиные морды и лица людей,
на безбрежный живой поток, поднятый
моей волей и мчащийся в никуда по багровой
закатной степи, я часто думаю:
где Я в этом потоке?*

Чингиз Хан

Имя действительного автора этой рукописи, созданной в первой половине двадцатых годов в одном из монастырей Внутренней Монголии, по многим причинам не может быть названо, и она печатается под фамилией подготовившего ее к публикации редактора. Из оригинала исключены описания ряда магических процедур, а также значительные по объему воспоминания повествователя о его жизни в дореволюционном Петербурге (т.н. „Петербургский Период“). Данное автором жанровое определение — „особый взлет свободной мысли“ — опущено; его следует, по всей видимости, расценивать как шутку.

История, рассказываемая автором, интересна как психологический дневник, обладающий рядом несомненных художественных достоинств, и ни в коей мере не претендует на что-то большее, хотя порой автор и берется обсуждать предметы, которые, на наш взгляд, не нуждаются ни в каких обсуждениях. Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание „литературного произведения“, а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни. Кроме того, в двух или трех местах автор пытается скорее непосредственно указать на ум читателя, чем заставить его увидеть очередной слеplенный из слов фантом; к сожалению, эта задача слишком проста, чтобы такие попытки могли увенчаться успехом. Специалисты по литературе,

вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма, но подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении.

Теперь скажем несколько слов о главном действующем лице книги. Редактор этого текста однажды прочел мне танка поэта Пушкина:

*И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной.*

В переводе на монгольский словосочетание „отважная жертва“ звучит странно. Но здесь не место углубляться в эту тему — мы только хотели сказать, что последние три строки этого стихотворения в полной мере могут быть отнесены к истории Василия Чапаева.

Что знают сейчас об этом человеке? Насколько мы можем судить, в народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого Ходжи Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на известном фильме тридцатых годов. В этом фильме Чапаев представлен красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные разговоры со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки белых. Но к жизни реального Чапаева это не имеет никакого отношения, а если и имеет, то подлинные факты неузнаваемо искажены домыслами и недомолвками.

Вся эта путаница связана с книгой „Чапаев“, которая была впервые напечатана одним из париж-

схиз издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздана в России. Не станем тратить времени на доказательства ее неаутентичности. Любой желающий без труда обнаружит в ней массу неувязок и противоречий, да и сам ее дух — лучшее свидетельство того, что автор (или авторы) не имели никакого отношения к событиям, которые тщатся описать. Заметим кстати, что, хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги по причинам, которые будут видны из нашего повествования. Невероятно, но приписываемый ему текст многие до сих пор воспринимают чуть ли не как документальный.

За этим существующим уже более полувека подлогом несложно увидеть деятельность щедро финансируемых и чрезвычайно активных сил, которые заинтересованы в том, чтобы правда о Чапаеве была как можно дольше скрыта от народов Евразии. Но сам факт обнаружения настоящей рукописи, как нам кажется, достаточно ясно говорит о новом балансе сил на континенте.

И последнее. Мы изменили название оригинального текста (он озаглавлен „Василий Чапаев“) именно во избежание путаницы с распространенной подделкой. Название „Чапаев и Пустота“ выбрано как наиболее простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта — „Сад расходящихся Петех“ и „Черный бублик“.

Посвящаем созданный этим текстом заслугу благу всех живых существ.

Ом мани падме хум.

Урган Джамбон Тулку VII,

*Председатель Буддийского Фронта
Полного и Окончательного Освобождения
(ПОО (б))*

Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел — опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац.

Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно — оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: „Да здравствует первая годовщина Революции“. Но никакого желания иронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через „ять“, у меня не было — за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном.

Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора — я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному „р-р“ в словах „пролетариат“ и „террор“. Мимо

меня прошли два пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с примкнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать; к счастью — и его, и моему — второй дернул его за рукав, и они ушли.

Я повернулся и быстро пошел вниз по бульвару, гадая, отчего мой вид вызывает постоянные подозрения у всей этой сволочи. Конечно, одет я был безобразно и безвкусно — на мне было грязное английское пальто с широким хлястиком, военная — разумеется, без кокарды — шапка вроде той, что носил Александр Второй, и офицерские сапоги. Но дело было, видимо, не только в одежде. Вокруг было немало людей, выглядящих куда более нелепо. К примеру, на Тверской я видел совершенно безумного господина в золотых очках, который, держа в руках икону, шел к черному безлюдному Кремлю — но никто не обращал на него внимания. Я же постоянно ловил на себе косые взгляды и каждый раз вспоминал, что у меня нет ни денег, ни документов. Вчера в привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же после того, как увидел свое отражение в треснутом зеркале; с бантом я выглядел не только глупо, но и вдвойне подозрительно.

Впрочем, возможно, что никто на самом деле не задерживал на мне взгляда дольше, чем на других, а виной всему были взвинченные нервы и ожидание ареста. Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она уже произошла, и этот ледяной бульвар, по которому я иду, не что иное как преддверие мира теней. Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (разумеется, та же духовная сущность).

О, в каких подробностях увидел я вдруг эту сцену! Граф Толстой в черном трико, широко взмахивая руками, катил по льду к далекому горизонту; его движения были медленны и торжественны, но двигался он быстро, так, что трехглавый пес, мчавшийся за ним с беззвучным лаем, никак не мог его догнать. Унылый красно-желтый луч неземного заката довершал картину. Я тихо засмеялся, и в этот самый момент чья-то ладонь хлопнула меня по плечу.

Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория Фон Эрнена — человека, которого я знал с детских лет. Но боже мой, в каком виде! Он был с головы до ног в черной коже, на боку у него болталась коробка с маузером, а в руке был какой-то несуразный акушерский саквояж.

— Рад, что ты еще способен смеяться, — сказал он.

— Здравствуй, Гриша, — ответил я. — Странно тебя видеть.

— Отчего же?

— Так. Странно.

— Откуда и куда? — бодро спросил он.

— Из Питера, — ответил я. — А вот куда — это я хотел бы узнать сам.

— Тогда ко мне, — сказал Фон Эрнен, — я тут рядом, один во всей квартире.

Глядя друг на друга, улыбаясь и обмениваясь бессмысленными словами, мы пошли вниз по бульвару. За то время, пока мы не виделись, Фон Эрнен отпустил бородку, которая сделала его лицо похожим на проросшую луковицу; его щеки обветрились и налились румянцем, словно несколько зим подряд он с большой пользой для здоровья катался на коньках.

Мы учились в одной гимназии, но после этого виделись редко. Пару раз я встречал его в петербургских литературных салонах — он писал стихи, напомиавшие не то предавшегося содомии Некрасова, не

то поверившего Марксу Надсона. Меня немного раздражала его манера нюхать на людях кокаин и постоянно намекать на свои связи в социал-демократических кругах. Впрочем, последнее, судя по его нынешнему виду, было правдой. Было поучительно видеть на человеке, который гораздо был в свое время поговорить о мистическом смысле Св. Троицы, явные знаки принадлежности к воинству тьмы — но, разумеется, в такой перемене не было ничего неожиданного. Многие декаденты вроде Маяковского, учувя явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не сознательный сатанизм — для этого они были слишком инфантильны, — а эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту.

— Как дела в Питере? — спросил Фон Эрнен.

— А то сам не знаешь, — сказал я.

— Верно, — поскучнев, согласился Фон Эрнен. — Знаю.

Мы свернули с бульвара, перешли мостовую и оказались у семиэтажного доходного дома прямо напротив гостиницы „Палас“ — у дверей гостиницы стояли два пулемета, курили матросы и трепалась на ветру красная мулета на длинной палке. Фон Эрнен дернул меня за рукав.

— Глянь-ка, — сказал он.

Я повернул голову. На мостовой напротив подъезда стоял длинный черный автомобиль с открытым передним сиденьем и кургузой кабинкой для пассажиров. На переднее сиденье намело изрядно снега.

— Что? — спросил я.

— Мой, — сказал Фон Эрнен. — Служебный.

— А, — сказал я. — Поздравляю.

Мы вошли в подъезд. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по темной лестнице, с которой еще не успели ободрать ковровую дорожку.

— Чем ты занимаешься? — спросил я.

— О, — сказал Фон Эрнен, — так сразу не объяснишь. Работы много, даже слишком. Одно, другое, третье — и все время стараешься успеть. Сначала там, потом здесь. Кто-то же должен все это делать.

— По культурной части, что ли?

Он как-то неопределенно наклонил голову вбок. Я не стал спрашивать дальше.

Поднявшись на пятый этаж, мы подошли к высокой двери, на которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от сорванной таблички. Дверь открылась, мы вошли в темную прихожую, и на стене немедленно задребезжал телефон. Фон Эрнен снял трубку.

— Да, товарищ Бабаясин, — заорал он в эбонитовую чашку. — Да, помню... нет, не присылайте... Товарищ Бабаясин, да не могу я, ведь смешно будет... Только представить — с матросами, это же позор... Что? Приказу подчиняюсь, но заявляю решительный протест... Что?

Он покосился на меня, и, не желая смущать его, я прошел в гостиную.

Пол там был застелен газетами, причем большинство из них было уже давно запрещено — видимо, в этой квартире сохранились подшивки. Видны были и другие следы прежней жизни — на стене висел прелестный турецкий ковер, а под ним стоял секретер в разноцветных эмалевых ромбах — при взгляде на него я сразу понял, что тут жила благополучная кадетская семья. У стены напротив помещалось большое зеркало. Рядом висело распятие в стиле модерн, и на секунду я задумался о характере религиозного чувства, которое могло бы ему соответствовать. Значительную часть пространства занимала огромная кровать под желтым балдахинном. То, что стояло на круглом столе в центре комнаты, показалось мне —

возможно, из-за соседства с распятием — натюрмортом с мотивами эзотерического христианства: литровка водки, жестяная банка от халвы в форме сердца, ведущая в пустоту лесенка из лежащих друг на друге трех кусков черного хлеба, три граненых стакана и крестообразный консервный нож.

Возле зеркала на полу валялись тюки, вид которых заставил меня подумать о контрабанде; пахло в комнате кисло, портянками и перегаром, и еще было много пустых бутылок. Я сел за стол.

Вскоре скрипнула дверь, и вошел Фон Эрнен. Он снял кожанку, оставшись в подчеркнуто солдатской гимнастерке.

— Черт знает что поручают, — сказал он, садясь, — вот из ЧК звонили.

— Ты и у них работаешь?

— Избегаю как могу.

— Да как ты вообще попал в эту компанию?

Фон Эрнен широко улыбнулся.

— Вот уж что легче легкого. Пять минут поговорил с Горьким по телефону.

— И что, сразу дали маузер и авто?

— Послушай, — сказал он, — жизнь — это театр. Факт известный. Но вот о чем говорят значительно реже, это о том, что в этом театре каждый день идет новая пьеса. Так вот теперь, Петя, я такое ставлю, такое...

Он поднял руки над головой и потряс ими в воздухе, словно звеня монетами в невидимом мешке.

— Дело даже не в самой пьесе, — сказал он. — Если продолжить это сравнение, раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть. Вот и подумай — кем сейчас лучше быть? Актером или зрителем?

Это был серьезный вопрос.

— Как бы тебе ответить, — сказал я задумчиво. — Этот твой театр слишком уж начинается с вешалки. Ею же он, я полагаю, и кончается. А будущее, — я ткнул пальцем вверх, — все равно за кинематографом.

Фон Эрнен хихикнул и качнул головой.

— Но ты все же подумай над моими словами, — сказал он.

— Обещаю, — ответил я.

Он налил себе водки и выпил.

— Ух, — сказал он. — Насчет театра. Ты знаешь, кто сейчас комиссар театров? Мадам Малиновская. Вы ведь знакомы?

— Не помню. Какая еще к черту мадам Малиновская.

Фон Эрнен вздохнул. Встав, он молча прошелся по комнате.

— Петя, — сказал он, садясь напротив и заглядывая мне в глаза, — мы тут шутим, шутим, а я ведь вижу, что ты не в порядке. Что у тебя стряслось? Мы с тобой, конечно, старые друзья, но даже несмотря на это я мог бы помочь.

Я решил.

— Признаюсь тебе честно. Ко мне в Петербурге три дня назад приходили.

— Откуда?

— Из твоего театра.

— Как так? — подняв брови, спросил он.

— А очень просто. Пришли трое с Гороховой, один представился каким-то литературным работником, а остальным и представляться было не надо. Поговорили со мной минут сорок, работник этот в основном, а потом говорят — интересная у нас беседа, но продолжить ее придется в другом месте. Мне в это другое место идти не хотелось, потому что возвращаются оттуда, как ты знаешь, довольно редко...

— Но ты же вернулся, — перебил Фон Эрнен.

— Я не вернулся, — сказал я, — я туда попросту не пошел. Я, Гриша, убежал от них. Знаешь, как в детстве от дворника.

— Но почему они к тебе пришли? — спросил Фон Эрнен. — Ты же человек от политики далекий. Натворил что-нибудь?

— Да ничего я не натворил. Смешно рассказывать. Я одно стихотворение напечатал — с их точки зрения, в какой-то не такой газете — так вот там рифма была, которая им не понравилась. „Броневик“ — „лишь на миг“. Ты себе можешь это представить?

— А о чем было стихотворение?

— О, совершенно абстрактное. Там было о потоке времени, который размывает стену настоящего, и на ней появляются все новые и новые узоры, часть которых мы называем прошлым. Память уверяет нас, что вчерашний день действительно был, но как знать, не появилась ли вся эта память с первым утренним лучом?

— Не вполне понимаю, — сказал Фон Эрнен.

— Я тоже, — сказал я, — не в этом дело. Главное, что я хочу сказать — никакой политики там не было. То есть мне так казалось. А им показалось иначе, они мне это объяснили. Самое страшное, что после беседы с их консультантом я действительно понял его логику, понял так глубоко, что... Это было до того страшно, что когда меня вывели на улицу, я побежал — не столько даже от них, сколько от этого понимания...

Фон Эрнен поморщился.

— Вся эта история — чушь собачья, — сказал он. — Они, конечно, идиоты. Но ты и сам хорош. Это ты из-за этого в Москву приехал?

— Ну а что было делать? Я ведь, когда убежал, отстреливался. Ты-то понимаешь, что я стрелял в сотканный собственным страхом призрак, но ведь на Гороховой этого не объяснить. То есть я даже допускаю,

что я смог бы это объяснить, но они бы обязательно спросили — а почему, собственно, вы по призракам стреляете? Вам что, не нравятся призраки, которые бродят по Европе?

Фон Эрнен взглянул на меня и погрузился в размышления. Я смотрел на его ладони — он еле заметно тер их о скатерть, будто вытирая выступивший пот, а потом вдруг убрал под стол. На его лице отразилось отчаяние, и я почувствовал, что наша встреча и мой рассказ ставят его в крайне неприятное положение.

— Это, конечно, хуже, — пробормотал он. — Но хорошо, что ты доверлешь мне. Я думаю, мы это уладим... Уладим, уладим... Сейчас звякну Алексею Максимовичу... Руки на голову.

Последние слова я понял только тогда, когда увидел лежащее на скатерти дуло маузера. Поразительно, но следующее, что он сделал, так это вынул из нагрудного кармана пенсне и нацепил его на нос.

— Руки на голову, — повторил он.

— Ты что, — сказал я, поднимая руки, — Гриша?

— Нет, — сказал он.

— Что „нет“?

— Оружие и бумаги на стол, вот что.

— Как же я положу их на стол, — сказал я, — если у меня руки на голове?

Он взвел курок своего пистолета.

— Господи, — сказал он, — знал бы ты, сколько раз я слышал именно эту фразу.

— Ну что же, — сказал я. — Револьвер в пальто. Какой ты удивительный подлец. Впрочем, я это с детства знал. Зачем тебе все это? Орден дадут?

Фон Эрнен улыбнулся.

— В коридор, — сказал он.

Когда мы оказались в коридоре, он, по-прежнему держа меня на прицеле, обшарил карманы моего пальто, вынул оттуда револьвер и сунул его в карман. В его движениях была какая-то стыдливая сует-

ливость, как у впервые пришедшего в публичный дом гимназиста, и я подумал, что ему, может быть, до этого не приходилось делать подлость так обыденно и открыто.

— Отопри дверь, — велел он, — и на лестницу.

— Позволь пальто надеть, — сказал я, лихорадочно думая, могу ли я сказать этому возбужденному собственной низостью человеку хоть что-нибудь, способное изменить рисовавшееся развитие событий.

— Нам недалеко, — сказал Фон Эрнен, — через бульвар. Хотя, впрочем, надень.

Я двумя руками снял с вешалки пальто, чуть повернулся, чтобы просунуть руку в рукав, и в следующий момент неожиданно для самого себя набросил его на Фон Эрнена — не просто швырнул пальто в его сторону, а именно накинул.

До сих пор не пойму, как он меня не застрелил — но факт остается фактом: он нажал на курок, только когда падал на пол под тяжестью моего тела, и пуля, пройдя в нескольких сантиметрах от моего бока, ударила во входную дверь. Пальто накрыло упавшего Фон Эрнена с головой, и я схватил его за горло прямо сквозь толстую ткань, но она почти не помешала; коленом я успел придавить к полу запястье его руки, сжимавшей пистолет, и перед тем, как его пальцы разжались, он всадил в стену еще несколько пуль. Я почти оглох от грохота. Кажется, во время нашей схватки я ударил его головой в закрытое лицо — во всяком случае, я отчетливо помню тихий хруст пенсне в промежутке между двумя выстрелами.

Когда он затих, я долго не решался отпустить его горло. Мои руки почти не подчинялись мне; чтобы восстановить дыхание, я сделал дыхательное упражнение. Оно подействовало странным образом — со мной сделалась легкая истерика. Я вдруг увидел эту сцену со стороны: некто сидит на трупе только что задушенного приятеля и старательно дышит по описан-

ному в „Изиде“ методу йога Рамачараки. Я поднялся на ноги, и тут на меня обрушилось понимание того, что я только что совершил убийство.

Конечно, как и любой не до конца доверяющий властям человек, я постоянно носил с собой револьвер, а два дня назад спокойно пустил его в ход. Но тут было другое, тут была какая-то темная Достоевщина — пустая квартира, труп, накрытый английским пальто, и дверь во враждебный мир, к которой уже шли, быть может, досужие люди... Усилием воли я прогнал эти мысли — вся Достоевщина, разумеется, была не в этом трупе и не в этой двери с пулевой пробойной, а во мне самом, в моем сознании, пораженном метастазами чужого покаяния.

Приоткрыв дверь на лестницу, я несколько секунд прислушивался. Ничего слышно не было, и я подумал, что несколько пистолетных выстрелов могли и не привлечь к себе внимания.

Мой револьвер остался в кармане брюк Фон Эрнена, и мне совершенно не хотелось лезть за ним. Я подобрал и осмотрел его маузер — это была отличная машина, и совсем новая. Заставив себя обшарить его куртку, я обнаружил пачку „Иры“, запасную обойму для маузера и удостоверение на имя сотрудника ЧК Григория Фанерного. Да, подумал я, да. А ведь еще в детстве можно было понять.

Присев на корточки, я открыл замки его акушерского саквожа. Внутри лежала канцелярская папка с незаполненными ордерами на арест, еще две обоймы, жестяная банка, полная кокаина, какие-то медицинские щипцы крайне неприятного вида (их я сразу швырнул в угол) и толстая пачка денег, в которой с одной стороны были радужные думские сотни, а с другой — доллары. Все это было очень кстати. Чтобы немного прийти в себя после пережитого потрясения, я зарядил ноздри изрядным количеством кокаина. Он бритвой полоснул по мозгам, и я сразу сделался спо-

коен. Я не любил кокаин — он делал меня слишком сентиментальным, но сейчас мне нужно было быстро прийти в себя.

Подхватив Фон Эрнена под руки, я поволок его по коридору, пинком открыл дверь одной из комнат и собирался уже втолкнуть его туда, но замер в дверях. Несмотря на разгром и запустение, здесь еще видны были следы прежней, озаренной довоенным светом жизни. Это была бывшая детская — у стены стояли две маленькие кровати с легкими бамбуковыми ограждениями, а на стене углем были нарисованы лошадь и усатое лицо (отчего-то я подумал о декабристах). На полу лежал красный резиновый мяч — увидев его, я сразу закрыл дверь и потащил Фон Эрнена дальше. Соседняя комната поразила меня своей траурной простотой: в ее центре стоял черный рояль с открытой крышкой, рядом — вращающийся стул, и больше не было ничего.

К этому моменту мною овладело новое состояние. Оставив Фон Эрнена полусидеть в углу (все время транспортировки я тщательно следил, чтобы его лицо не показалось из-за серой ткани пальто), я сел за рояль. Поразительно, подумал я, товарищ Фанерный и рядом, и нет. Кто знает, какие превращения претерпевает сейчас его душа? Мне вспомнилось его стихотворение, года три назад напечатанное в „Новом Сатириконе“ — там как бы пересказывалась газетная статья о разгоне очередной Думы, а акростихом выходило „мане текел фарес“. Ведь жил, думал, прикидывал. Как странно.

Я повернулся к роялю и стал тихо наигрывать из Моцарта, свою любимую фугу фа минор, всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет тех четырех рук, которые грезились великому сумасброду. Охватившая меня меланхолия не имела отношения к эксцессу с Фон Эрненом; перед моими глазами встали бамбуковые кровати из соседней комнаты, и на се-

кунду представилось чужое детство, чей-то чистый взгляд на закатное небо, чей-то невыразимо трогательный мир, унесшийся в небытие. Но играл я недолго — рояль был расстроен, а мне, вероятно, надо было спешить. Но куда?

Пора было подумать о том, как провести вечер. Я вернулся в коридор и с сомнением поглядел на кожанку Фон Эрнена, но ничего больше не оставалось. Несмотря на рискованность некоторых своих литературных опытов, я все же был недостаточно декадентом, чтобы надеть пальто, уже ставшее саваном и к тому же простреленное на спине. Сняв куртку с вешалки и подобрав саквояж, я пошел в комнату, где было зеркало.

Кожанка пришлась мне впору — мы с покойником были практически одного роста. Когда я перетянул ее ремнем с болтающейся кобурой и посмотрел на свое отражение, я увидел вполне нормального большевика. Полагаю, что осмотр лежавших у стены тюков мог за несколько минут сделать меня богатым человеком, но победила брезгливость. Тщательно перезарядив пистолет, я проверил, легко ли он выскакивает из кобуры, остался доволен и уже собирался выйти из комнаты, когда из коридора послышались голоса. Я понял, что все это время входная дверь оставалась открытой.

Я кинулся к балкону. Он выходил на Тверской бульвар, и под ним было метров двадцать холодной темной пустоты, в которой крутились снежинки. В пятне света от фонаря был виден автомобиль Фон Эрнена, на переднем сиденье которого сидел непонятно откуда взявшийся человек в большевистском шлеме. Я решил, что Фон Эрнен успел вызвать по телефону чекистов. Перелезть на нижний балкон было невозможно, и я кинулся назад в комнату. В дверь уже барабанили. Ну что же — когда-нибудь все это должно было кончиться. Я навел на дверь маузер и крикнул:

— Прошу!

Дверь открылась, и в комнату ввалились два увешанных бутылочными бомбами матроса в бушлатах и развратнейше расклешенных питанах. Один из них, с усами, был уже в годах, а второй был молод, но с дряблым и анемичным лицом. Никакого внимания на пистолет в моей руке они не обратили.

— Ты Фанерный? — спросил тот, что был постарше и с усами.

— Я.

— Держи, — сказал матрос и протянул мне сложенную вдвое бумажку.

Я спрятал маузер в кобуру и развернул ее:

„Тов. Фанерный! Немедленно поезжайте в музыкальную табакерку провести нашу линию. Для содействия посылаю Жербунова и Барболина. Товарищи опытные. Бабаясин.“

Под текстом была неразборчивая печать. Пока я думал, что мне говорить, они сели за стол.

— Шофер внизу — ваш? — спросил я.

— Наш, — сказал усатый. — А машину твою возьмем. Тебя как звать?

— Петр, — сказал я и чуть не прикусил язык.

— Я Жербунов, — сказал пожилой и усатый.

— Барболин, — представился молодой. Голос у него был нежный и почти женский.

Я сел за стол напротив них. Жербунов налил три стакана водки, подвинул один ко мне и поднял на меня глаза. Я понял, что он чего-то ждет.

— Ну что, — сказал я, берясь за свой стакан, — как говорится, за победу мировой революции!

Мой тост не вызвал у них энтузиазма.

— За победу оно конечно, — сказал Барболин, — а марафет?

— Какой марафет? — спросил я.

— Ты дурочку не валяй, — строго сказал Жербунов, — нам Бабаясин говорил, что тебе сегодня жестянку выдали.

— Ах, так вы про кокаин говорите, — догадался я и полез в саквояж за банкой. — А то ведь „марафет“, товарищи, слово многозначное. Может, вы эфиру хотите, как Вильям Джеймс.

— Кто такой? — спросил Барболин, беря жестянку в свою широкую и грубую ладонь.

— Английский товарищ.

Жербунов недоверчиво хмыкнул, а у Барболина на лице на миг отобразилось одно из тех чувств, которые так любили запечатлевать русские художники девятнадцатого века, создавая народные типы — что вот есть где-то большой и загадочный мир, и столько в нем непонятого и влекущего, и не то что всерьез надеешься когда-нибудь туда попасть, а просто тянет иногда помечтать о несбыточном.

Напряжение сняло как рукой. Жербунов открыл банку, взял со скатерти нож, зачерпнул им чудовищное количество порошка и быстро размешал его в водке. То же сделал и Барболин — сначала со своим стаканом, а потом с моим.

— Вот теперь и за мировую революцию не стыдно, — сказал он.

Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что Жербунов ухмыльнулся и сказал:

— Это, браток, с „Авроры“ пошло, от истоков. Называется „балтийский чай“.

Они подняли стаканы, залпом выпили их содержимое, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Почти сразу же горло у меня онемело. Я закурил папиросу, затянулся, но совершенно не почувствовал вкуса дыма. Около минуты мы сидели молча.

— Идти надо, — сказал вдруг Жербунов и встал из-за стола. — Иван замерзнет.

В каком-то оцепенении я спрятал банку от монпансье в саквояж, встал и пошел за ними. Задержавшись в коридоре, я попытался найти свою шапку, не смог и нацепил фуражку Фон Эрнена. Мы вышли из квартиры и молча пошли вниз по полутемной лестнице.

Я вдруг заметил, что на душе у меня легко и спокойно, и чем дальше я иду, тем делается спокойнее и легче. Я не думал о будущем — с меня было достаточно того, что мне не угрожает непосредственная опасность, и, проходя по темным лестничным клеткам, я любовался удивительной красоты снежинками, крутившимися за стеклом. Если вдуматься, я и сам был чем-то вроде такой снежинки, и ветер судьбы нес меня куда-то вперед, вслед за двумя другими снежинками в черных бушлатах, топавшими по лестнице впереди. Кстати, несмотря на охватившую меня эйфорию, я не потерял способности трезво воспринимать действительность и сделал одно интересное наблюдение. Еще в Петрограде меня интересовало, каким образом на матросах держатся их тяжелые, утыканные патронами сбруи. На клетке третьего этажа, где горела одинокая лампа, я разглядел на спине Жербунова несколько крючков, которыми, наподобие бюстгальтера, были соединены пулеметные ленты. Мне сразу представилось, как Жербунов с Барболиным, собираясь на очередное убийство, словно две девушки в купальне, помогают друг другу справиться с этой сложной частью туалета. Это показалось мне еще одним доказательством женственной природы всех революций. Я вдруг понял некоторые из новых настроений Александра Блока; видимо, из моего горла вырвался какой-то возглас, потому что Барболин обернулся.

— А ты не хотел, дура, — сказал он, сверкнув золотым зубом.

Мы вышли на улицу. Барболин что-то сказал сол-

дату, сидевшему на открытом переднем сиденье машины, открыл дверь, и мы влезли внутрь. Машина сразу тронулась. Сквозь скругленное по краям переднее стекло кабинки была видна заснеженная спина и островерхий войлочный шлем; казалось, что нашим экипажем правит ибсеновский тролль. Я подумал, что конструкция авто крайне неудобна и к тому же унижительно для шофера, который всегда открыт непогоде — но, может быть, это было устроено специально, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться не только видами в окне, но и классовым неравенством.

Я повернулся к боковому стеклу. Улица была пуста, а падающий на мостовую снег — необыкновенно красив. Его освещали редкие фонари; в свете одного из них на стене дома мелькнуло размашистое граффити „LENINE EST MERDE“.

Когда автомобиль затормозил, я уже немного пришел в себя. Мы вылезли на неизвестной улице возле ничем не примечательной подворотни, перед которой стояли пара автомобилей и несколько лихачей; поодаль я заметил устрашающего вида броневик со снежной шапкой на пулеметной башне, но не успел его рассмотреть — матросы сразу нырнули в подворотню. Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, над которой торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска:

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАБАКЕРКА литературное кабаре

Несколько соседних с дверью окон, плотно затянутых розовыми занавесками, светились; из-за них доносился заунывно-красивый звук неясного инструмента.

Жербунов дернул дверь на себя. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и шинелями; в его конце был плотный бархатный занавес. Навстречу нам поднялся с табурета похожий на преступника человек в красной косоворотке.

— Граждане матросы, — начал он, — у нас...

Барболин цирковым движением крутанул вокруг плеча винтовку и ударил его прикладом в низ живота. Бедняга сполз по стене на пол; на его недобром лице проступили усталость и отвращение. Жербунов отдернул занавес, и мы вошли в полутемный зал.

Чувствуя необыкновенный прилив энергии, я огляделся по сторонам. Место напоминало обычный, с претензией на шик, ресторан средней руки. За небольшими круглыми столиками, в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил опиум. На нас не обратили внимания, и мы сели за пустой столик недалеко от входа.

Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где на черном бархатном табурете, закинув ногу за ногу, сидел бритый господин во фраке. Одна из его ног была боса. Смычок в его правой руке скользил по тупой стороне длинной пилы, одну ручку которой он прижимал ногой к полу, а другую сжимал в левом кулаке, заставляя пилу изгибаться и дрожать. Когда ему надо было погасить вибрации сверкающего полотна, он на секунду прижимал к нему босую стопу; рядом с ним на полу стояла лаковая туфля, из которой торчал ослепительно-белый носок. Звук, который господин извлекал из своего инструмента, был совершенно неземным, чарующим и печальным; он, кажется, играл какую-то простую мелодию, но она была не важна — все дело было в тембре, в переливах одной надолго замирающей ноты, падавшей прямо в сердце.

Портьера у входа колыхнулась, и оттуда выскочил человек в косоворотке. Он щелкнул пальцами

куда-то в темноту и кивнул на наш столик, потом повернулся к нам, отвесил короткий формальный поклон и исчез за портьерой. Тотчас откуда-то вынырнул половой с подносом в одной руке и медным чайником в другой (такие же чайники стояли на других столах). На подносе помещалось блюдо с пирожками, три чайных чашки и крохотный свисток. Половой расставил перед нами чашки, наполнил их из чайника и замер в ожидании. Я протянул ему наугад вынутую из сакvojа бумажку — кажется, это была десятидолларовая банкнота. Сперва я не понял, зачем на подносе лежит свисток, но тут за одним из соседних столиков раздался тихий мелодичный свист, и половой кинулся на этот звук.

Жербунов отхлебнул из чашки и недовольно хмыкнул. Я тоже сделал глоток из своей. Это была ханжа, плохая китайская водка из гаоляна. Я принялся жевать пирожок, совершенно не чувствуя его вкуса — заморозивший мое горло кокаин еще давал себя знать.

— С чем пирожки-то? — нежно спросил Барболин. — Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться.

— А я ел, — просто сказал Жербунов. — Как говядина.

Больше не в силах этого выносить, я вынул банку, и Барболин принялся развешивать порошок по чашкам.

Между тем господин во фраке кончил играть, изящно и быстро надел носок и туфлю, встал, поклонился, подхватил табурет и под редкие хлопки ушел со сцены. Из-за столика возле эстрады поднялся благообразный мужчина с седой бородкой, вокруг горла которого, словно чтобы скрыть след от укуса, был обмотан серый шарф. Я с удивлением узнал в нем Валерия Брюсова, постаревшего и высохшего. Он взшел на эстраду и обратился к залу:

— Товарищи! Хоть мы и живем в визуальную эпоху, когда набранный на бумаге текст вытесняется зрительным рядом, или... хмм... — он закатил глаза, сделал паузу, и стало ясно, что сейчас он произнесет один из своих идиотских каламбуров, — или, я бы даже сказал, зрительным залом... хмм... традиция не сдается и ищет для себя новые формы. То, что вы сегодня увидите, я определил бы как один из ярких примеров искусства эгопупистического постреализма. Сейчас перед вами будет разыграна написанная одним... хмм... одним пострелом... хмм... маленькая трагедия. Именно так ее автор, камерный поэт Иоанн Павлухин, определил жанр своего произведения. Итак — маленькая трагедия „Раскольников и Мармеладов“. Прошу.

— Прошу, — эхом повторил Жербунов, и мы выпили.

Брюсов сошел с эстрады и вернулся за свой столик. Двое людей в военной форме вынесли из-за кулис на эстраду громоздкую позолоченную лиру на подставке и табурет. Затем они принесли столик, поставили на него пузатую ликерную бутылку и две рюмки, прикрепили к кулисам куски картона со словами „Раскольниковъ“ и „Мармеладовъ“ (я сразу решил, что мягкий знак на конце слова — не ошибка, а какой-то символ), а в центре повесили табличку с непонятным словом „йхвй“, вписанным в синий пятиугольник. Разместив эти предметы, они исчезли. Из-за кулис вышла женщина в длинном хитоне, села за лиру и принялась неспешно перебирать струны. Так прошло несколько минут.

Затем на сцене появились четверо человек в длинных черных плащах. Каждый из них встал на одно колено и поднятой черной полой заслонил лицо от зала. Кто-то заплодировал. На противоположных концах эстрады появились две фигуры на высоких котурнах, в длинных белых хламидах и греческих масках. Они

стали медленно сходитьсь и остановились, немного не дойдя друг до друга. У одного из них в увитой розами петле под мышкой висел топор, и я понял, что это Раскольников. Собственно, понять можно было и без топора, потому что на кулисах напротив него висела табличка с фамилией. Актер, остановившийся у таблички „Мармеладов“, медленно поднял руку и нараспев заговорил:

— Я — Мармеладов. Сказать по секрету,
мне уже некуда больше идти.
Долго ходил я по белому свету,
но не увидел огней впереди.
Я заключаю по вашему взгляду,
что вам не чужд угнетенный народ.
Может быть, выпьем? Налить вам?
— Не надо.

Актер с топором отвечал так же распевно, но басом; заговорив, он поднял руку и вытянул ее в сторону Мармеладова, который, быстро налив себе рюмку и опрокинув ее в отверстие маски, продолжил:

— Как вам угодно. За вас. Ну так вот,
лик ваш исполнен таинственной славы,
рот ваш красивый с улыбкой молчит,
бледен ваш лоб и ладони кровавы.
А у меня не осталось причип,
чтоб за лица неподвижною кожей
гордою силой цвела пустота,
и выходило на Бога похоже.
Вы понимаете?
— Думаю, да...

Меня пихнул локтем Жербунов.

— Чего скажешь? — тихо спросил он.

— Рано пока, — ответил я шепотом. — Дальше посмотрим.

Жербунов уважительно кивнул. Мармеладов на сцене говорил:

- Вот. А без этого — знаете сами.
Каждое утро — как кровь на снегу.
Как топором по затылку. Представить
можете это, мой мальчик?
- Могу.
- В душу смотреть не имею желанья.
Там темнота, как внутри сапога.
Словно бы в узком холодном чулане-
мертвые женщины. Страшно?
- Ага. Что вы хотите? В чем цель разговора?
- Прямо так сразу?
- Валяйте скорей.
- Может, спачала по рюмке ликера?
- Вы надоедливы, как брадобрей.
- Я уйду.
- Милый мальчик, не злитесь.
- Мне надоел наш слепой разговор.
Может быть, вы наконец объяснитесь?
Что вы хотите?
- Продайте топор...

Я тем временем оглядывал зал. За круглыми столиками сидело по трое-четверо человек; публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это всегда случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых блядей. За одним столиком с Брюсовым сидел заметно потолстевший с тех пор, как я его последний раз видел, Алексей Толстой с большим бантом вместо галстука. Казалось, выросший на нем жир был выкачан из скелетоподобного Брюсова. Вместе они выглядели жутко.

Я перевел глаза и заметил за одним из столиков странного человека в перехваченной ремнями черной гимнастерке, с закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и вместо чайника перед ним стояла бутылка шампанского. Я решил, что это какой-то крупный большевистский начальник; не знаю, что показалось мне необычным в его волевом спокойном лице, но

я несколько секунд не мог оторвать от него глаз. Он поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к эстраде, где продолжался бессмысленный диалог:

— ...Что? Да зачем?

— Это мне для работы.

Символ одной из сторон бытия.

Вы, если надо, другой украдете.

Краденым правильной, думаю я?

— Так... А я думаю — что за намеки?

Вы ведь там были? За ширмою? Да?

— Знаете, вы, Родион, неглубоки,

хоть с топором. Впрочем, юность всегда

видит и суть и причину в конечном,

хочет простого — смеяться, любить,

нежно играет с петлей подплечной.

Сколько хотите?

— Позвольте спросить,

вам для чего?

— Я твержу с первой фразы -

сила, надежда, Грааль, эгрегор,

вечность, сияние, лучшие фазы,

лезвие, юность... Отдайте топор.

— Мне непонятно. Но впрочем, извольте.

— Вот он... Сверкает, как пламя меж скал...

Сколько вам?

— Сколько хотите.

— Довольно?

— Десять... Пятнадцать... Ну вот, обокрал.

Впрочем, я чувствую, дело не в этих

деньгах. Меняется что-то... Уже

рушится как бы... Настягло... И ветер

холодно дует в разъятой душе.

Кто вы? Мой Бог, да вы в маске стоите!

Ваши глаза — как две желтых звезды!

Как это подло! Снимите!

Мармеладов выдержал долгую и страшную паузу.

— Снимите!

Мармеладов одним движением сорвал маску, и одновременно с его тела слетел привязанный к маске хитон, обнажив одетую в кружевные панталоны и бюстгальтер женщину в серебристом парике с мышинной косичкой.

— Боже... Старуха... А руки пусты...

Раскольников произнес эти слова еле слышно и рухнул на пол с высоты своих котурнов.

То, что началось дальше, заставило меня побледнеть. На сцену выскочили два скрипача и бешено заиграли какой-то цыганский мотив (опять Блок, подумал я), а женщина-Мармеладов набросила на упавшего Раскольникова свой хитон, прыгнула ему на грудь и принялась душить его, возбужденно виляя кружевным задом.

На секунду мне показалось, что происходящее — следствие какого-то чудовищного заговора, и все присутствующие глядят в мою сторону. Я затравленно огляделся, снова встретился взглядом с усатым человеком в черной гимнастерке и вдруг каким-то образом понял, что он все знает про гибель Фон Эрнена — да чего там, знает про меня гораздо более серьезные вещи.

В этот миг я был близок к тому, чтобы вскочить со стула и кинуться прочь, и только чудовищное усилие воли удержало меня на месте. Публика вяло хлопала; некоторые смеялись и показывали пальцами на сцену, но большинство было поглощено своими разговорами и водкой.

Задушив Раскольникова, женщина в парике подскочила к краю эстрады и под сумасшедшие звуки двух скрипок принялась выплясывать, задирая голые ноги к потолку и размахивая топором. Четверо в черном, неподвижно простоявшие все действие, подхватили накрытого хитоном Раскольникова и понесли его за кулисы. У меня мелькнула догадка, что это цитата

из „Гамлета“, где в самом конце упоминаются четыре капитана, которым полагалось бы унести мертвого принца; странно, но эта мысль мгновенно привела меня в чувство. Я понял, что происходящее не заговор против меня — подобного никто просто не успел бы подстроить — а обыкновенный мистический вызов. Сразу же решив принять его, я повернулся к ушедшим в себя матросам.

— Ребята, стоп. Это измена.

Барболин поднял на меня непонимающий взгляд.

— Англичанка гадит, — наугад бросил я.

Видимо, эти слова имели для него какой-то смысл, потому что он сразу потянул с плеча винтовку. Я удержал его.

— Не так, товарищ. Погоди.

На сцене между тем опять появился господин с пилой, сел на табурет и принялся церемонно снимать туфлю. Открыв сакволяж, я вынул карандаш и бланк чекистского ордера; заунывные звуки пилы подхватили меня, понесли вперед, и подходящий текст был готов через несколько минут.

— Чего пишешь-то? — спросил Жербунов. — Арестовать кого хочешь?

— Не, — сказал я, — тут если брать, так всех. Мы по-другому сделаем. Ты, Жербунов, приказ помнишь? Нам ведь не только пресечь надо, но и свою линию провести, верно?

— Так, — сказал Жербунов.

— Ну вот, — сказал я, — ты с Барболиным иди за кулисы. А я на сцену сейчас поднимусь и линию проведу. А как проведу, сигнал дам, и вы тогда выходите. Мы им сейчас покажем музыку революции.

Жербунов постучал пальцем по своей чашке.

— Нет, Жербунов, — сказал я твердо, — работать не сможешь.

Во взгляде Жербунова мелькнуло что-то похожее на обиду.

— Да ты что? — прошептал он. — Не доверяешь? Да я... Я за революцию жизнь отдам!

— Знаю, товарищ, — сказал я, — но кокаин потом. Вперед.

Матросы встали и пошли к сцене. Они ступали разлаписто и крепко, словно под ногами у них был не паркет, а кренящаяся палуба попавшего в шторм броненосца; в этот момент я испытывал к ним почти симпатию. Поднявшись по боковой лесенке, они исчезли за кулисами. Я опрокинул в рот остатки ханжи с кокаином, встал и пошел к столику, за которым сидели Толстой и Брюсов. На меня смотрели. Господа и товарищи, думал я, медленно шагая по странно раздвинувшемуся залу, сегодня я тоже имел честь перешагнуть через свою старуху, но вы не задушите меня ее выдуманнными ладонями. О, черт бы взял эту вечную Достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг!

— Добрый вечер, Валерий Яковлевич. Отдыхаете?

Брюсов вадрогнул и несколько секунд глядел на меня, явно не узнавая. Потом на его изможденном лице появилась недоверчивая улыбка.

— Петя? — спросил он, — это вы? Сердечно рад вас видеть. Присядьте к нам на минуту.

Я сел за столик и сдержанно поздоровался с Толстым — мы часто виделись в редакции „Аполлона“, но знакомы были плохо. Толстой был сильно пьян.

— Как вы? — спросил Брюсов, — что-нибудь новое написали?

— Не до этого сейчас, Валерий Яковлевич, — сказал я.

— Да, — задумчиво сказал Брюсов, шныряя быстрыми глазами по моей кожанке и маузеру, — это так. Это верно. Я вот тоже... А я ведь и не знал, Петя, что вы из наших. Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш сборничек, „Стихи Капитана Лебядкина“.

Ну и, конечно, „Песни царства „Я“. Но ведь и вообразить было нельзя... Все у вас какие-то лошади, императоры, Китай этот...

— Conspiracy, Валерий Яковлевич, — сказал я. — Хотя слово это дико...

— Понимаю, — сказал Брюсов, — теперь понимаю. Хотя всегда, уверяю вас, что-то похожее чувствовал. А вы изменились, Петя. Стали такой стремительный... глаза сверкают... Кстати, вы „Двенадцать“ Блока успели прочесть?

— Видел, — сказал я.

— И что думаете?

— Я не вполне понимаю символику финала, — сказал я, — почему перед красногвардейским патрулем идет Христос? Уж не хочет ли Блок распять революцию?

— Да-да, — быстро сказал Брюсов, — вот и мы с Алешей только что об этом говорили.

Услышав свое имя, Толстой открыл глаза, поднял свою чашку, но она была пуста. Нашарив на столе свисток, он поднес его к губам, но вместо того, чтобы свистнуть, опять уронил голову.

— Я слышал, — сказал я, — что он поменял конец. Теперь перед патрулем идет матрос.

Брюсов секунду соображал, а потом его глаза вспыхнули.

— Да, — сказал он, — это вернее. Это точнее. А Христос идет сзади! Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри!

— Да, — сказал я, — и в другую сторону.

— Вы полагаете?

— Я уверен, — сказал я и подумал, что Жербунов с Барболиным уже уснули за шторой. — Валерий Яковлевич, у меня к вам просьба. Не могли бы вы объявить, что сейчас с революционными стихами выступит поэт Фанерный?

— Фанерный? — переспросил Брюсов.

— Мой партийный псевдоним, — пояснил я.

— Да, да, — закивал Брюсов, — и как глубоко! С наслаждением послушаю сам.

— А вот этого не советую. Вам лучше сразу же уйти. Сейчас здесь стрельба начнется.

Брюсов побледнел и кивнул. Больше мы не сказали ни слова; когда пила стихла и ффрачник надел свою туфлю, Брюсов встал и поднялся на эстраду.

— Сегодня, — сказал он, — мы уже говорили о новейшем искусстве. Сейчас эту тему продолжит поэт Фанерный (он не удержался и закатил глаза) — хмм... прошу не путать с тигром бумажным и солдатиком оловянным... хмм... поэт Фанерный, который выступит с революционными стихами. Прошу!

Он быстро спустился в зал, виновато улыбнулся мне, развел руками, подхватил слабо сопротивляющегося Толстого и поволок его к выходу; в этот момент он был похож на отставного учителя, тянущего за собой на поводке непослушного и глупого волкодава.

Я поднялся на эстраду. На ее краю стоял забытый бархатный табурет, что было очень кстати. Я поставил на него сапог и взгляделся в притихший зал. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства — и это, без всяких сомнений, было лицо старухи-процентщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. Недалеко от эстрады сидел Иоанн Павлухин, длинноволосый урод с моноклем; рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах — кажется, это и была комиссар театров мадам Малиновская. Как я ненавидел их всех в эту долгую секунду!

Я вынул из кобуры маузер, поднял его над головой, откашлялся и в своей прежней манере, без выражения глядя вперед и никак совершенно не интонируя, толь-

ко делая короткие паузы между катернами, прочел стихотворение, которое написал на чекистском бланке:

— Реввоснсонет.

Товарищи бойцы! Наша скорбь безмерна.
Злодейски убит товарищ Фаперный.
И вот уже нет у нас в ЧК
Старейшего большевика.

Дело было так. Он шел с допроса
и остановился зажечь папиросу,
когда контрреволюционный офицер
вынул пистолет и взял его на прицел.

Товарищи! Раздался гулкий выстрел из маузера,
и пуля ужалила товарища Фаперного в лоб.
Он потянул было руку за пазуху,
покачнулся, закрыл глаза и на землю хлоп.

Товарищи бойцы! Сплотим ряды, споем что-нибудь
хором
И ответим белой сволочи революционным террором!

С этими словами я выстрелил в люстру, но не попал.

Но сразу же справа от меня раздался другой выстрел, люстра лопнула, и я увидел рядом с собой передергивающего затвор Жербунова. Он с колена дал еще несколько выстрелов в зал, где уже кричали, падали на пол и прятались за колоннами, а потом из-за кулис вышел Барболин. Попатываясь, он подошел к краю эстрады, завизжал и швырнул в зал бомбу. В зале полыхнуло белым огнем, страшно грохнуло, опрокинулся стол, и в наступившей тишине кто-то удивленно охнул. Возникла неловкая пауза; чтобы хоть как-то заполнить ее, я несколько раз выстрелил в потолок и вдруг опять увидел странного человека в темной гим-

настерке, который невозмутимо сидел за своим столом, прихлебывал из чашки и, кажется, улыбался. Я почувствовал себя глупо.

Жербунов еще раз пальнул в зал.

— Прекратить! — крикнул я.

Жербунов пробормотал что-то вроде „мал ты мне указывать“, но все же закинул винтовку за плечо.

— Уходим, — сказал я, повернулся и пошел за кулисы.

Какие-то люди, стоявшие за ними, при нашем появлении кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы пошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня, как пары эфира — закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся.

— А где Барболин? — спросил я.

— Сейчас, — ухмыляясь, сказал Жербунов, — дело одно.

Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул.

Меня разбудил женский визг, и я увидел Барболина, который на руках нес из переулка картинно отбивающуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшем на бок парике с косичкой.

— Подвинься, товарищ, — сказал мне Жербунов, залезая в кабину, — пополнение.

Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе:

— А я ведь тебя сначала не понял, Петька. Душу твою не увидел. А ты молодец. Хорошую речь сказал.

Я что-то пробормотал и опять уснул.

Сквозь сон до меня доносился женский хохот и скрип тормозов, угрюмый мат Жербунова и змеиное шипение Барболина — кажется, они спорили из-за этой несчастной. Потом автомобиль остановился. Я поднял голову и увидел перед собой расплывающееся и неправдоподобное лицо Жербунова.

— Спи, Петька, — гулко сказало лицо, — мы здесь выйдем. Нам с кумом поговорить надо. А тебя Иван довезет.

Я выглянул в окно. Мы стояли на Тверском бульваре, возле дома градоначальника. Медленно падал крупный снег. Барболин и дрожащая полуголая женщина были уже на улице. Жербунов пожал мне руку и вылез. Машина тронулась.

Я вдруг остро ощутил свое одиночество и беззащитность в этом мерзлом мире, жители которого норовят отправить меня на Гороховую или смутить мою душу чарами темных слов. Завтра утром, подумал я, надо будет пустить себе пулю в лоб. Последним, что я увидел перед тем, как окончательно провалиться в черную яму беспомощности, была покрытая снегом решетка бульвара — когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну.

Собственно, решетка была не близко к окну, а на самом окне, еще точнее — на маленькой форточке, сквозь которую мне прямо в лицо падал узкий луч солнца. Я захотел отстраниться, но мне это не удалось — когда я попытался опереться о пол рукой, чтобы повернуться с живота на спину, оказалось, что мои руки скручены. На мне было похожее на саван одеяние, длинные рукава которого были связаны за спиной — кажется, такая рубашка называется смирительной.

У меня не было особых сомнений относительно происшедшего — видимо, матросы заметили в моем поведении что-то подозрительное и, когда я заснул в машине, отвезли меня в ЧК. Извиваясь всем телом, я ухитрился встать на колени, а потом сесть у стены. Моя камера имела довольно странный вид — высоко под потолком была зарешеченная форточка, сквозь которую в комнату падал разбудивший меня луч. Стены, дверь, пол и потолок были скрыты под толстым слоем мягкой обивки, так что романтическое самоубийство в духе Дюма („еще один шаг, милорд, и я разобью голову о стену“) исключалось. Видимо, чекисты завели такие камеры для особо почетных посетителей, и, должен признаться, на секунду мне это польстило.

Прошло несколько минут, в течение которых я

глядел в стену, вспоминая пугающие подробности вчерашнего дня, а затем дверь растворилась.

На пороге стояли Жербунов и Барболин — но, Боже мой, в каком виде! На них были белые халаты, а у Барболина из кармана торчал самый настоящий стетоскоп. Это было намного больше, чем я мог вместить, и из моей груди вырвался нервный смех, который обожженное кокаином горло превратило в подобие сиплого кашля. Барболин, стоявший впереди, повернулся к Жербунову и что-то тихо сказал. Я вдруг перестал смеяться — отчего-то мне показалось, что они собираются меня бить.

Надо сказать, что я совершенно не боялся смерти; умереть в моей ситуации было так же естественно и разумно, как покинуть театр, запылавший во время бездарного спектакля. Но чего мне не хотелось никак, так это чтобы в окончательное путешествие меня провожали пинки и оплеухи малознакомых людей — видимо, в глубине души я не был в достаточной мере христианином.

— Господа, — сказал я, — вы, я полагаю, понимаете, что вас тоже скоро убьют. Так вот, из уважения к смерти — если даже не к моей, то хотя бы к своей собственной — прошу вас, сделайте это быстро и без издевательств. Я все равно ничего не смогу вам сообщить. Я, видите ли, частное лицо, и...

— Это что, — с ухмылкой перебил меня Жербунов. — Вот что ты вчера выдавал, это да. А какие стихи читал! Хоть сам-то помнишь?

В его манере говорить была какая-то несообразность, что-то неопределимо странное, и я решил, что он уже побаловался с утра своим балтийским чаем.

— У меня превосходная память, — ответил я и посмотрел ему прямо в глаза.

Его взгляд был несокрушимо пуст.

— Да что ты с этим мудаком разговариваешь, —

тонко просипел Барболин. — Пускай Тимурыч разбирается, ему за это деньги платят.

— Пойдем, — подытожил Жербунов, подошел и взял меня под руку.

— Нельзя ли развязать мне руки? — спросил я. — Вас ведь двое.

— Да? — спросил Жербунов. — А вдруг ты душишь начнешь?

От этих слов я покачулся, как от удара. Они все знали. У меня возникло почти что физическое чувство того, как слова Жербунова наваливаются на меня невыносимой тяжестью.

Барболин подхватил меня под другую руку; они легко поставили меня на ноги и выволокли в пустой полутемный коридор, где действительно пахло чем-то медицинским — может быть, кровью. Я не сопротивлялся, и через несколько минут они втолкнули меня в просторную комнату, усадили на табурет в ее центре и исчезли за дверью.

Прямо напротив меня стоял большой письменный стол, заваленный множеством папок конторского вида. За столом сидел интеллигентного вида господин в белом халате, таком же, как на Жербунове и Барболине, и внимательно слушал черную эбонитовую трубку телефонного аппарата, прижимая ее к уху плечом. Его руки механически перебирали какие-то бумаги; время от времени он кивал головой, но вслух ничего не говорил. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Еще один человек в белом халате и зеленых штанах с красными лампасами сидел на стуле у стены, между двумя высокими окнами, на которые были спущены пыльные портьеры.

Что-то неуловимое в обстановке этой комнаты заставило меня вспомнить Генеральный штаб, где я часто бывал в шестнадцатом году, пробуя себя на ниве патриотической журналистики. Вот только над голо-

вой господина в белом халате вместо портрета Государя (или хотя бы этого Карла, уже успевшего украсть кораллы у половины Европы) висело нечто настолько жуткое, что я закусил губу.

Это был выдержанный в цветовой гамме российского флага плакат на большом куске картона. Он изображал синего человека с обычным русским лицом, рассеченной грудью и спиленной крышкой черепа, под которой краснел открытый мозг. Несмотря на то, что его внутренности были вынуты из живота и пронумерованы латинскими цифрами, в его глазах сквозило равнодушие, а на лице застыла спокойная полуулыбка — или, может быть, так казалось из-за широкого разреза на щеке, сквозь который была видна часть челюсти и зубы, безупречные, как на рекламе германского зубного порошка.

— Ну давай, — буркнул господин в халате и бросил трубку на рычаг.

— Простите? — сказал я, опуская на него глаза.

— Прощаю, прощаю, — сказал он. — Имея некоторый опыт общения с вами, напомню, что мое имя — Тимур Тимурович.

— Петр. По понятным причинам не могу пожать вам руки.

— Это и не требуется. Эх, Петр, Петр. Как же вы дошли до жизни такой?

Его глаза смотрели на меня дружелюбно и даже с некоторым сочувствием; бородка клинышком делала его похожим на земского идеалиста, но я многое знал о чекистских ухватках, и в моей душе не мелькнуло даже тени доверия.

— Ни до какой особенной жизни я не доходил, — сказал я. — А уж если вы так ставите вопрос, то дошел вместе с другими.

— Это с кем же именно?

Так, подумал я, началось.

— Вы, видимо, ждете от меня каких-то адресов и явок, правильно я вас понимаю? Но поверьте, мне совершенно нечем вас обрадовать. Моя история с самого детства — это рассказ о том, как я бегу от людей, а в этом контексте о других следует говорить только категориально, понимаете?

— Разумеется, — сказал он и что-то записал на бумажку. — Без всяких сомнений. Но в ваших словах противоречие. Сначала вы говорите, что дошли до своего нынешнего состояния вместе с другими, а затем — что бежите от людей.

— Помилуйте, — ответил я, не без риска для равновесия закидывая ногу за ногу, — противоречие только кажущееся. Чем сильнее я пытаюсь избежать общества людей, тем меньше мне это удается. Кстати говоря, причину я понял только недавно — шел мимо Исакия, поглядел на купол — знаете, ночь, мороз, звезды... да... и стало ясно.

— И в чем причина?

— Да в том, что если пытаешься убежать от других, то поневоле всю жизнь идешь по их зыбким путям. Уже хотя бы потому, что продолжаешь от них убежать. Для бегства нужно твердо знать не то, куда бежишь, а откуда. Поэтому необходимо постоянно иметь перед глазами свою тюрьму.

— Да, — сказал Тимур Тимурович. — Да. Когда я представляю себе, сколько с вами будет возни, мне становится страшно.

Я пожал плечами и поднял глаза на плакат над его головой. Все же, видимо, это была не гениальная метафора, а какое-то медицинское пособие. Может быть, часть анатомического атласа.

— Вы знаете, — продолжил Тимур Тимурович, — я ведь человек опытный. Через меня очень много народу тут проходит.

— О, не сомневаюсь, — сказал я.

— И вот что я вам скажу. Меня не столько интересует формальный диагноз, сколько та внутренняя причина, по которой человек выпадает из своей нормальной социально-психической ниши. И, как мне кажется, ваш случай очень прозрачный. Вы просто не принимаете нового. Вы помните, сколько вам лет?

— Разумеется. Двадцать шесть.

— Ну вот видите. Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой. Улавливаете, о чем я говорю?

— Еще бы, — ответил я.

— Таким образом, налицо серьезный внутренний конфликт. Хочу сразу вас успокоить — с этим сталкиваетесь не вы один. И у меня самого имеется подобная проблема.

— Вот как? — спросил я с несколько издевательской интонацией. — И как же вы ее решаете?

— Обо мне потом, — сказал он, — давайте сначала разберемся с вами. Как я уже сказал, этот подсознательный конфликт есть сейчас практически у каждого. Я хочу, чтобы вы осознали его природу. Понимаете ли, мир, который находится вокруг нас, отражается в нашем сознании и становится объектом ума. И когда в реальном мире рвутся какие-нибудь устоявшиеся связи, то же самое происходит и в психике. При этом в замкнутом объеме вашего „Я“ высвобождается чудовищное количество психической энергии. Это как маленький атомный взрыв. Но все дело в том, в какой канал эта энергия устремляется после взрыва.

Разговор становился любопытным.

— А какие, позвольте спросить, бывают каналы?

— Ну, если говорить грубо, их два. Психическая энергия может двигаться, так сказать, наружу, во

внешний мир, устремляясь к таким объектам как... ну, скажем, кожаная куртка, роскошный автомобиль и так далее. Многие ваши сверстники...

Я вспомнил Фон Эрнена и вздрогнул.

— Я понял. Не продолжайте.

— Прекрасно. А во втором случае эта энергия по той или иной причине остается внутри. Это самое неблагоприятное развитие событий. Представьте себе быка, запертого в музейном зале...

— Прекрасный образ.

— Спасибо. Так вот, этот зал с его хрупкими и, возможно, прекрасными экспонатами и есть ваша личность, ваш внутренний мир. А бык, который по нему мечется — это высвободившаяся психическая энергия, с которой вы не в силах совладать. Та причина, по которой вы здесь.

Он определенно умен, подумал я. Но какой подлец.

— Я вам скажу больше, — продолжал Тимур Тимурович. — Я много думал о том, почему одни люди оказываются в силах начать новую жизнь — условно назовем их новыми русскими, хотя я недолюбливаю это выражение...

— Действительно, на редкость гадкое. К тому же перевернутое. Если вы цитируете Чернышевского, то он, кажется, называл их новыми людьми.

— Возможно. Но вопрос, тем не менее, остается — почему одни устремляются, так сказать, к новому, а другие так и остаются выяснять несуществующие отношения с тенями угасшего мира...

— А вот это великолепно. Почти Бальмонт.

— Еще раз спасибо. Ответ, на мой взгляд, очень прост. Боюсь даже, что вам он покажется примитивным. Начну издалека. В жизни человека, страны, культуры и так далее постоянно происходят метаморфозы. Иногда они растянуты во времени и незаметны, иногда принимают очень резкие формы — как сейчас. И вот именно отношение к этим метамор-

фозам определяет глубинную разницу между культурами. Например, Китай, от которого вы без ума...

— С чего вы это взяли? — спросил я, чувствуя, как за моей спиной сжимаются туго стянутые рукавами кулаки.

— Так вот же ваше дело, — сказал Тимур Тимурович, поднимая со стола самую толстую папку. — Как раз его перелистывал.

Он бросил папку назад.

— Да, Китай. Если вы вспомните, то все их мировосприятие построено на том, что мир деградирует, двигаясь от некоего золотого века во тьму и безвременье. Для них абсолютный эталон остался в прошлом, и любые новшества являются злом в силу того, что уводят от этого эталона еще дальше.

— Простите, — сказал я, — это вообще свойственно человеческой культуре. Это присутствует даже в языке. Например, в английском. Мы, что называется, *descendants of the past*. Это слово обозначает движение вниз, а не подъем. Мы не *ascendants*.

— Возможно, — сказал Тимур Тимурович. — Из иностранных я знаю только латынь. Но важно здесь другое. Когда такой тип сознания воплощается в отдельной личности, человек начинает воспринимать свое детство как некий потерянный рай. Возьмите хотя бы Набокова. Эта его бесконечная рефлексия по поводу первых лет жизни — классический пример того, о чем я говорю. И классический пример выздоровления, переориентации сознания на реальный мир — это та, я бы сказал, контрсублимация, которую он мастерски осуществил, трансформировав свою тоску по недостижимому и, может быть, никогда не существовавшему раю в простую, земную и немного грешную страсть к девочке-ребенку. Хотя с первого...

— Простите, вы о каком Набокове? — перебил я. — О лидере конституционных демократов?

Тимур Тимурович с подчеркнутым терпением улыбнулся.

— Нет, — сказал он, — я о его сыне.

— Это о Вовке из Тенишевского? Вы что, его тоже взяли? Но ведь он же в Крыму! И причем тут девочки? Что вы несете?

— Хорошо, хорошо. В Крыму, — сказал Тимур Тимурович. — В Крыму. Мы говорили не о Крыме, а о Китае. И речь у нас шла о том, что для классической китайской ментальности любое движение вперед будет деградацией. А есть другой путь — тот, по которому всю свою историю идет Европа, что бы вы там ни говорили о языке. Тот путь, на который уже столько лет пытается встать Россия, вновь и вновь совершая свой несчастный алхимический брак с Западом.

— Замечательно.

— Спасибо. Здесь идеал мыслится не как оставшийся в прошлом, а как потенциально существующий в будущем. И это сразу же наполняет существование смыслом. Понимаете? Это идея развития, прогресса, движения от менее совершенного к более совершенному. То же самое происходит на уровне отдельной личности, даже если этот индивидуальный прогресс принимает такие мелкие формы, как, скажем, ремонт квартиры или смена одного автомобиля другим. Это дает возможность жить дальше. А вы не хотите платить за это „дальше“. Метафорический бык, о котором мы говорили, носится по вашей душе, сокрушая все на своем пути, именно потому, что вы не готовы отдаться реальности. Вы не хотите выпустить быка на свободу. Вы презираете те позы, которые время повелевает нам принять. И именно в этом причина вашей трагедии.

— Все, что вы говорите, конечно, интересно, но слишком запутанно, — сказал я, покосившись на военного у стены. — И потом, у меня затекли руки.

А что касается прогресса, то я могу вам коротко объяснить, что это такое на самом деле.

— Сделайте милость.

— Очень просто. Если сказать все то, о чем вы говорили, короче, то выйдет, что некоторые люди приспособляются к переменам быстрее, чем другие, и все. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему эти перемены вообще происходят?

Тимур Тимурович пожал плечами.

— Так я вам скажу. Вы, надеюсь, не будете спорить с тем, что чем человек хитрее и бессовестнее, тем легче ему живется?

— Не буду.

— А легче ему живется именно потому, что он быстрее приспособляется к переменам.

— Допустим.

— Так вот, существует такой уровень бессовестной хитрости, милостивый государь, на котором человек предугадывает перемены еще до того, как они произошли, и благодаря этому приспособляется к ним значительно быстрее всех прочих. Больше того, самые изощренные подлецы приспособляются к ним еще до того, как эти перемены происходят.

— Ну и что?

— А то, что все перемены в мире происходят исключительно благодаря этой группе наиболее изощренных подлецов. Потому что на самом деле они вовсе не предугадывают будущее, а формируют его, переползая туда, откуда, по их мнению, будет дуть ветер. После этого ветру не остается ничего другого, кроме как действительно подуть из этого места.

— Почему это?

— Ну как же. Я же ведь вам объяснил, что говорю о самых гнусных, пронырливых и бесстыдных подлецах. Так неужели вы думаете, что они не сумеют убедить всех остальных, что ветер дует именно оттуда,

куда они переползли? Тем более, что ветер, о котором идет речь, дует только внутри этой идиомы... Но я что-то слишком долго говорю. По правде сказать, я был намерен молчать до самого расстрела.

Военный у стены крикнул и со значением посмотрел на Тимура Тимуровича.

— Я вас не познакомил, — сказал Тимур Тимурович. — Это полковник Смирнов, военный психиатр. Он здесь по другому поводу, но вашим случаем тоже заинтересовался.

— Очень польщен, полковник, — сказал я, наклоня голову.

Тимур Тимурович наклонился над телефоном и нажал какую-то кнопку.

— Сонечка, пожалуйста, четыре кубика, как обычно, — сказал он в трубку. — Прямо у меня, пока он в рубашке. Да, а потом сразу в палату.

Повернувшись ко мне, Тимур Тимурович сокрушенно вздохнул и почесал бороду.

— Пока нам придется продолжить фармакологический курс, — сказал он. — Я вам скажу честно, что рассматриваю это как свое поражение — пусть маленькое, но все же поражение. Я считаю, что хороший психиатр должен избегать лекарств — они... Ну как это вам объяснить... Как косметика. Не решают проблем, а только прячут их от постороннего глаза. Но в вашем случае не могу придумать ничего другого. Вы должны сами прийти мне на помощь. Ведь чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.

Сзади открылась дверь, и я услышал тихие шаги за спиной. Мягкие женские пальцы взяли меня за плечо, и я почувствовал, как холодное маленькое жало, пройдя сквозь ткань смирительной рубашки, впилось мне в кожу.

— Кстати, — забю потирал руки, сказал Тимур Тимурович, — хочу заметить, что на дурдомовской

фене расстрелом называют не то, что мы колем вам — то есть обычную смесь аминазина с перепитином, а так называемый сульфазинный крест, то есть четыре инъекции в... Впрочем, надеюсь, что до этого у нас не дойдет.

Я не повернул головы, чтобы посмотреть на женщину, делающую мне укол. Я глядел на расчлененного сине-красно-белого человека на плакате, и когда он тоже начал глядеть на меня, улыбаться и подмигивать, откуда-то издалека донесся голос Тимура Тимуровича:

— Да, прямо в палату. Нет, мешать он не будет. Все-таки какое-то воздействие... Он ведь и сам скоро будет сидеть на этом стуле.

Чьи-то руки (кажется, это опять были Жербунов и Барболин) сдернули с меня рубашку, подняли за руки и, как мешок с песком, переложили на что-то вроде носилок. Затем перед моими глазами мелькнул дверной косяк, и мы оказались в коридоре.

Мое онемевшее тело перемещалось вдоль высоких белых дверей с номерами, а сзади раздавались искаженные голоса и смех переодетых матросов — кажется, они бесстыдно обсуждали женщин. Потом я увидел склоненное надо мной лицо Тимура Тимуровича — оказывается, он шел рядом.

— Вы, Петр, конечно, не Пушкин, но все же мы решили вернуть вас в третье отделение, — сказал он и довольно засмеялся. — Там сейчас еще четыре человека, так что с вами будет пять. Вы знаете, что такое групповая терапия по профессору Канашиникову? То есть по мне?

— Нет, — с трудом промычал я.

Мелькание дверей перед глазами стало непереносимым, и я закрыл глаза.

— Говоря по-простому, это совместная борьба больных за выздоровление. Представьте себе, что ваши проблемы на время становятся коллектив-

ными, то есть каждый из участников сеанса в течение некоторого срока разделяет ваше состояние. Так сказать, отождествляется с вами. Как вы думаете, к чему это приведет?

Я молчал.

— Очень просто, — продолжал Тимур Тимурович. — После того, как сеанс заканчивается, возникает эффект отдачи — совместный выход участников из состояния, только что переживавшегося ими как реальность. Это, если хотите, использование свойственного человеку стадного чувства в медицинских целях. Те, кто участвует в сеансе вместе с вами, могут проникнуться вашими идеями и настроениями на некоторое время, но, как только сеанс кончается, они возвращаются к своим собственным маниям, оставляя вас в одиночестве. И в эту секунду — если удастся достичь катарсического выхода патологического психоматериала на поверхность — пациент может сам ощутить относительность своих болезненных представлений и перестать отождествляться с ними. А от этого до выздоровления уже совсем близко.

Я слабо понимал смысл его слов — если допустить, что он был. Но кое-что все же застревало в моем сознании. Укол действовал все сильнее — я уже ничего не видел вокруг, мое тело практически потеряло чувствительность, а душа погрузилась в тяжелое и тупое безразличие. Самым неприятным в нем было то, что оно словно бы овладело не мной, а каким-то другим человеком, в которого меня превратил впрыснутый мне препарат. А этого другого человека, как я с ужасом ощутил, и в самом деле можно было вылечить.

— Конечно можно, — подтвердил Тимур Тимурович. — И вылечим, не сомневайтесь. Вообще, гоните от себя само это понятие — „сумасшедший дом“. Воспринимайте это просто как интересное приключение.

Тем более, что вы литератор. Я тут порой такое слышу, что прямо тянет записать. Вот сейчас, например. В вашей палате будет крайне интересное событие — групповой сеанс с Марией. Вы ведь помните, о ком я говорю?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну конечно, конечно, — сказал он. — Все равно случай весьма интересный. Я бы сказал, просто-таки шекспировская психодрама. Столкновение таких разных на первый взгляд объектов сознания, как мексиканская мыльная опера, голливудский блокбастер и неокрепшая русская демократия. Знаете эти мексиканские телесериалы „Просто Мария“? Тоже не помните? Понятно. Короче, считает себя героиней, этой самой Марией. Было бы самым банальным случаем, если бы не подсознательное отождествление с Россией плюс комплекс Агамемнона с анальной динамикой. Короче, прямо по моему профилю — раздвоение ложной личности.

О боже, подумал я, какие длинные у них коридоры.

— Вы, конечно, будете не в состоянии принять полноценное участие в сеансе, — продолжал голос Тимура Тимуровича, — так что можете спать. Но не забывайте, что в скором времени вам предстоит стать рассказчиком самому.

Кажется, мы въехали в какую-то комнату — за скрипела дверь, и я услышал обрывок смолкшего разговора. Тимур Тимурович поздоровался с темнотой, и ему ответило несколько голосов. Меня тем временем переложили на невидимую кровать, подоткнули под мою голову подушку и накинули сверху одеяло. Некоторое время я прислушивался к долетавшим до меня фразам (Тимур Тимурович объяснял каким-то людям, почему меня так долго не было), а потом полностью отключился от происходящего, пото-

му что меня посетила одна чрезвычайно знаменательная галлюцинация личного характера.

Не знаю, сколько времени я провел наедине с совестью — в какой-то момент мое внимание привлек монотонный голос Тимура Тимуровича.

— Внимательно глядите на этот шарик, Мария. Вы совершенно спокойны. Если вы ощущаете во рту сухость, это объясняется действием введенного вам препарата и скоро пройдет. Вы слышите меня?

— Да, — ответил голос, который показался мне больше похожим на высокий мужской, чем на низкий женский.

— Кто вы?

— Мария, — ответил голос.

— Как ваша фамилия?

— Просто Мария.

— Сколько вам лет?

— Дают восемнадцать, — ответил голос.

— Вы знаете, где вы находитесь?

— Знаю. В больнице.

— А почему вы здесь оказались?

— От удара, почему же еще. Непонятно, как я вообще в живых осталась. Я и подумать не могла, что он такой человек.

— Обо что же вы ударились?

— Об Останкинскую телебашню.

— Вот как. А как это произошло?

— Долго рассказывать.

— Ничего, — сказал Тимур Тимурович ласково, — мы не спешим никуда. Вы расскажите, а мы слушаем. С чего все началось?

— Началось с того, что я пошла погулять по набережной.

— А где вы были до этого?

— До этого я нигде не была.

— Хорошо, продолжайте.

— Ну чего. Иду я, значит, иду — а вокруг дым какой-то. И чем дальше иду, тем его больше...

Я вдруг заметил, что чем дальше я вслушиваюсь в долетающие до меня слова, тем тяжелее доходит до меня их смысл. Было такое ощущение, что этот смысл привязан к ним на веревках, и эти веревки становятся все длиннее и длиннее. Я не успевал за разговором, но это было неважно, потому что одновременно я стал видеть некое подобие зыбкой картинки — набережную, затянутую клубами дыма, и идущую по ней женщину с широкими мускулистыми плечами, больше похожую на переодетого мужика. Я знал, что ее зовут Мария, и мог одновременно видеть ее и смотреть на мир ее глазами. В следующую минуту я понял, что каким-то образом воспринимаю все ее мысли и чувства: думала она о том, что, как ни крути, прогулка не получается, потому что солнечное утро, в самом начале которого она появилась в страдающем мире, сменилось черт знает чем. И произошло это так плавно, что она даже не заметила, как это случилось.

Сначала в воздухе запахло гарью, и Мария решила, что где-то жгут опавшие листья. Потом к этому запаху примешалась вонь горелой резины, а дальше на нее стали наплывать волны похожего на туман дыма, который становился гуще и гуще, пока не скрыл вокруг все, кроме чугунного ограждения набережной и нескольких метров окружающего пространства.

Вскоре Марии стало казаться, что она идет по длинному залу художественной галереи — сегменты окружающего мира, которые время от времени появлялись из окутавшей мир мглы, своей затасканной обыденностью очень походили на объекты актуального искусства. Ей навстречу выплывали таблички с надписью „обмен валюты“, изрезанные перочинными

ножами скамейки и огромное количество пустых банок, свидетельствовавших о том, что новое поколение в своей массе выбирает все-таки пиво.

Из дыма выныривали и опять нырjali в него какие-то беспокойные люди с автоматами в руках. Они делали вид, что не замечают Марию, и она платила им тем же. И без них было достаточно тех, кто помнил и думал о ней. Сколько их было — миллионы? Десятки миллионов? Мария точно не знала их числа, но была уверена, что если бы все сердца, в которых ее прописала судьба, ударили бы в унисон, то их слившийся шум оказался бы гораздо громче, чем оглушительные взрывы за рекой.

Мария оглянулась и сощурила свои лучистые глаза, пытаясь понять, в чем дело.

Где-то неподалеку — где именно, видно не было из-за дыма — время от времени раздавался грохот, и вслед за каждым его раскатом доносился собачий лай и шум множества голосов, как бывает на стадионе после гола. Мария не знала, что думать по этому поводу — может быть, за рекой снимали кино, может быть, новые русские разбирались, кто из них самый новый. Поскорей бы уж поделили все, подумала она со вздохом, а то сколько еще молодых красивых ребят упадет на асфальт и зальет его кровью из пробитого сердца.

Мария стала думать о том, как облегчить невыносимое бремя этой жизни всем тем, кто Бог знает зачем корчится сейчас в черных клубах дыма, закрывших небо и солнце. Ей в голову приходили ясные, светлые, незамысловатые образы — вот она, в простом платье, входит в скромную квартиру, прибранную для такого случая хозяевами. А вот и сами хозяева — сидят за столом возле самовара и влюбленно смотрят на нее и она знает, что ничего не нужно говорить, нужно просто сидеть напротив и ласково глядеть на них, по возможности не обращая внимания на

стрекочущую камеру. Или так: больничная палата, перебинтованные люди, лежащие на неудобных койках, и ее изображение, висящее на стене в таком месте, чтобы видно было всем — с коек смотрят на нее и на время забывают о своих бедах и болях...

Все это было прекрасно, но она смутно понимала, что этого недостаточно — нет, в этом мире нужна была сила, суровая и непреклонная, способная, если надо, противостоять злу. Но где взять эту силу? И какой она должна быть? Мария не знала ответа на эти вопросы, но чувствовала, что именно для этого она и идет сейчас по набережной в этом источающем страдание городе.

Порыв ветра на секунду разогнал окруживший ее дым, и на Марию упал солнечный луч. Она заслонилась от него ладонью и вдруг поняла, где искать ответ — конечно же, он был в тех бесчисленных сердцах и умах, которые призвали ее сюда и заставили воплотиться на этой дымной набережной. Все они как бы сливались в один океан сознания, через миллионы глаз глядящий на телеэкран, и весь этот океан был открыт ее взору. Она оглядела его и сначала не увидела ничего, что могло бы помочь. Нет, конечно, в этом океане сознания была представлена всепобеждающая сила, и в большинстве случаев — примерно одинаково, так, что складывался некий общий образ: молодой человек с небольшой головой и широкими плечами, в двубортном малиновом пиджаке, стоящий, широко расставив ноги, у длинного приземистого автомобиля. Этот автомобиль был очень смутным и как бы размазанным в воздухе, потому что все те, чьи души видела Мария, представляли на его месте разные модели. То же касалось и лица молодого человека — оно было очень приблизительным, только прическа, чуть кудрявый капитановый ежик, получилась немного четче. Зато пиджак прорисовался с чрезвычайной отчетливостью, и можно было бы

даже, чуть напрягшись, прочесть надписи на золотых пуговицах. Но Мария не стала этого делать. Дело ведь было не в том, что написано на пуговицах, а в том, как эту всепобеждающую силу соединить с ее кроткой любовью.

Мария остановилась и оперлась на одну из гранитных тумб, разделявших чугунные решетки ограды. Нужно было снова искать ответ в доверившихся ей умах и душах, но в этот раз — Мария знала это совершенно точно — усредненные мысли не годились. Надо было...

„Должна же там быть хоть одна умная баба“, — подумала она.

И эта умная баба почти сразу нашлась. Мария не знала, как ее зовут, кто она и даже как она выглядит — мелькнули только на секунду высокие книжные шкафы, заваленный бумагами стол с пишущей машинкой и висящая над ним фотография человека с чудовищными выющимися усами и мрачным взглядом — все это было дрожащим, искривленным и черно-белым, словно Мария видела это изнутри совсем старого телевизора с экраном не больше сигаретной пачки, который к тому же стоял не в центре комнаты, а где-то в углу. Но зрительные образы исчезли слишком быстро, чтобы Мария успела задуматься над увиденным, а потом на смену им пришли мысли.

Мария не поняла почти ничего из того вихря понятий, который ей открылся; к тому же этот вихрь был каким-то затхлым и мрачным, словно волна пыли, которая поднимается, когда из чулана выпадает старая ширма. Мария заключила, что имеет дело с сильно замусоренным и не вполне нормальным сознанием, и, когда все кончилось, испытала большое облегчение. Улов, оставшийся в розовой пустоте ее души, состоял из не до конца ясных слов. Слова были такие — „прекрасная дама“ (здесь было понятно, о ком идет речь), „незнакомка“ (тоже), потом мерцало

слово „Жених“ (почему-то с большой буквы), потом слово „Гость“ (тоже с большой), дальше висело непонятное словосочетание „алхимический брак“, а за ним — что-то совсем темное: „отдых напрасен, стучу в ворота“. На этом мысли кончались — после них еще раз мелькнула фотография человека с испугленным взглядом и длинными висячими усами, больше похожими на растущую прямо из-под носа бороду.

Она растерянно огляделась по сторонам. По-прежнему вокруг был главным образом дым. Мария подумала, что, может быть, где-то рядом находятся ворота, в которые надо постучать, и сделала несколько робких шагов во мглу. Чернота сразу же обступила ее со всех сторон, ей стало страшно, и она выскочила назад на набережную, где все-таки было немного света.

„Да и если постучать, — подумала она, — разве ж кто откроет?“

Сзади раздалось урчание автомобильного мотора. Мария прижалась к ограждению набережной и с опаской стала ожидать, что появится из дыма. Прошло несколько секунд, и мимо нее медленно проплыла длинная черная машина, „Чайка“, украшенная разноцветными лентами — это был, как она поняла, свадебный экипаж. Машина была забита сосредоточенно молчащими людьми; из ее окон торчало несколько автоматных стволов, а на крыше блестели два желтых кольца, побольше и поменьше.

Мария проводила „Чайку“ взглядом и хлопнула себя ладошкой по лбу. Ну конечно, поняла она. Да. Именно так. Два соединенных кольца, Жених, Гость, Спонсор. Алхимический брак — правда, непонятно, что это такое — алхимический, но, в случае чего, адвокат у нее хороший. Мария покачала головой и улыбнулась. Как она могла столько времени не видеть самого простого, самого главного? И о чем она вообще думала?

Она огляделась, примерно сориентировалась по сторонам света и протянула руки на запад (каким-то образом было ясно, что Жених появится оттуда).

— Приди! — молитвенно прошептала она и сразу почувствовала некое новое присутствие, появившееся в мире.

Теперь осталось только дожидаться встречи. Она побежала вперед, с радостью чувствуя, как расстояние между ней и Женихом сокращается — он, как она уже знала, шел ей навстречу по этой же самой набережной, но, в отличие от нее, не спешил, потому что спешить было не в его характере.

Чудом перескочив через неожиданно появившийся из дыма открытый канализационный люк, Мария замедлила шаг и стала лихорадочно шарить по карманам. Ей в голову пришло, что у нее с собой нет ни зеркальца, ни косметички. На миг ее охватило отчаяние — она даже стала вспоминать, не было ли на пути какой-нибудь лужи, где можно было бы увидеть свое отражение. Но отчаяние рассеялось так же быстро, как появилось — Мария вспомнила, что может предстать перед Женихом такой, какой пожелает.

Она некоторое время размышляла. Пусть он увидит совсем молодую девушку, решила она, с двумя рыжими косичками, веснушчатым лицом и... и... Нужна была какая-нибудь милая деталь, какая-нибудь наивная черточка — сережки? Бейсбольная кепка? Оставалось совсем мало времени, и в последний момент Мария украсила себя ярко-розовыми наушниками, которые как бы продолжали горящий на ее щеках румянец. После этого она подняла глаза и стала смотреть вперед.

Впереди, в рваных лоскутах дыма, мелькнуло что-то металлическое и сразу скрылось. Потом появилось чуть ближе и опять скрылось во мгле. Вдруг порыв ветра отогнал дым в сторону, и Мария увидела

высокую сверкающую фигуру, медленно идущую ей навстречу. Одновременно она заметила — или это показалось ей — что с каждым шагом этой фигуры земля чуть содрогается. Металлический человек был намного выше ее ростом, и его бесстрастно-красивое лицо не выражало абсолютно никаких чувств. Марии стало страшно, и она попятилась назад — она помнила, что где-то у нее за спиной остался открытый люк, но не могла оторвать взгляда от металлического торса, надвигавшегося на нее, как нос огромного ледокола на льдину.

В тот момент, когда она уже готова была закричать, с металлическим человеком произошла удивительная трансформация. Сначала на его сверкающих ляжках появились полосатые трусы очень домашнего вида, потом белая майка, затем его тело приобрело нормальный цвет загорелой человеческой кожи и сразу же вслед за этим облеклось в канареечные брюки, рубашку с полосатым галстуком и дивной красоты малиновый двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Только тут Мария успокоилась. Но малиновый пиджак радовал ее глаза совсем недолго — он скрылся под возникшим сверху длинным серым плащом. На ногах Гостя появились черные туфли, а на лице — черные зеркальные очки. Волосы застыли в рыжеватом ежике, и Мария с радостным замиранием сердца узнала в Женихе Арнольда Шварценеггера — да это, как она сразу же поняла, и не мог быть никто другой.

Он стоял перед ней и молча глядел на нее квадратными черными стеклами; на его губах играла еле заметная улыбка. Мария увидела свое отражение в его очках и поправила наушники.

— О дева Мария, — тихо сказал Шварценеггер.

Он говорил без выражения, гулким, но приятным голосом.

— Нет, милый, — сказала Мария, загадочно улыбаясь и поднимая сложенные руки к груди, — просто Мария.

— Просто Мария, — повторил Шварценеггер.

— Да, — сказала Мария. — А ты Арнольд?

— *Sure*, — сказал Шварценеггер.

Мария открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг выяснилось, что сказать ей совершенно нечего. Шварценеггер все так же молча смотрел на нее и улыбался. Мария потупилась и покраснела, и тогда Шварценеггер ласковым, но непреодолимо сильным движением развернул ее и повел рядом с собой. Мария подняла на него глаза и улыбнулась своей знаменитой глуповато-загадочной улыбкой. Шварценеггер положил ей руку на плечо. Мария чуть просела под ее тяжестью, и тут же из памяти выплыла неожиданная картина — Ленин, несущий бревно на субботнике. На картине над плечом Ленина был виден только край бревна, и Мария подумала, что, может быть, на самом деле это было не бревно, а рука некоего могущественного существа, на которое Ленин мог только коситься с беззащитной улыбкой, как сейчас она на Шварценеггера. В следующий момент Мария поняла, что думает нечто совершенно неуместное, и вымела все это прочь из головы.

Шварценеггер повернул к ней лицо.

— У тебя очи, — монотонно сказал он, — как с полотна Айвазовского.

Мария от неожиданности вздрогнула. Таких слов она не ждала, и Шварценеггер, видимо, понял это сразу. А дальше произошло нечто странное — или, может быть, не произошло на самом деле, а только почудилось Марии — по темным очкам Шварценеггера изнутри замелькали какие-то чуть заметные красные буквы, как это бывает на бегущей строке, и одновременно что-то тихо заверещало в его голове, словно там включился компьютерный хард-диск. Ма-

рия испуганно отшатнулась, но тут же вспомнила, что Шварценеггер, так же как и она, существо условное и соткан из тысяч русских сознаний, думающих в эту секунду о нем, а мысли по его поводу у людей могли быть самыми разными.

Шварценеггер поднял перед собой свободную руку и пошевелил в воздухе пальцами, подыскивая подходящие слова.

— Нет, — сказал он наконец, — у тебя не глаза, а жемчужины!

Мария прильнула к нему и доверчиво посмотрела на него снизу вверх. Шварценеггер втянул подбородок в шею, словно для того, чтобы Мария не заглянула ему под очки.

— Тут много дыма, — сказал он, — зачем мы идем по этой набережной?

— Не знаю, — ответила Мария.

Шварценеггер развернулся и повел ее прочь от решетки прямо сквозь дым. Через несколько шагов Марии стало страшно, потому что дым стал таким плотным, что видно уже не было ничего, даже Шварценеггера — разглядеть можно было только ту часть его руки, которая обнимала ее плечо.

— Откуда столько дыма? — спросила Мария. — Ведь вроде и не горит ничего.

— Си-эн-эн, — ответил Шварценеггер.

— Что, они что-то жгут?

— Нет, — сказал Шварценеггер. — Показывают.

Ага, поняла Мария, наверно, все те, кто думает про нее и Шварценеггера, смотрят сейчас Си-эн-эн, а Си-эн-эн показывает какой-то дым. Но как уже долго, однако.

— Ничего, — сказал невидимый Шварценеггер. — Скоро кончится.

Но дым никак не кончался, а они уходили все дальше и дальше от набережной. Марии вдруг при-

шло в голову, что вместо Шварценеггера рядом с ней уже несколько минут может идти кто-то другой — ну хотя бы тот, кто обнимал Ленина на субботнике, и эта мысль так ее напугала, что она машинально поправила наушники и включила музыку. Музыка была странной и какой-то рубленой — то начинали сладко петь о любви гитары и трубы, то вдруг раздавался протяжный электронный вой, очень похожий на волчий. Но все же это было лучше, чем слышать только далекие взрывы и неясную мешанину человеческих голосов.

Вдруг из дыма прямо на Марию вылетела какая-то фигура и сильно пихнула ее в грудь. Мария вскрикнула и увидела перед собой человека в пятнистой одежде, с автоматом в руке. Человек поднял глаза на Марию, открыл было рот, но тут Шварценеггер снял свою руку с плеча Марии, взял человека за голову, несильно крутанул ее вбок и отбросил обмякшее тело за пределы видимости. Его рука вернулась на плечо Марии, и Мария прижалась к его литому торсу.

— Ах, мужчины, мужчины, — тихо проворковала она.

Дым стал понемногу рассеиваться. Мария опять стала видеть лицо Шварценеггера, а потом и все его большое тело, спрятанное, как памятник перед открытием, под светло-серым покрывалом плаща.

— Арнольд, — спросила она, — а куда мы идем?

— Разве ты не знаешь? — сказал Шварценеггер.

Мария покраснела и потупилась.

„Что же это все-таки такое — алхимический брак? — подумала она. — И не будет ли мне больно? В смысле — потом? Ведь уже столько раз бывало.“

Она подняла на него глаза и увидела на его щеках прославленные ямочки — Шварценеггер улыбался. Мария закрыла глаза и, не веря своему счастью, по-

шла туда, куда ее направляла рука, лежавшая на ее плече.

Когда Шварценеггер остановился, она открыла глаза и увидела, что дыма вокруг почти не осталось. Они стояли на незнакомой улице, между старых домов, облицованных гранитом. Улица была пустынной, только вдалеке, там, где за полосой дыма осталась набережная, бессмысленно суетились согнувшиеся фигурки с автоматами. Шварценеггер как-то странно мялся на месте — Марии показалось, что его грызут сомнения непонятной природы, и она испуганно подумала, что эти сомнения могут касаться ее.

„Срочно нужно сказать что-нибудь романтическое, — подумала она. — А что, собственно, сказать? Да неважно.“

— Знаешь, Арнольд, — заговорила она, прижимаясь к его боку, — мне вдруг... Я не знаю, может быть, это покажется тебе глупым... Но ведь я могу быть с тобой искренней?

— Конечно, — сказал Шварценеггер, поворачивая к ней черные стекла.

— Когда я рядом с тобой, мне так хочется взлететь ввысь! Мне кажется, что небо совсем близко!

Шварценеггер поднял голову и посмотрел вверх.

Между полосами дыма действительно виднелось ярко-голубое небо — нельзя было сказать, что оно особенно близко, но и далеким его назвать тоже было нельзя.

„Ах, — подумала Мария, — ну что я только несу.“
Но останавливаться было уже поздно.

— А ты, Арнольд, — ты хотел бы взлететь ввысь? Шварценеггер секунду подумал.

— Хотел бы, — сказал он.

— А ты возьмешь меня с собой? Ведь я... — Мария застенчиво улыбнулась, — ведь я такая земная.

Шварценеггер подумал еще секунду.

— О.К., — сказал он. — Я возьму тебя ввысь.

Он осмотрелся по сторонам, словно пытаясь найти вокруг какие-то только ему ведомые ориентиры — и, видимо, нашел их, потому что решительно схватил Марию под руку и потащил ее вперед. Мария порази-лась такому быстрому переходу от поэтической абстракции к действиям, но сразу же подумала, что именно так и должен поступать настоящий мужчина.

Шварценеггер поволок ее вдоль длинного сталин-ского дома. Через несколько шагов Мария принорови-лась к его быстрой поступи и затрусилась рядом, дер-жась за рукав его плаща. Она чувствовала, что сто-ит ей сбавить шаг, и рука Шварценеггера из галантно предоставленной ей точки опоры превратится в стальной рычаг, который безжалостно потащит ее по мостовой, и эта мысль отчего-то наполняла ее бес-предельным счастьем, которое возникало в самом низу живота и теплыми волнами растекалось по телу.

Дойдя до конца здания, Шварценеггер повернул в похожую на триумфальную арку подворотню. Когда они оказались во дворе, Марии показалось, что они перенеслись в какой-то другой город. Здесь стояла ничем не нарушаемая утренняя тишина; никакого дыма вокруг не было, и трудно было даже поверить, что где-то совсем рядом мечутся озабоченные люди с автоматами.

Шварценеггер определенно знал, куда он ведет Марию. Они обогнули маленькую детскую площадку с качелями и нырнули в лабиринт узких проходов между ржавыми гаражами. Мария со сладким ужа-сом подумала, что где-нибудь здесь, быстро и немно-го неловко, и произойдет алхимический брак — как вдруг проход вывел в пустое пространство, со всех сторон окруженное жестяными стенами разного цве-та и высоты.

Впрочем, пространство было не совсем пустым. Под ногами, как и положено, валялись бутылки, еще была пара старых покрышек, мятая дверь от „Лады“ и большое количество разного квазимеханического мусора, который всегда скапливается возле гаражей.

Кроме того, был еще самолет.

Он занимал собой почти все свободное место, но Мария увидела его в последнюю очередь — наверно, потому, что ее мозг несколько секунд отфильтровывал поступающие из глаз сигналы как заведомую галлюцинацию. Марии стало страшно.

„Откуда здесь взяться самолету? — подумала она. — Хотя, с другой стороны, откуда здесь взяться Шварценеггеру? Но все равно, это очень странно.“

— Что это? — спросила она.

— Истребитель вертикального взлета и посадки „Харриер“, — сказал Шварценеггер, — модель „А-4“.

Мария увидела на его щеках прославленные ямочки — Шварценеггер улыбался. Она чуть нахмурила свои пушистые брови, и страх в ее душе сменился ревностью к этому огромному насекомому из стекла и металла, который явно занимал в сердце Шварценеггера не меньше места, чем она сама.

Шварценеггер пошел к самолету. Поглощенная своими мыслями Мария не сразу стронулась с места, и ее дернуло вперед, как будто Шварценеггер был трактором, а она — наспех прицепленным сельскохозяйственным агрегатом.

— Но ведь тут всего одно место, — сказала она, увидев под стеклянным колпаком кабины спинку сиденья.

— Это не страшно, — сказал Шварценеггер, подхватил ее и одним легким движением посадил на крыло.

Мария подтянула ноги и встала на косую дюралевую плоскость. Подул ветер, ее одежды затрепетали,

и она подумала, что ей всегда удавались романтические роли.

— А ты? — спросила она.

Но Шварценеггер уже был в кабине — залез он удивительно быстро и ловко, и Мария подумала, что это наверняка монтаж или комбинированные съемки. Высунув голову из кабины, он улыбнулся и показал ей кольцо из соединенных большого и указательного пальцев; Мария подумала, что может считать это кольцо обручальным.

— Садись на фюзеляж, — сказал Шварценеггер, — там, где кончаются крылья. Не бойся. Представь себе, что это карусель. Представь, что ты сидишь на лошадке.

— Ты что, собираешься...

Шварценеггер кивнул.

Его черные очки смотрели Марии прямо в душу, и она поняла, что сейчас, именно сейчас решается ее судьба. Это, несомненно, был экзамен. Женщина, достойная того, чтобы быть рядом со Шварценеггером, не могла оказаться трусливым и пошлым существом, годным только для вялых многосерийных интриг на сексуально-бытовой почве. Она должна была быть способна встречать лицом к лицу смертельную опасность и не выдавать своих чувств ничем, кроме улыбки. Мария попробовала улыбнуться и почувствовала, что улыбка выходит немного вялой.

— Отличная мысль, — сказала она. — А я не замерзну?

— Мы не надолго, — сказал Шварценеггер. — Садись.

Мария пожала плечами, осторожно шагнула к фюзеляжу, который рыбьим позвоночником выпирал над плоскостью крыльев, и аккуратно присела на него.

— Но, — сказал Шварценеггер. — Амазонкой ты

будешь садиться тогда, когда мы поедем на мое ранчо в Калифорнии. А сейчас сядь нормально. Сдует.

Мария секунду колебалась.

— Отвернись, — сказала она.

Шварценеггер улыбнулся левым углом рта и отвернулся. Мария перекинула ногу через дюралевый хребет и оседлала фюзеляж. Металл под ней был холодным и чуть влажным от росы; она привстала, чтобы подоткнуть под себя куртку, и ей вдруг померещилось, что самые нежные части ее тела распластались на угловатых бедрах лежащего на спине металлического человека — не то поваленного ветром перемен Дзержинского, не то какого-то адского робота. Она вздрогнула, но эта короткая галлюцинация сразу же кончилась. На смену пришло ощущение, что она сидит на вынутой из холодильника сковородке. Происходящее нравилось ей все меньше и меньше.

— Арнольд, — позвала она, — а ты уверен, что нам надо это делать?

Эти слова она приберегала для совсем других обстоятельств, но сейчас они сами сорвались с языка. Шварценеггер несколько секунд думал.

— Ты же хотела ввысь, — сказал он. — Но если тебе страшно...

— Нет, — переборов себя, сказала Мария, — мне ни капли не страшно. Просто я создаю тебе столько хлопот.

— Никаких хлопот, — сказал Шварценеггер. — Сейчас будет очень шумно, так что надень свои наушники. Кстати, а что ты слушаешь?

— „Джихад Кримсон“, — сказала Мария, поправляя на ушах маленькие розовые подушечки.

Лицо Шварценеггера окаменело. Если бы не ветер, шевеливший его осветленные перекисью водорода волосы, Мария решила бы, что кто-то из съемочной группы заменил настоящего Шварценеггера манекеном.

— Что случилось? — испуганно спросила она.

Шварценеггер некоторое время не шевелился. На стеклах его очков задрожали странные красные блики — Мария подумала, что это отражаются увядшие листья поднимающихся за гаражами кленов.

— Арни, — позвала она.

У Шварценеггера несколько раз дернулся угол рта, а затем к нему, видимо, вернулась способность двигаться. Он повертел головой — далось ему это с усилием, словно в подшипник, на котором она вращалась, попал песок.

— Кримсон Джихад? — переспросил он.

— „Джихад Кримсон“, — ответила Мария. — Нусрат Фатех Али Хан с Робертом Фриппом. А что?

— Так, — сказал Шварценеггер, — пустяки.

Его голова исчезла в кабине. Внизу, где-то под металлическим брюхом самолета, раздалось электрическое жужжание, которое за несколько секунд переросло в чудовищный по силе рев, — Марии показалось, что она чувствует, как поролоновые подушечки вдавливаются ей в уши. Затем ее плавно качнуло, и гаражи поплыли вниз и назад.

Покачиваясь из стороны в сторону, как лодка, „Харриер“ поднимался вертикально вверх — Мария даже не знала, что самолеты могут так летать. Она подумала, что, если закрыть глаза, будет не так страшно, но любопытство оказалось сильнее страха, и меньше чем через минуту она снова их открыла.

Первым, что она увидела, открыв глаза, было наезжающее прямо на нее окно — оно было настолько близко, что Мария отчетливо увидела на экране работавшего в комнате телевизора танк, который поворачивал пушку в ее сторону. Танк на экране выстрелил, и в ту же секунду самолет сильно наклонился и поплыл прочь от стены. Чуть не съехавшая на крыло Мария завизжала от страха, но самолет быстро выровнялся.

— Держись за антенну! — крикнул Шварценеггер, высовываясь из кабины и махая рукой.

Мария опустила глаза. Прямо перед ней из фюзеляжа торчал продолговатый металлический предмет с круглым утолщением на конце — было непонятно, как она не заметила его раньше. Он походил на короткое и узкое вертикальное крыло и сразу вызвал у Марии нескромные ассоциации, хотя его размер был значительно больше, чем встречается в реальной жизни. От одного взгляда на этот мощный выступ страх в ее душе сменился радостным воодушевлением, которого ей так не хватало со всеми этими утомленными Мигелями, невытыми Ленями и пьяненькими Иванами.

Тут все было совсем иначе: круглое утолщение на конце антенны было покрыто маленькими дырочками, что слегка напоминало душевой кран и одновременно заставляло думать о неземных формах жизни и любви. Мария показала на него пальцем и вопросительно поглядела на Шварценеггера. Тот кивнул, широко улыбнулся, и на его губах засверкало солнце.

Мария подумала, что то, что происходит с ней сейчас — исполнение ее детской мечты. В каком-то фильме она подолгу просиживала над сказками, разглядывая рисунки и воображая себя летящей в небе на спине дракона или огромной птицы — и теперь это действительно с ней происходило. Может быть, не совсем это, — но, подумала она, кладя ладонь на стальной выступ антенны, мечты всегда сбываются иначе, чем мы ожидаем.

Самолет чуть накренился, и Мария заметила, что это произошло в явной связи с тем, что она прикоснулась к антенне. Причем движение самолета показалось ей каким-то удивительно одушевленным — словно бы антенна была самой чувствительной его

частью. Мария провела по стальному стержню рукой и сжала его верхнюю часть в кулаке. „Харриер“ нервно качнул крыльями и поднялся еще на несколько метров. Мария подумала, что самолет ведет себя совсем как привязанный к кровати мужчина, который не может заключить ее в объятия и в состоянии только дергаться всем телом — сходство усиливалось тем, что она сидела как раз за крыльями, которые походили на раскинутые в стороны ноги — невероятно мускулистые, но не способные пошевелиться.

Это было занятно, но все-таки слишком замысловато — Мария предпочла бы, чтобы вместо этой огромной стальной птицы в пустом пространстве между гаражами нашлась самая обычная раскладушка. Но со Шварценеггером, подумала она, и не могло быть иначе. Она поглядела на кабину — в ней мало что было видно, потому что на стекле отражалось солнце. Кажется, он сидел в своем кресле и чуть водил головой из стороны в сторону в такт движениям ее руки.

„А вот у этого робота в кино, — подумала Мария, глядя на антенну вторую руку, — который был сделан из металла и мог как угодно менять свою форму, какой у него, интересно, был? Наверно, какой угодно?“

Самолет, между тем, поднимался все выше. Крыши домов остались далеко внизу, и перед Марией открылась величественная панорама Москвы.

Повсюду блестели купола церквей, и город из-за этого казался огромной косухой, густо усыпанной бессмысленными заклепками. Дыма над Москвой было гораздо меньше, чем Марии казалось, когда она шла по набережной. Кое-где он действительно поднимался над домами, но не всегда было понятно, что это — пожар, выбросы заводских труб или просто низкие облака.

Несмотря на полное безобразие каждой из составных частей, общий вид города был чрезвычайно красив, но источник этой красоты был непонятен. С Росией всегда так, подумала Мария, вода руками по холодной стали — любишься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любишься, так и вырвать может.

Вдруг самолет дернулся под ней, и она почувствовала, что верхняя часть стержня как-то странно болтается в ее ладони. Она отдернула руки, и сразу же металлический набалдашник с дырочками отвалился от антенны, ударился о фюзеляж и полетел вниз, а от былой мощи осталась короткая трубка с резьбой на конце, из которой торчали два перекрученных оборванных провода, синий и красный.

Мария перевела взгляд на кабину. За стеклом был виден неподвижный белокрысыый затылок Шварценеггера. Сначала Мария подумала, что он ничего не заметил. Потом ей пришло в голову, что он в обмороке. Она растерянно поглядела по сторонам, заметила, что нос самолета медленно и как-то неуверенно поворачивается, и ее догадка мгновенно переросла в уверенность. Почти не соображая, что она делает, она перевалилась с фюзеляжа на плоскую площадку между крыльями (при этом обрубок антенны порвал ей куртку) и поползла к кабине.

Фонарь был открыт. Лежа на крыле, Мария приподнялась и закричала:

— Арни! Арни!

Но ответа не было. Она опасливо встала на четвереньки и увидела его затылок с дрожащей на ветру прядью.

— Арни! — еще раз позвала она.

Шварценеггер повернул к ней голову.

— Слава Богу! — вырвалось у Марии.

Шварценеггер снял очки.

Его левый глаз был чуть сощурен и выражал очень ясную и одновременно неизмеримо сложную гамму чувств, среди которых были смешанные в строгой пропорции жизнелюбие, сила, здоровая любовь к детям, моральная поддержка американского автомобилестроения в его нелегкой схватке с Японией, признание прав сексуальных меньшинств, легкая ирония по поводу феминизма и спокойное осознание того, что демократия и иудео-христианские ценности в конце концов обязательно победят все зло в этом мире.

Но его правый глаз был совсем иным. Это даже сложно было назвать глазом. Из развороченной глазницы с засохшими потеками крови на Марию смотрела похожая на большое бельмо круглая стеклянная линза в сложном металлическом держателе, к которому из-под кожи шли тонкие провода. Из самого центра этой линзы бил луч ослепительного красного света — Мария заметила это, когда луч попал ей в глаза.

Шварценеггер улыбнулся. При этом левая часть его лица выразила то, что и положено выражать лицу Арнольда Шварценеггера при улыбке — что-то неуловимо-лукавое и как бы мальчишеское, такое, что сразу становилось понятно: ничего плохого этот человек никогда не сделает, а если и убьет нескольких мудаков, то только после того, как камера несколько раз и под разными углами убедительно зафиксирует их беспредельную низость. Но улыбка затронула только левую часть его лица, правая же осталась совершенно неизменной — холодной, внимательной и страшной.

— Арнольд, — растерянно сказала Мария, поднимаясь на ноги, — Арнольд, зачем ты? Перестань!

Но Шварценеггер не ответил. А в следующий момент самолет резко накренился, и Мария покатилась

вниз по его крылу. По дороге она несколько раз ударила лицом о какие-то выступы, а потом из-под нее исчезла всякая опора. Она решила, что падает вниз, и зажмурила глаза, чтобы не видеть летящих на нее деревьев и крыш. Но прошло несколько секунд, и ничего не случилось. Мария заметила, что двигатель по-прежнему ревет совсем рядом, и приоткрыла глаза.

Оказалось, что она висит под крылом — капюшон ее куртки зацепился за какой-то оперенный выступ, в котором она с трудом узнала ракету. Ракета своей расширяющейся головной частью немного напоминала антенну, с которой она имела дело несколько минут назад, — увидев это, она решила, что Шварценеггер попросту продолжает свои любовные игры. Но это было уже слишком — у нее на лице наверняка было несколько синяков, а из разбитых губ в рот сочилась кровь.

— Арнольд, — закричала она, отмахивая руками, чтобы развернуться лицом к кабине, — прекрати! Я так не хочу! Слышишь? Я так не хочу!

Наконец ей удалось увидеть кабину и улыбающееся лицо Шварценеггера.

— Я не хочу так, слышишь? Так, как ты хочешь, мне больно!

— *No?* — переспросил он.

— *Нет! Нет!*

— *O.K.*, — сказал Шварценеггер. — *You are fired.*

В следующий момент его лицо рванулось назад, и невообразимая сила понесла Марию прочь от самолета, который за несколько секунд превратился в крохотную серебряную птицу, соединенную с ней длинным шлейфом дыма. Мария повернула лицо вперед и увидела наплывающий на нее шпиль Останкинской телебашни. Утолщение на ее средней части быстро росло в размерах, и за миг до удара Мария ясно уви-

дела каких-то людей в белых рубашках и галстуках, сидящих за столом и изумленно глядящих на нее сквозь толстое стекло.

Зазвенел разбившийся стакан, затем что-то тяжелое упало на пол, и стал слышен громкий плач.

— Осторожнее, осторожнее, — сказал Тимур Тимурович. — Вот так, да.

Поняв, что продолжения не будет, я открыл глаза. Я уже мог кое-как видеть — то, что находилось возле меня, было ясно различимо, но более удаленные предметы расплывались, а общая перспектива была такой, словно я находился внутри большого елочного шара, на стенках которого был намалеван окружающий мир. Прямо надо мной двумя утесами возвышались Тимур Тимурович и полковник Смирнов.

— Да, — сказал кто-то в углу. — Вот так и познакомились Арнольд Шварценеггер и просто Мария.

— Я бы обратил внимание, — прокашлявшись, сказал Тимуру Тимуровичу полковник Смирнов, — на четко выраженный фаллический характер того, что пациенту постоянно мерещится х...й. Заметили? То антенна, то ракета, то Останкинская башня.

— Вы, военные, слишком прямолинейны, — отозвался Тимур Тимурович. — Не все так просто. Как говорится, умом Россию не понять — но и к сексуальному неврозу тоже не свести. Так что не будем спешить. Важно то, что налицо катарсический эффект, хотя и в ослабленной форме.

— Да, — согласился полковник, — даже стул сломался.

— Именно, — сказал Тимур Тимурович. — Когда заблокированный патологический материал выходит на поверхность сознания, он преодолевает сильное сопротивление, поэтому часто бывают видения катастроф, всяких столкновений — вот как сейчас. Самый

верный признак того, что мы движемся в верном направлении.

— А может, это от контузии? — сказал полковник.

— От какой контузии?

— А я вам разве не говорил, в чем дело? Понимаете ли, когда по Белому дому стреляли, несколько снарядов пролетело насквозь, через окна. Так вот один попал прямо в квартиру, где в это время...

Полковник склонился к Тимуру Тимуровичу и что-то зашептал ему на ухо.

— Ну и понятно, — долетали до меня отдельные слова, — все вдребезги... Сначала вместе с трупами засекретили, а потом смотрим — шевелится... Потрясение, конечно, сильнейшее.

— Так что ж вы молчали столько времени, батенька? Это ведь всю картину меняет, — укоризненно сказал Тимур Тимурович. — А я тут бьюсь, бьюсь...

Он наклонился надо мной, двумя толстыми пальцами оттянул мне веко и заглянул в глаз.

— А вы как?

— Даже не знаю, — ответил я. — Это, конечно, не самое интересное видение в моей жизни. Но я... Как бы это сказать... Я нахожу занятой ту сновидческую легкость, с которой на несколько минут получил прописку в реальности этот бред.

— Видали? — повернулся Тимур Тимурович к полковнику Смирнову.

Тот молча кивнул.

— Я, родной мой, интересовался не вашим мнением, а вашим самочувствием, — сказал Тимур Тимурович.

— Я чувствую себя хорошо, благодарю вас, — ответил я. — Вот только хочется спать.

Это было чистой правдой.

— Так поспите.

Он повернулся ко мне спиной.

— Завтра утром, — сказал он невидимой нянечке, — пожалуйста, сделайте Петру четыре кубика таурепамы прямо перед водными процедурами.

— Радио можно включить? — спросил тихий голос из угла.

Тимур Тимурович щелкнул какой-то кнопкой на стене, взял военного под руку и повел к выходу. Я закрыл глаза и понял, что открыть их опять буду уже не в силах.

— Мне кажется порою, что солдаты, — запел грустный мужской голос, — с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей...

Как только из репродуктора вылетело последнее слово, в палате раздался шум какой-то суматохи.

— Держите Сердюка! — закричал голос над самым моим ухом. — Кто это про журавлей завел? Забыли, что ли?

— Ты же сам включить попросил, — ответил другой голос. — Сейчас переключим.

Раздался еще один щелчок.

— Прошло ли время, — спросил с потолка вкрадчивый голос, — когда российская поп-музыка была синонимом чего-то провинциального? Судите сами. „Воспаление придатков“ — редкая для России чисто женская группа. Полный комплект их сценического оборудования весит столько же, сколько танк „Т-90“. Кроме того, в их составе одни лесбиянки, две из которых инфицированы английским стрептококком. Несмотря на эти ультрасовременные черты, „Воспаление придатков“ играет в основном классическую музыку — правда, в своей интерпретации. Сейчас вы услышите, что девчата сделали из мелодии австрийского композитора Моцарта, которого многие наши слушатели знают по фильму Формана и одноименному австрийскому ликеру, оптовыми поставками которого занимается наш спонсор фирма „Третий глаз“.

Заиграла дикая музыка, похожая на завывание метели в тюремной трубе. Слава Богу, я был уже в забытьи. Сначала меня одолевали тяжелые мысли о происходящем, а потом привиделся короткий кошмар про американца в черных очках, который как бы продолжал историю, рассказанную этой несчастной.

Американец посадил свой самолет во дворе, облил откуда-то взявшимся керосином и поджег. В огонь полетели малиновый пиджак, черные очки и канаречные брюки, а сам американец остался в крохотных плавках. Поигрывая великолепно развитыми мышцами, он долго искал что-то в кустах, но так и не нашел. Затем в моем сне был провал, а когда я увидел его опять, он уже был, страшно сказать, беременным — видимо, встреча с Марией не прошла для него даром. К этому моменту он успел превратиться в пугающую металлическую фигуру с условным лицом, и на его вздувшемся животе яростно сверкало солнце.

Доносившаяся до меня мелодия сначала как бы поднималась вверх по лестнице, а потом, после короткого топтания на месте, отчаянно кидалась в лестничный пролет — и тогда заметны становились короткие мгновения тишины между звуками. Но пальцы пианиста ловили мелодию, опять ставили на ступени, и все повторялось, только пролетом ниже. Место, где это происходило, очень напоминало лестницу дома номер восемь по Тверскому бульвару, только во сне эта лестница уходила вверх и вниз, насколько хватало глаз, и, видимо, была бесконечной. Я понял вдруг, что у любой мелодии есть свой точный смысл. Эта, в частности, демонстрировала метафизическую невозможность самоубийства — не его греховность, а именно невозможность. И еще мне представилось, что все мы — всего лишь звуки, летящие из-под пальцев неведомого пианиста, просто короткие терции, плавные сексты и диссонирующие септимы в грандиозной симфонии, которую никому из нас не дано услышать целиком. Эта мысль вызвала во мне глубокую печаль, и с этой печалью в сердце я и вынырнул из свинцовых туч сна.

Несколько секунд я пытался сообразить, где я, собственно, нахожусь и что происходит в том странном мире, куда меня вот уже двадцать шесть лет каждое утро швыряет неведомая сила. На мне была тяжелая куртка из черной кожи, галифе и сапоги.

Что-то больно впивалось мне в бедро. Я повернулся на бок, нащупал под ногой деревянную коробку с маузером и огляделся. Надо мной был шелковый балдахин с удивительной красоты желтыми кистями. Небо за окном было безоблачно-синим, и далекие крыши слабо краснели под холодными лучами зимнего солнца. Прямо напротив моего окна на другой стороне бульвара был виден обитый жестью купол, отчего-то напомнивший мне живот огромной металлической рожицы.

Я вдруг понял, что музыка мне не снилась — она отчетливо доносилась из-за стены. Я стал соображать, как я здесь оказался, и вдруг меня словно ударило электричеством — в одну секунду я припомнил вчерашнее и понял, что нахожусь на квартире Фон Эрнена. Я вскочил с кровати, метнулся к двери и замер.

За стеной, в той комнате, где остался Фон Эрнен, кто-то играл на рояле, причем ту самую фугу фа минор Моцарта, тему из которой кокаин и меланхолия заставили меня вспомнить вчера вечером. У меня в прямом смысле потемнело в глазах — мне представился кадавр, деревянно бьющий по клавишам пальцами, высунутыми из-под наброшенного на него пальто; я понял, что вчерашний кошмар еще не кончился. Охватившее меня смятение трудно передать. Я оглядел комнату и увидел на стене большое деревянное распятие с изящной серебряной фигуркой Христа, при взгляде на которую у меня мелькнуло странное чувство, похожее на *deja vu* — словно я уже видел это металлическое тело в каком-то недавнем сне. Сняв распятие, я достал из кобуры маузер и на цыпочках вышел в коридор. Двигало мной примерно такое соображение — если уж допускать, что покойник может играть на рояле, то можно допустить и то, что он боится креста.

Дверь в комнату, где играл рояль, была приоткрыта. Стараясь ступать как можно тише, я подошел к ней и заглянул внутрь. Отсюда был виден только край рояля. Несколько раз глубоко вдохнув, я толчком ноги распахнул дверь и шагнул в комнату, сжимая одной рукой тяжелый крест, а другой — готовое к стрельбе оружие. Первым, что я увидел, были сапоги Фон Эрнена, торчащие из угла; он мирно покоился под своим серым английским саваном.

Я повернулся к роялю.

За ним сидел человек в черной гимнастерке, которого я видел вчера в ресторане. На вид ему было лет пятьдесят; у него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на висках. Казалось, он даже не заметил моего появления — его глаза были закрыты, словно весь он ушел в музыку. Играл он и правда превосходно. На крышке рояля я увидел папаху тончайшего каракуля с муаровой красной лентой и необычной формы шашку в великолепных ножнах.

— Доброе утро, — сказал я, опуская маузер.

Человек за роялем поднял веки и окинул меня внимательным взглядом. Его глаза были черными и пронизывающими, и мне стоило некоторого усилия выдержать их почти физическое давление. Заметив крест в моей руке, он еле заметно улыбнулся.

— Доброе утро, — сказал он, продолжая играть. — Отраднo видеть, что с самого утра вы думаете о душе.

— Что вы здесь делаете? — спросил я, осторожно укладывая распытие на крышку рояля рядом с его шашкой.

— Я пытаюсь, — сказал он, — сыграть одну довольно трудную пьесу. Но, к сожалению, она написана для четырех рук, и сейчас приближается пассаж с которым мне не справиться одному. Не будете ли вы так любезны помочь мне? Кажется, вам знаком: эта вещь.

Словно в каком-то трансе, я сунул маузер в кобуру, встал рядом и, улучив момент, опустил пальцы на клавиши. Мой контрапункт еле поспевал за темой, и я несколько раз ошибся; потом мой взгляд снова упал на раскинутые ноги Фон Эрнена, и до меня дошел весь абсурд происходящего. Я отшатнулся в сторону и уставился на своего гостя. Он перестал играть и некоторое время сидел неподвижно — казалось, уйдя глубоко в свои мысли. Потом он улыбнулся, протянул руку и взял с крышки распятие.

— Бесподобно, — сказал он. — Я никогда не понимал, зачем Богу было являться людям в безобразном человеческом теле. По-моему, гораздо более подходящей формой была бы совершенная мелодия — такая, которую можно было бы слушать и слушать без конца.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Моя фамилия Чапаев, — ответил незнакомец.

— Она ничего мне не говорит, — сказал я.

— Вот именно поэтому я ей и пользуюсь, — сказал он. — А зовут меня Василий Иванович. Полагаю, что это вам тоже ничего не скажет.

Он встал со стула и потянулся; при этом суставы его тела издали громкий треск. Я почувствовал легкий запах дорогого английского одеколona.

— Вчера, — сказал он, пристально глядя на меня, — вы забыли в „Музыкальной табакерке“ свой саквояж. Вот он.

Я посмотрел на пол и увидел стоящий возле ножки рояля черный саквояж Фон Эрнена.

— Благодарю вас, — сказал я. — Но как вы вошли в квартиру?

— Я пытался звонить, — сказал он, — но звонок, видимо, не работает. А ключи торчали из двери. Я увидел, что вы спите, и решил подождать.

— Понятно, — сказал я.

На самом деле ничего понятно мне не было. Как он узнал, где я? К кому он вообще пришел — ко мне или к Фон Эрнену? Кто он и чего он хочет? И почему — именно это мучило меня невыносимо — почему он играл эту проклятую фугу? Подозревает ли он что-нибудь? (Кстати сказать, накрытый пальто труп в углу смущал меня меньше всего — это был вполне обычный для чекистских квартир предмет обстановки.)

Чапаев словно прочел мои мысли.

— Как вы, очевидно, догадываетесь, — сказал он, — я к вам не только по поводу вашего саквояжа. Сегодня я отбываю на восточный фронт, где команду дивизией. Мне нужен комиссар. Прошлый... Ну, скажем, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Вчера я видел вашу агитацию, и вы произвели на меня недурное впечатление. Кстати, Бабаясин тоже очень доволен. Я хотел бы, чтобы политическую работу во вверенных мне частях проводили вы.

С этими словами он расстегнул карман гимнастерки и протянул мне сложенный вчетверо лист бумаги. Я развернул его и прочел:

Тов. Фанерному. Согласно приказа тов. Дзержинского вы немедленно переводитесь в распоряжение командира Азиатской Конной Дивизии тов. Чапаева с целью заострения политической работы. Бабаясин.

Снизу стояла уже знакомая мне расплывающаяся фиолетовая печать. Что же это за Бабаясин такой, смятенно подумал я и поднял глаза.

— Так как вас все-таки зовут? — прищурясь, спросил Чапаев. — Григорий или Петр?

— Петр, — облизнув пересохшие губы, сказал я. — Григорий — это мой старый литературный псевдоним. Знаете, все время возникает путаница. Неко-

торые по старой памяти говорят Григорий, некоторые — Петр...

Кивнув, он взял с рояля пашку и папаху.

— Так вот, Петр, — сказал он, — возможно, это покажется вам не вполне удобным, но наш поезд отбывает сегодня. Ничего не поделаешь. Война. У вас есть в Москве какие-нибудь незавершенные дела?

— Нет, — сказал я.

— В таком случае я предлагаю вам отбыть со мной незамедлительно. Сейчас мне надо быть на погрузке полка ивановских ткачей, и я хотел бы, чтобы вы присутствовали. Не исключено, что вам придется выступить. У вас много вещей?

— Только это, — сказал я, кивая на саквояж.

— Отлично. Я сегодня же распорядюсь поставить вас на довольствие при штабном вагоне.

Он направился к дверям.

Я поднял саквояж и вышел в коридор вслед за ним. В моей голове была совершеннейшая путаница и хаос. Человек, шагавший впереди по коридору, пугал меня. Я не мог понять, кто он — по манерам он меньше всего напоминал красного командира, но, тем не менее, явно был одним из них; к тому же, подпись и печать на сегодняшнем приказе были такими же, как и на вчерашнем. Выходило, что у него достаточно влияния, чтобы за одно утро добиться нужного ему решения и от кровавого Дзержинского, и от этого темного Бабаясина.

В прихожей Чапаев остановился и снял с вешалки длинную голубую шинель с тремя полосами переливающегося алого муара поперек груди. Шинели с таким украшением были последней красногвардейской модой — правда, обычно эти нагрудные полосы-застежки делали из обычного красного сукна. Надев шинель и папаху, Чапаев перепоясался ремнем, на котором висела коробка с маузером, прицепил пашку и повернулся ко мне. Я заметил на его груди орден

странного вида — серебряную звезду с шариками на концах лучей. Никаких изображений или слов на ордене не было. Чапаев заметил мой взгляд.

— Украшали себя к Новому году? — спросил я.

Чапаев добродушно засмеялся.

— Нет, — сказал он. — Это орден Октябрьской Звезды.

— Никогда не слышал.

— Повезет, сами такой заслужите, — сказал он. — Готовы?

— Товарищ Чапаев, — заговорил я, решив воспользоваться неофициальным тоном нашей беседы, — у меня к вам один вопрос, который может показаться вам странным.

— Я весь внимание, — сказал он и вежливо улыбнулся, похлопывая себя по ножнам длинной желтой крагой.

— Признайтесь, — сказал я, глядя ему прямо в глаза, — отчего вы играли на рояле? И почему — именно эту вещь?

Чапаев улыбнулся в усы.

— Видите ли, — сказал он, — когда я заглянул в вашу комнату, вы еще спали. Так вот, во сне вы насвистывали — боюсь, правда, что не совсем точно — эту фугу. Что же до меня, то я очень люблю Моцарта. Когда-то я посещал консерваторию и готовился к карьере музыканта. Но с тех пор многое в моей жизни изменилось. А отчего это вас волнует?

— Так, — сказал я, — пустое. Одно странное совпадение.

Мы вышли на лестничную клетку. Ключи действительно торчали из двери. Я машинально запер квартиру, бросил их в карман и пошел по лестнице вслед за Чапаевым, думая о том, что у меня никогда в жизни не было привычки свистеть. Тем более во сне.

Первым, что я увидел, выйдя на морозную солнечную улицу, был длинный серо-зеленый броневик — тот самый, который я заметил вчера на улице возле „Музыкальной табакерки“. До этого я не видел таких машин — это, несомненно, было последнее слово науки уничтожения. Его корпус был усеян крупными полукруглыми заклепками; вперед выдавалось тупое рыло мотора, увенчанное двумя мощными фарами; высокий стальной лоб, чуть скошенный назад, грозно смотрел на Никитскую площадь двумя косыми смотровыми щелями, похожими на полузакрытые глаза Будды. Наверху была цилиндрическая пулеметная башня, повернутая в сторону Тверского бульвара; ствол пулемета по бокам был защищен двумя расширяющимися стальными полосами. В борту была небольшая дверь.

Вокруг толпилась ребятня — некоторые были с санками, другие с коньками, и я машинально подумал, что пока идиоты взрослые заняты переустройством выдуманного ими мира, дети продолжают жить в реальности — среди снежных гор и солнечного света, на черных зеркалах замерзших водоемов и в мистической тишине заснеженных ночных дворов. И хоть эти дети тоже были заражены бактерией обрушившегося на Россию безумия — это было ясно по взглядам, которые они бросали на сверкающую шашку Чапаева и мой маузер, — все же в их чистых глазах еще сияла память о чем-то, уже давно забытом мной; быть может, это было неосознанное воспоминание о великом источнике всего существующего, от которого они, углубляясь в позорную пустыню жизни, не успели еще отойти слишком далеко.

Чапаев подошел к броневiku и отрывисто постучал в борт. Заработал мотор, и зад броневика окутался облаком сизого дыма. Чапаев открыл дверь, и в этот самый момент я услышал за спиной скрип тормозов. Рядом с нами остановилась крытая машина.

Из нее вылезли четверо в черных кожаных куртках и скрылись в подъезде, из которого мы только что вышли. У меня екнуло в груди — я подумал, что они приехали за мной. Наверно, эта мысль пришла мне в голову оттого, что эти четверо напомнили мне вчерашних актеров в черных плащах, выносивших со сцены труп Раскольникова. Один из них, задержавшись в дверях, поглядел в нашу сторону.

— Быстрее, — крикнул из броневика Чапаев. — Холоду напустите.

Я кинул внутрь саквояж, торопливо влез следом и захлопнул за собой дверь.

Интерieur этой грозной машины очаровал меня с первого взгляда. Небольшое пространство, отделенное перегородкой от кабины шофера, напоминало купе Норд-экспресса — два узких кожаных дивана, столик между ними и коврик на полу создавали, несмотря на тесноту, ощущение уюта. В потолке было круглое отверстие, за которым виднелся массивный приклад зачехленного пулемета; в пулеметную башню поднималась ажурная винтовая лестница, кончающаяся подобием вращающегося стула с упором для ног. Освещала все это небольшая электрическая лампочка, в свете которой я разглядел картину, прикрученную к стене болтами по углам рамы. Это был маленький пейзаж в духе Джона Констебла — мост над рекой, далекая грозная туча и романтические руины.

Чапаев поймал раструб переговорной трубки и сказал в него:

— На вокзал.

Броневик мягко тронулся с места — движение внутри почти не ощущалось. Чапаев сел на диван и жестом пригласил меня сесть напротив.

— Великолепная машина, — сказал я совершенно искренне.

— Да, — сказал Чапаев, — недурной броневик. Но я недолюбливаю технику. Когда вы увидите моего коня...

Он сунул руку под столик и вынул оттуда сложенную игральную доску.

— Партию в трик-трак? — спросил он.

Я пожал плечами. Открыв доску, он принялся расставлять черные и белые пашки.

— Товарищ Чапаев, — заговорил я, — а в чем будет заключаться моя работа? Какой круг вопросов?

Чапаев бережным движением поправил ус.

— Видите ли, Петр, наша дивизия — это сложный организм. Я полагаю, что вы постепенно втянетесь в его жизнь и сами найдете для себя, так сказать, нишу. Сейчас еще преждевременно говорить о том, какой именно она будет, но из вашего вчерашнего поведения я понял, что вы человек решительный и к тому же тонко чувствуете суть происходящего. Такие люди нам нужны. Ваш ход.

Я кинул кости на доску, размышляя, как себя вести. Мне плохо верилось, что он действительно красный командир — почему-то я думал, что он играет в ту же безумную игру, что и я, только дольше, виртуознее и, возможно, по своей воле. Но, с другой стороны, все мои сомнения основывались исключительно на его интеллигентной манере разговора и гипнотической силе глаз — а это само по себе ничего не значило: покойник Фон Эрнен, к примеру, тоже был изрядно интеллигентен, а главарь ЧК Дзержинский был довольно известным в оккультных кругах гипнотизером. И потом, подумал я, глупа сама постановка вопроса — ведь нет ни одного красного командира, который действительно был бы красным командиром; любой из них просто изо всех сил старается походить на некий inferнальный эталон, притворяясь точно так же, как и я вчера, но безоглядно. Что касалось Чапаева, то я не воспринимал его в том ка-

честве, которое подразумевал его военный наряд, но другие, видимо, воспринимали — это доказывал и приказ Бабаясина, и броневик, в котором мы ехали. Я не знал, чего он от меня хочет, но решил пока принять его правила игры; к тому же, я испытывал к нему инстинктивное доверие. Отчего-то мне казалось, что этот человек стоит несколькими пролетами выше меня на той бесконечной лестнице бытия, которую я видел сегодня утром во сне.

— Вы чем-то озабочены? — спросил Чапаев, кидая кости. — Быть может, вас мучит какая-нибудь мысль?

— Уже нет, — ответил я. — Скажите, а Бабаясин легко согласился передать меня в ваше распоряжение?

— Как раз Бабаясин был против, — сказал Чапаев. — Он вас очень ценит. Я решал этот вопрос с Дзержинским.

— Что, — спросил я, — вы знакомы?

— Да.

— Вы, товарищ Чапаев, может быть, и Ильича знаете? — спросил я с легкой иронией.

— Довольно коротко, — ответил он.

— Покажите как-нибудь, — сказал я.

— Отчего нет. Если желаете, можно прямо сейчас.

Это было уже слишком. Я с недоумением посмотрел на него, но он ничуть не смутился. Сдвинув доску в сторону, он плавным движением вытянул из ножен шашку и положил ее на стол.

Шашка, надо сказать, была довольно странная. У нее была длинная серебряная рукоять, покрытая резьбой, — на ней были изображены две птицы, между которыми был круг с сидящим в нем зайцем, а все остальное место занимал тончайший орнамент. Рукоять кончалась нефритовым набалдашником, к которому был привязан короткий толстый шнур витого

шелка с лиловой кистью на конце. Перед рукояткой была круглая гарда из черного железа; сверкающее лезвие было длинным и чуть изогнутым — собственно, это была даже не шапка, а какой-то восточный, китайский скорее всего, меч. Но я не успел как следует рассмотреть его, потому что Чапаев выключил свет.

Мы оказались в полной темноте. Я не видел ничего — только слышал ровный шум мотора (кстати сказать, звуковая изоляция этого бронированного автомобиля была превосходной — с улицы не долетало ни малейшего шума) и ощущал легкое покачивание. Чапаев зажег спичку и поднял ее над столом.

— Смотрите на лезвие, — сказал он.

Я посмотрел на размытое красноватое отражение, появившееся на стальной полосе. В нем была какая-то странная глубина — казалось, я гляжу сквозь слегка запотевшее стекло в длинный, слабо освещенный коридор. По изображению прошла легкая рябь, и я увидел расслабленно идущего по коридору человека в расстегнутом френче. Он был небрит и лыс; ржавая щетина на его щеках переходила в неряшливую бородку и усы. Он наклонился к полу, протянул вперед подрагивающие руки, и я заметил жмущегося в угол коридора котенка с большими печальными глазами. Изображение было очень четким, но искаженным, словно я видел отражение на поверхности елочного шара. Вдруг, неожиданно для себя, я каплянул. И тут Ленин — а это, несомненно, был он — вздрогнул, повернулся и уставился в мою сторону. Я понял, что он видит меня — в его глазах на секунду мелькнул испуг, а затем они стали хитрыми и как бы виноватыми; он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал:

— Мисюсь! Где ты?

Чапаев дунул на спичку, и картинка пропала; я успел заметить удирающего по коридору котенка и

вдруг понял, что видел все это вовсе не на пашке, а только что каким-то непонятным образом был там и мог бы, наверно, коснуться котенка рукой.

Зажегся свет. Я изумленно поглядел на Чапаева, который уже вложил пашку в ножны.

— Владимир Ильич перечитывает Чехова, — сказал он.

— Что это было? — спросил я.

Чапаев пожал плечами.

— Ленин, — сказал он.

— Он меня видел?

— Не думаю, что вас, — сказал Чапаев. — Скорее, он ощутил некое присутствие. Но это вряд ли его особенно потрясло. Он привык к подобным вещам. На него много кто смотрит.

— Но как вы... Каким образом... Это был гипноз?

— Не более, чем все остальное, — сказал он и кивнул на стену, подразумевая, видимо, то, что было за ней.

— Кто вы на самом деле? — спросил я.

— Вы задаете мне этот вопрос уже второй раз за сегодняшний день, — сказал он. — Я уже ответил, что моя фамилия Чапаев. Пока это все, что я могу вам сказать. Не торопите события. Кстати, в наших частных беседах вы можете звать меня Василием Ивановичем — „товарищ Чапаев“ звучит слишком торжественно.

Я уже открыл рот, чтобы потребовать объяснений, и вдруг одна мысль остановила меня. Я понял, что дальнейшая настойчивость с моей стороны ни к чему не приведет; больше того, она может повредить. Но самым поразительным было то, что мысль эта не была моей — я чувствовал, что она каким-то неясным способом была передана мне Чапаевым.

Броневи́к замедлил ход. Из переговорной трубки долетел искаженный голос шофера:

— Вокзал, Василий Иванович!

— Отлично, — отозвался Чапаев.

Несколько минут броневик медленно маневрировал и наконец остановился. Чапаев надел папаху, встал с дивана и открыл дверцу. В кабину ворвался холодный воздух, красноватые зимние лучи и глухой шум сотен сливающихся голосов.

— Возьмите саквояж, — сказал Чапаев и легко прыгнул на землю. Слегка щурясь после уютной полутьмы броневика, я вылез следом.

Мы находились в самом центре площади у Ярославского вокзала. Со всех сторон нас окружала волнуемая толпа по-разному одетых вооруженных людей, построенных в неровное подобие каре. Вдоль строя расхаживали какие-то мелкие красные командиры с пашками наголо. При появлении Чапаева слышались крики, общий шум голосов стал делаться громче и через несколько секунд перерос в тяжелое „ура“, облетевшее площадь несколько раз.

Броневик стоял возле украшенной скрещенными флагами дощатой трибуны, похожей на эшафот. На ней переговаривались несколько человек военных; при нашем появлении они зааплодировали. Чапаев быстро взошел по скрипучим ступеням вверх; стараясь не отставать, я поднялся следом. Бегло поздоровавшись с парой военных (один из них был в перетянутой ремнями бобровой шубе), Чапаев подошел к ограждению эшафота и поднял вверх ладонь в желтой краге, призывая людей к молчанию.

— Ребята! — надсаживая голос, крикнул он. — Собрались вы тут сами знаете на што. Неча тут смоливать. Всего навидаетесь, все испытаете. Нешто можно без этого? А? На фронт приедешь — живо сенькину мать куснешь. А што думал — там тебе не в лукошке кататься...

Я обратил внимание на пластику движений Чапаева — он говорил, равномерно поворачиваясь из сто-

роны в сторону и энергично рубя воздух перед своей грудью желтой кожаной ладонью. Смысл его убыстряющейся речи ускользал от меня, но, судя по тому, как рабочие вытягивали шеи, вслушивались и кивали, иногда начиная довольно скалиться, он говорил что-то близкое их рассудку.

Кто-то дернул меня за рукав. Похолодев, я обернулся и увидел короткого молодого человека с жидкими усиками, розовым от мороза лицом и цепкими глазами цвета спитого чая.

— Ф-фу, — сказал он.

— Что? — переспросил я.

— Ф-фурманов, — сказал он и сунул мне широкую короткопалую ладонь.

— Прекрасный день, — ответил я, пожимая его руку.

— Я к-комиссар полка ткачей, — сказал он. — Б-будем работать вместе. Вы с-сейчас будете говорить — п-постарайтесь покороче. Скоро посадка.

— Хорошо, — сказал я.

Он с сомнением посмотрел на кисти моих рук.

— Вы в п-партии?

Я кивнул.

— Д-давно ли?

— Около двух лет, — ответил я.

Фурманов перевел взгляд на Чапаева.

— Орел, — сказал он, — только смотреть за ним надо. Г-говорят, заносит его часто. Но б-бойцы его любят. П-понимают его.

Он кивнул на притихшую площадь, над которой разносились слова Чапаева:

— Только бы дело свое не посрамить — то-то оно, дело-то!.. Как есть одному без другого никак не устоять... А ежели у вас кисель пойдет — какая она будет война?.. Надо, значит, идти — вот и весь сказ, такая моя командирская зарука... А сейчас комиссар говорить будет.

Чапаев отошел от ограждения.

— Давай теперь ты, Петька, — громко велел он. Я подошел к ограждению.

Было тяжело смотреть на этих людей и представлять себе мрачные маршруты их судеб. Они были обмануты с детства, и, в сущности, для них ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому, но топорность, издевательская примитивность этих обманов — и старых, и новых — поистине была бесчеловечна. Чувства и мысли стоящих на площади были так же уродливы, как надетое на них тряпье, и даже умирать они уходили, провожаемые глупой клоунадой случайных людей. Но, подумал я, разве дело со мной обстоит иначе? Если я точно так же не понимаю — или, что еще хуже, думаю, что понимаю — природу управляющих моей жизнью сил, то чем я лучше пьяного пролетария, которого отправляют помирать за слово „интернационал“? Тем, что я читал Гоголя, Гегеля и еще какого-нибудь Герцена? Смешно подумать.

Однако надо было что-то сказать.

— Товарищи рабочие! — крикнул я. — Ваш комиссар товарищ Фурманов попросил меня быть покороче, потому что сейчас уже начнется посадка. Я думаю, что у нас еще будет время для бесед, а сейчас скажу вам только о том, что переполняет огнем все мое сердце. Сегодня, товарищи, я видел Ленина! Ура!

Над площадью разнеслось протяжное гудение. Когда шум стих, я сказал:

— А сейчас, товарищи, с последним напутствием выступит товарищ Фурманов!

Фурманов благодарно кивнул мне и шагнул к ограждению. Чапаев, посмеиваясь и крутя усы, о чем-то говорил с военным в бобровой шубе. Увидев, что я подхожу, он хлопнул военного по плечу, кивнул остальным и пошел вниз с трибуны. Заговорил Фурманов:

— Товарищи! Остались нам здесь минуты. Пробьют последние звонки, и мы отплывем к мраморному, могучему берегу — скале, на которой и завоем свою твердыню...

Говорил он уже не заикаясь, а плавно и певуче.

Мы прошли сквозь расступившуюся шеренгу рабочих (я чуть было не потерял своего сочувствия к ним, увидев их вблизи) и направились к вокзалу. Чапаев шел быстро, и я с трудом успевал за ним. Иногда, отвечая на чье-нибудь приветствие, он коротко вскидывал желтую крагу к папахе. На всякий случай я стал копировать этот жест и вскоре освоил его так хорошо, что даже ощутил себя своим среди всех этих сновавших по вокзалу недосверхчеловеков.

Дойдя до края платформы, мы спрыгнули на мерзлую землю. Дальше начинался лабиринт заснеженных вагонов на маневровых путях. Со всех сторон на нас смотрели усталые люди; проступавшая на их лицах однообразная гримаса отчаяния объединяла их в какую-то новую расу. Я вспомнил одно из стихотворений Соловьева и рассмеялся.

— Что это вы? — спросил Чапаев.

— Так, — сказал я. — Понял, что такое панмонголизм.

— И что же это?

— Это такое учение, — сказал я, — которое было очень популярно в Польше во времена Чингиз-хана.

— Вот как, — сказал Чапаев. — Какие вы интересные знаете слова.

— О, до вас в этой области мне далеко. Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука?

— Как? — наморщился Чапаев.

— Зарука, — повторил я.

— Где это вы услышали?

— Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке.

— А, — улыбнулся Чапаев, — вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое „зарука“, вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади.

Мне показалось, что я понимаю, о чем он говорит. Уже давно я пришел к очень близким выводам, только они касались разговоров об искусстве, всегда угнетавших меня своим однообразием и бесцельностью. Будучи вынужден по роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из литературных кругов, я развил в себе способность участвовать в их беседах, не особо вдумываясь в то, о чем идет речь, но свободно жонглируя нелепыми словами вроде „реализма“, „теургии“ или даже „теософического кокса“. В терминологии Чапаева это означало изучить язык, на котором говорит масса. А сам он, как я понял, даже не утруждал себя знанием слов, которые произносил. Было, правда, неясно, как он этого достигает. Может быть, впадая в подобие транса, он улавливал эманации чужого ожидания и каким-то образом сплетал из них понятный толпе узор.

Остаток дороги мы молчали. Чапаев уводил меня все дальше; два или три раза мы подныривали под пустые мертвые поезда. Было тихо, только издали порой доносились исступленные зовы паровозов. Наконец мы остановились возле поезда, один из вагонов которого был бронированным. Над крышей этого вагона уютно дымила труба, а у двери стоял на часах внушительный большевик с дубленным азиатским лицом — почему-то я сразу окрестил его про себя башкиром.

Пройдя мимо козырнувшего башкира, мы поднялись в вагон и оказались в коротком коридоре. Чапаев кивнул на одну из дверей.

— Это ваше купе, — сказал он и вынул из кармана часы. — С вашего позволения, я на некоторое время вас покину — мне нужно отдать несколько распоряжений. К нам должны прицепить паровоз и вагоны с ткачами.

— Мне не понравился их комиссар, — сказал я, — этот Фурманов. В будущем мы можем не сработаться.

— Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему, — сказал Чапаев. — В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадете в такое будущее, где не будет вас.

Я промолчал, не зная, что ответить на его странные слова.

— Располагайтесь и отдыхайте, — сказал он. — Встретимся за ужином.

Купе поразило меня своим совершенно мирным видом; окно в бронированной стене было плотно занавешено, а на столике стояла ваза с гвоздиками. Я чувствовал себя измотанным; сев на диван, я некоторое время не мог пошевелиться. Потом я вспомнил о том, что уже несколько дней не мылся, и вышел в коридор. Поразительно, но первая же дверь, которую я открыл, вела в туалетную комнату.

Я с наслаждением принял горячий душ (видимо, вода подогревалась угольной печью), вернулся в купе и обнаружил, что кровать застелена, а на столе меня ждет стакан крепкого чая. Напившись чаю, я повалился на диван и почти сразу уснул, одурманенный забытым ароматом туго накрахмаленных простыней.

Когда я проснулся, было уже почти темно. Вагон равномерно подрагивал; под его колесами стучали

стыки рельсов. На столике, где я оставил пустой чайный стакан, теперь лежал непонятно откуда взявшийся сверток. Внутри оказались безупречная черная пара, блестящие лаковые туфли, сорочка, смена белья и несколько галстуков — видимо, на выбор. Я ничему уже не удивлялся. Костюм и туфли пришлось мне впору; после некоторых колебаний я выбрал галстук в мелкий черный горошек, оглядел себя в зеркале на дверце стенного шкафа и остался вполне удовлетворен своим видом — правда, меня несколько портила многодневная щетина. Выдернув из вазы бледно-лиловую гвоздику, я оборвал ее ножку и продел цветок в петлицу. Какой недостижимо-прекрасной показалась мне в этот миг прежняя петербургская жизнь!

Выйдя в коридор, я подошел к двери, которой он кончался, и постучал. Мне никто не ответил. Открыв дверь, я увидел большой салон. В его центре стоял накрытый на троих стол с легким ужином и парой бутылок шампанского; над столом в такт покачиванию поезда подрагивало пламя свечей. В воздухе чуть пахло сигарой. Стены были оклеены светлыми обоями в золотых цветах; напротив стола было большое окно, за которым медленно резали темноту ночные огни.

За моей спиной произошло какое-то движение. Я вздрогнул и обернулся. Сзади стоял тот самый башкир, которого я видел у вагона. Посмотрев на меня без всякого выражения, он завел стоящий в углу граммофон с серебряно поблескивающим рупором и опустил иглу на завертевшийся диск. Раздался луженый бас Шалапина — кажется, он пел что-то из Вагнера. Раздумывая, для кого предназначен третий прибор на столе, я полез за папиросой.

Думать мне пришлось недолго — дверь распахнулась, и я увидел Чапаева. На нем был черный бархатный пиджак, белая сорочка и алая бабочка из такого

же переливающегося муара, что и красные лампасы на его шинели. Следом за Чапаевым в салон вошла девушка.

Она была острижена совсем коротко — это даже трудно было назвать прической. На ее еле сформированную грудь, обтянутую темным бархатом, спускалась нитка крупных жемчужин; ее плечи были широкими и сильными, а бедра чуть узковатыми. У нее были слегка раскосые глаза, но это только добавляло ей очарования.

Несомненно, она могла бы быть эталоном красоты, но эту красоту сложно было назвать женской. Даже моя раскованная фантазия не смогла бы перенести эти глаза, лицо и плечи в горячий мрак алькова. О нет, она не годилась для трипперных бунинских сеновалов! Но ее легко можно было представить, например, на льду катка. В ее красоте было что-то отрезвляющее, что-то простое и чуть печальное; я говорю не о том декоративно-блудливом целомудрии, которое осточертело всем в Петербурге еще до войны — нет, это было настоящее, естественное, осознающее себя совершенство, рядом с которым похоть становится скучна и пошла, как патриотизм городского.

Она поглядела на меня, повернулась к Чапаеву, и жемчуг сверкнул на ее обнаженной шее.

— Это и есть наш новый комиссар? — спросила она.

Голос у нее был чуть глуховатый, но приятный. Чапаев кивнул.

— Знакомьтесь, — сказал он. — Петр. Анна.

Я встал из-за стола, взял ее прохладную ладонь и хотел поднести к губам, но она не позволила мне сделать этого, ответив формальным рукопожатием в манере петербургских *etanciere*. Я чуть задержал ее ладонь в своей.

— Она великолепная пулеметчица, — сказал Чапаев, — так что опасайтесь вызвать у нее раздражение.

— Неужели эти нежные пальцы способны принести кому-то смерть? — спросил я, отпуская ее ладонь.

— Все зависит от того, — сказал Чапаев, — что именно вы называете смертью.

— Разве на этот счет бывают разные взгляды?

— О да, — сказал Чапаев.

Мы сели за стол. Башкир с подозрительной ловкостью открыл шампанское и разлил его по бокалам.

— Я хочу поднять тост, — сказал Чапаев, остановив на мне свои гипнотические глаза, — за то страшное время, в которое нам довелось родиться и жить, и за всех тех, кто даже в эти дни не перестает стремиться к свободе.

Мне показалась странной его логика, потому что страшным наше время сделалось именно из-за стремления, как он метко выразился, „всех тех“ к так называемой свободе — кого? от чего? Но вместо того, чтобы возразить, я отхлебнул шампанского (этому простому рецепту я следовал всегда, когда на столе было шампанское, а разговор шел о политике). Сделав несколько глотков, я вдруг понял, до чего я голоден, и принялся за еду.

Трудно передать, что я чувствовал. Происходящее было настолько неправдоподобным, что эта неправдоподобность уже не ощущалась; так бывает во сне, когда ум, брошенный в водоворот фантастических видений, подобно магниту притягивает какую-нибудь знакомую по дневному миру деталь и отдает ей все внимание, превращая самый запутанный кошмар в подобие ежедневной рутины. Однажды мне снилось, что по какому-то досадному стечению обстоятельств я стал ангелом на шпиле Петропавловского собора и, спасаясь от пронизывающего ветра, пытаюсь застегнуть пиджак, пуговицы которого никак не

желают пролезать в петли, — при этом удивляло меня не то, что я вдруг оказался высоко в ночном петербургском небе, а то, что мне никак не удается эта привычная операция. Нечто похожее я испытывал и сейчас — нереальность происходящего оставалась как бы за скобками моего сознания; сам же вечер был вполне обычным, и если бы не легкое покачивание вагона, вполне можно было бы предположить, что мы сидим в одном из маленьких петербургских кафе, и мимо окна проплывают фонарики лихачей.

Я ел молча и только изредка поглядывал на Анну. Она коротко отвечала Чапаеву, говорившему что-то о тачанках и пулеметах, но я был настолько поглощен ею, что не улавливал нити разговора. Мне было грустно от абсолютной недостижимости ее красоты; я знал, что к ней так же бессмысленно тянуться вожделеющими руками, как пытаться зачерпнуть закат кухонным ведром.

Когда ужин был закончен, башкир убрал со стола тарелки и подал кофе. Чапаев откинулся на спинку стула и закурил сигару. Выражение его лица стало благодушным и немного сонным; поглядев на меня, он улыбнулся.

— Петр, — сказал он, — вы выглядите озабоченным и даже, извините, рассеянным. А комиссар... Он должен увлекать за собой, понимаете? Он должен быть, как бы это сказать... стремительным, безжалостным... Он должен быть абсолютно уверен в себе. Всегда.

— В себе я уверен вполне, — сказал я. — Но не вполне уверен в вас.

— Вот как? Что вас смущает?

— Я могу быть откровенным?

— Разумеется. И я, и Анна очень рассчитываем на это.

— Мне трудно поверить, что вы действительно красный командир.

Чапаев поднял левую бровь.

— В самом деле? — спросил он с искренним, как мне показалось, изумлением. — Но отчего?

— Не знаю, — сказал я. — Все это очень напоминает маскарад.

— Вы не верите, что я сочувствую пролетариату?

— Отчего же, я верю. Я и сам сегодня, на этой трибуне, испытал похожее чувство. И все же...

Я вдруг перестал понимать, что именно я хочу сказать. Над столом повисла тишина — нарушал ее только еле слышный звон ложечки, которой Анна помешивала свой кофе.

— Кто же в таком случае похож на красного командира? — спросил Чапаев, стряхивая сигарный пепел с полы пиджака.

— Фурманов, — сказал я.

— Простите, Петр, но вы уже второй раз за сегодня произносите эту фамилию. Кто такой Фурманов?

— Господин с цепкими глазами, — сказал я, — который выступал перед ткачами после меня.

Анна вдруг хлопнула в ладоши.

— Кстати, — сказала она, — мы совсем забыли про ткачей, Василий Иванович. А уже давно пора нанести им визит.

Чапаев кивнул.

— Да-да, — сказал он, — вы совершенно правы, Анна. Я только что хотел предложить это сам, но Петр меня так озадачил, что все вылетело у меня из головы.

Он повернулся ко мне.

— Непременно вернемся как-нибудь к этой теме. А сейчас не желаете ли составить нам компанию?

— Желаяю.

— Тогда вперед, — сказал Чапаев, поднимаясь из-за стола.

Выйдя из штабного вагона, мы пошли в хвост поезда. Происходящее казалось мне все более стран-

ным. Несколько вагонов, по которым мы прошли, были темными и казались совершенно пустыми. Свет нигде не горел; из-за дверей не долетало ни единого звука. Мне слабо верилось, что за ореховыми панелями, в полированной поверхности которых отражался огонек сигары Чапаева, спит красная солдатня, но я старался не рефлексировать по этому поводу.

Один из вагонов кончался не обычным тамбуром, а торцевой дверью, за окном которой неслась назад черная зимняя ночь. Башкир после короткой возни с замком открыл ее; в коридор ворвался острый грохот колес и рой крохотных колючих снежинок. За дверью оказалось небольшое огражденное пространство под навесом, наподобие задней площадки трамвая, а дальше темнела тяжелая туша следующего вагона — никакого перехода туда не было, так что оставалось неясным, как именно Чапаев собирается нанести визит своим новым бойцам. Вслед за остальными я вышел на площадку. Чапаев облокотился о перила, глубоко затянулся своей сигарой, и ветер сорвал с нее несколько ярко-малиновых искр.

— Они поют, — сказала Анна, — слышите?

Она подняла ладонь, словно чтобы зацптитть волосы от ветра, но сразу же опустила — ее стрижка лишала это движение всякого смысла. Я подумал, что совсем недавно она, должно быть, носила другую прическу.

— Слышите? — повторила она, поворачиваясь ко мне.

Действительно, сквозь грохот вагонных колес пробивалось довольно красивое и стройное пение. Прислушавшись, я разобрал слова:

— Мы кузнецы — и дух наш Молох,
Куюм мы счастья ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!

— Странно, — сказал я, — почему они поют, что они кузнецы, если они ткачи? И почему Молох — их дух?

— Не Молох, а молот, — сказала Анна.

— Молот? — переспросил я. — А, ну разумеется. Кузнецы, потому и молот. То есть потому, что они поют, что они кузнецы, хотя на самом деле они ткачи. Черт знает что.

Несмотря на нелепость текста, в этой несущейся сквозь зимнюю ночь песне было что-то завораживающее и древнее — может быть, дело было не в самой песне, а в этом странном сочетании множества мужских голосов, пронизывающего ветра, заснеженных полей и редких маленьких звезд в небе. Когда поезд изогнулся на повороте, стала видна цепь темных вагонов — видимо, те, кто в них ехал, пели в полной темноте, и это дополняло картину, делая ее еще таинственнее и страннее. Некоторое время мы молча слушали.

— Может быть, это что-то скандинавское, — сказал я. — Знаете, там был какой-то бог, и у него был магический молот, которым он пользовался как оружием. Кажется, в Старшей Эдде. Да-да, и все остальное так подходит! Этот заиндевевший темный вагон перед нами — чем это не молот Тора, брошенный в неведомого врага! Он неотступно несется за нами, и нет силы, способной остановить его полет!

— У вас живое воображение, — сказала Анна. — Неужели вид грязного вагона возбуждает в вас все эти мысли?

— Что вы, конечно нет, — сказал я. — Я просто пытаюсь быть приятным собеседником. На самом деле я думаю о другом.

— О чем же? — спросил Чапаев.

— О том, что человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных, неизвестно от

кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избежать этой судьбы.

— Ну отчего, — сказал Чапаев. — Способ есть.

— И вы его знаете? — спросил я.

— Конечно, — сказал Чапаев.

— Может быть, поделитесь?

— Охотно, — сказал Чапаев и щелкнул пальцами.

Башкир, казалось, только и ждал этого сигнала. Поставив фонарь на пол, он ловко поднырнул под перила, склонился над неразличимыми в темноте сочленениями вагонного стыка и принялся быстро перебирать руками. Что-то негромко лязгнуло, и башкир с таким же проворством вернулся на площадку.

Темная стена вагона напротив нас стала медленно отдаляться.

Я поднял глаза на Чапаева. Он спокойно выдержал мой взгляд.

— Становится холодно, — сказал он, словно ничего не произошло. — Вернемся к столу.

— Я вас догоню, — ответил я.

Оставшись на площадке один, я некоторое время молча смотрел вдаль. Еще можно было разобрать пение ткачей, но с каждой секундой вагоны отставали все дальше и дальше; мне вдруг показалось, что их черед очень походит на хвост, отброшенный убегающей ящерицей. Это была прекрасная картина. О, если бы действительно можно было так же легко, как разошелся Чапаев с этими людьми, расстаться с темной бандой ложных „я“, уже столько лет разоряющих мою душу!

Вскоре мне стало холодно. Вернувшись в вагон и закрыв за собой дверь, я наоцупь пошел назад. Дойдя до штабного вагона, я ощутил такую уста-

лось, что, даже не стряхнув с пиджака снежинок, вошел в свое купе и повалился на кровать.

Из салона, где сидели Чапаев с Анной, доносились их голоса и смех. Бухнуло открываемое шампанское.

— Петр! — крикнул Чапаев. — Не спите! Идите к нам!

После холодного ветра, продувшего меня на площадке, теплый воздух купе был удивительно приятен. Мне даже стало чудиться, что он больше походит на воду, и я наконец беру горячую ванну, о которой мечтал уже столько дней. Когда это ощущение стало абсолютно реальным, я понял, что засыпаю. Об этом можно было догадаться и по тому, что вместо Шаляпина граммофон вдруг заиграл ту же фугу Моцарта, с которой начался день. Я чувствовал, что засыпать мне ни в коем случае не следует, но поделать уже ничего не мог и, оставив борьбу, полетел вниз головой в тот самый пролет пустоты между минорными звуками рояля, который так поразил меня этим утром.

— Эй! не спите!

Кто-то осторожно тряс меня за плечо. Я приподнял голову, открыл глаза и увидел совершенно незнакомое лицо — круглое, полное, окруженное тщательно ухоженной бородкой. На нем была приветливая улыбка, но, несмотря на это, оно не вызывало желаниа улыбнуться в ответ. Я сразу же понял, отчего. Дело было в сочетании этой ухоженной бородки с гладко выбритым черепом. Склонившийся надо мной господин напоминал одного из тех торгующих чем попало спекулянтов, которые в изобилии появились в Петербурге сразу же после начала войны. Как правило, это были выходцы из Малороссии, которых отличали две основных черты — чудовищное количество жизненной силы и интерес к последним оккультным веяниям в столице.

— Владимир Володин, — представился человек с бородкой. — Можно просто Володин. Поскольку вы решили в очередной раз потерять память, впору знакомиться заново.

— Петр, — сказал я.

— Вы лучше не делайте никаких резких движений, Петр, — сказал Володин. — Вам, пока вы еще спали, вкололи четыре кубика таурепама, так что утро у вас будет хмурое. Если вещи или люди вокруг будут вызывать у вас депрессию и отвращение, не удивляйтесь.

— О, — сказал я, — милый мой, я уже давным-давно этому не удивляюсь.

— Нет, — сказал он, — я имею в виду вот что. Вам может показаться, что ситуация, в которой вы находитесь, невыносимо омерзительна. Невыразимо, нечеловечески чудовищна и нелепа. Совершенно несовместима с жизнью.

— И что?

— Не обращайтесь внимания. Это все от укола.

— Попробую.

— Вот и отлично.

Я вдруг заметил, что этот Володин совершенно гол. Больше того, он был мокр и сидел на корточках на белом кафельном полу, куда с него обильно капала вода. Но самым невыносимым во всем этом зрелище была какая-то расслабленная свобода его позы, трудноуловимая обезьянья непринужденность, с которой он упирал в кафель длинную жилистую руку. Причем эта непринужденность как бы давала понять: мир вокруг таков, что для крупных волосатых мужчин естественно и нормально сидеть на полу в таком виде, а если кто-то думает иначе, то ему в жизни придется нелегко.

Видимо, слова насчет укола были правдой. С моим восприятием действительно творилось что-то странное. Несколько секунд Володин существовал в нем сам по себе, без всякого фона, словно фотография в виде на жительство. Уже рассмотрев его лицо и фигуру во всех подробностях, я вдруг задумался над тем, где все это происходит. И только после того, как я подумал о месте, где мы находимся, это место возникло — такое, во всяком случае, у меня осталось чувство.

Вокруг нас была большая комната, вся выложенная белым кафелем, на полу которой стояло пять чугунных ванн. Я лежал в крайней; вода в ней, как я

вдруг с отвращением понял, была довольно холодной. Одарив меня последней ободряющей улыбкой, Володин повернулся на месте и с отвратительной ловкостью прямо с корточек запрыгнул в соседнюю ванну, почти не подняв при этом брызг.

Кроме Володина, в других ваннах лежали еще двое — длинноволосый голубоглазый блондин с редкой бородкой, похожий на древнеславянского витязя, и темноволосый молодой человек с несколько женственным бледным лицом и чрезмерно развитой мускулатурой. Они выжидающе глядели на меня.

— Похоже, вы действительно нас не помните, — сказал бородатый блондин через несколько секунд тишины, — Семен Сердюк.

— Петр, — ответил я.

— Мария, — сказал молодой человек из крайней ванны.

— Простите?

— Мария, Мария, — повторил он с явным неудовольствием. — Такое имя. Знаете, был такой писатель — Эрих Мария Ремарк? Меня в честь него называли.

— Не доводилось, — ответил я. — Это, наверно, из новых.

— А еще был такой Райнер Мария Рильке. Тоже не слышали?

— Отчего, про этого слышал. Даже знаком-с.

— Ну вот, он был Райнер Мария, а я — просто Мария.

— Позвольте, — сказал я, — кажется, я узнаю ваш голос. Это не вы случайно рассказывали эту странную историю про самолет, про алхимический брак России с Западом и так далее?

— Я, — ответил Мария, — а что вы в ней находите странного?

— Да в целом ничего, — сказал я, — но я отчего-то решил, что вы женщина.

— В некотором роде так и есть, — ответил Мария. — Как говорит наш хозяин, моя ложная личность, безусловно, женщина. А вы случайно не гетеросексуальный шовинист?

— Ну что вы, — сказал я. — Меня просто удивляет, как легко вы соглашаетесь с тем, что эта личность ложная. Вы на самом деле в это верите?

— Я вообще ни во что не верю, — сказал Мария. — У меня все это от сотрясения мозга. А здесь меня держат из-за диссертации, которую хозяин пишет.

— Да что за хозяин такой? — с недоумением спросил я, услышав это слово во второй раз.

— Тимур Тимурович, — ответил Мария. — Заведующий отделением. Он как раз ложными личностями занимается.

— Не совсем так, — вмешался Володин. — Тема, которую он разрабатывает, называется „раздвоение ложной личности“. Причем если Мария — случай достаточно простой и незамысловатый, и вообще, говорить о раздвоении ложной личности в его случае можно только с некоторой натяжкой, то вы, Петр, для него самый ценный экспонат. Потому что у вас ложная личность развита в таких деталях, что почти полностью вытесняет и перевешивает настоящую. А уж как она раздвоена, просто залюбуешься.

— Ничего подобного, — возразил молчавший до этого Сердюк. — У Петра случай не очень сложный. А в структурном плане вообще от Марии почти не отличается. И тут и там отождествление, только у Марии с именем, а у Петра с фамилией. Но у Петра более сильное вытеснение. Он своей фамилии даже не помнит. Называет себя то каким-то Фанерным, то еще кем-то.

— А как моя фамилия? — с беспокойством спросил я.

— Ваша фамилия — Пустота, — ответил Володин. — И ваше помешательство связано именно с тем, что вы отрицаете существование своей личности, заменив ее совершенно другой, выдуманной от начала до конца.

— Хотя структурно, повторяю, случай несложный, — добавил Сердюк.

Я почувствовал раздражение — то, что какой-то непонятный псих позволяет себе находить мой случай несложным, показалось мне обидным.

— Вы, господа, рассуждаете как врачи, — сказал я. — В этом есть некоторая несообразность, не находите?

— Какая же несообразность?

— Все было бы замечательно, — сказал я, — стой вы здесь в белых халатах. Но отчего вы сами тут лежите, если все так ясно осознаете?

Володин несколько секунд молча смотрел на меня.

— Я жертва несчастного случая, — сказал он.

Сердюк и Мария громко засмеялись.

— Что до меня, — сказал Сердюк, — у меня вообще никаких ложных личностей нет. Обычный суицид на фоне алкоголизма. А держат меня здесь потому, что на вас троих диссертации не построишь. Просто для статистики.

— Ничего-ничего, — сказал Мария. — Тебе на гарроту следующему. Послушаем, что у тебя за алкогольный суицид.

К этому моменту я основательно замерз — причем не мог ответить себе на вопрос, то ли причина в укуле, который, по словам Володина, должен был сделать все происходящее со мной невыносимым, то ли вода действительно была настолько холодна.

Слава Богу, растворилась дверь, и вошли два человека в белых халатах. Я вспомнил, что фамилия одного из них Жербунов, а другого — Барболин. Жербунов нес в руке большие песочные часы, а Барболин — целый ворох белья.

— Вылазим, — весело сказал Жербунов и помахал перед собой песочными часами.

По очереди вытерев всех нас огромной махровой простыней, они помогли нам надеть одинаковые пижамы в горизонтальную полоску, которые сразу придали происходящему какой-то военно-морской привкус. Затем нас вывели за дверь и повели по длинному коридору. Коридор этот тоже показался мне знакомым — точнее, не сам он, а стоявший в нем неопределенно-медицинский запах.

— Скажите, — тихо обратился я по дороге к идущему вслед за мной Жербунову, — почему я здесь?

Тот удивленно округлил глаза.

— А то сам не знаешь, — сказал он.

— Нет, — сказал я, — я уже готов допустить, что я болен, но что послужило поводом? Давно ли я тут? И какие конкретные поступки вменяются мне в вину?

— Все вопросы к Тимуру Тимурычу, — сказал Жербунов. — Нам болтать некогда.

Я ощутил крайнюю подавленность. Мы остановились у белой двери с цифрой „7“. Барболин отпер ее ключом, и нас впустили внутрь. За дверью оказалась довольно большая комната с четырьмя кроватями, стоящими вдоль стены. Кровати были застелены, у зарешеченного окна помещался стол, а у стены — что-то среднее между кушеткой и низким креслом с эластичными петлями для рук и ног. Несмотря на эти петли, в снаряде не было ничего угрожающего. Вид у него был подчеркнута медицинский, и мне даже пришло в голову нелепое словосочетание „урологическое кресло“.

— Простите, — обратился я к Володину, — это что, и есть гаррота, о которой вы говорили?

Володин коротко глянул на меня и кивнул на дверь. Я повернул голову. У двери стоял Тимур Тимурович.

— Гаррота? — переспросил он и поднял брови. — Гаррота, если не ошибаюсь, это кресло, на котором в средневековой Испании казнили удушением, да? Какое мрачное, угнетенное восприятие окружающей реальности! Впрочем, вам, Петр, сегодня делали утреннюю инъекцию, так что удивляться нечему, но вы, Владимир? Я удивлен, удивлен.

Тараторя все это, Тимур Тимурович жестом велел Жербунову с Барболиным удалиться, а сам прошел на середину комнаты.

— Это никакая не гаррота, — сказал он. — Это обычная кушетка для наших сеансов групповой терапии. Вы, Петр, при одном таком сеансе уже присутствовали, сразу после вашего возвращения из изолятора к нам, но состояние у вас было настолько сложное, что вряд ли вы хоть что-то помните.

— Отчего же, — сказал я, — помню кое-что.

— Тем лучше. В двух словах я напомню вам, что здесь происходит. Метод, который я разработал и применяю, условно можно назвать турбоюнгианством. С воззрениями Юнга вы, разумеется, знакомы...

— Простите, кого?

— Карла Густава Юнга. Хорошо, я вижу, что ваша психическая активность подвергается сильной цензуре со стороны ложной личности. А поскольку ваша ложная личность живет году в восемнадцатом или девятнадцатом, не приходится удивляться, что вы про него как бы не помните. Хотя, может быть, вы и на самом деле про Юнга не слышали?

Я с достоинством пожал плечами.

— Упрощенно говоря, был такой психиатр по имени Юнг. Его терапевтические методы основывались на очень простом принципе. Он добивался того, что на поверхность сознания пациента свободно поднимались символы, по которым и можно было ставить диагноз. Я имею в виду, расшифровав их.

Тут Тимур Тимурович хитро улыбнулся.

— А вот у меня метод немного другой, — сказал он, — хотя основа та же. Понимаете, по Юнгу вас надо было бы везти куда-нибудь в Швейцарию, в горный санаторий, сажать там в шезлонг, вступать в долгие беседы и ждать кто его знает сколько времени, пока эти символы начнут подниматься. Мы такого не можем. Мы вас вместо шезлонга сажаем вот сюда, — Тимур Тимурович указал на кушетку, — потом делаем укольчик, а потом уже смотрим на символы, которые начинают поступать в б-а-альшом количестве. А там уже наше дело — расшифровывать и лечить. Понятно?

— Более-менее, — сказал я. — И как же вы их расшифровываете?

— А вы сами увидите, Петр, сами. Сеансы у нас проводятся по пятницам, так что через три... нет, через четыре недели — ваша очередь. Кстати, хочу вам сказать, что жду этого с нетерпением — с вами очень интересно работать, очень. Хотя это, конечно, относится ко всем вам, мои друзья.

Тимур Тимурович улыбнулся, обдав всю комнату горячей волной любви, затем поклонился и пожал своей правой рукой левую.

— А теперь пора на занятия, — сказал он.

— На какие занятия? — спросил я.

— Так ведь, — он посмотрел на часы, — половина второго уже. Лечебно-эстетический практикум.

Если не считать разбудивших меня водно-психологических процедур, ничего тягостнее этого лечеб-

но-эстетического практикума испытывать мне не доводилось — хотя, возможно, причина была в уколе. Практикум проходил в комнате, смежной с нашей палатой. Комната эта была большой и полутемной; длинный стол в ее углу был завален кусками разноцветного пластилина, уродливыми глиняными лошадками вроде тех, что лепят художественно одаренные дети, бумажными моделями кораблей, поломанными куклами и мячами. В центре стола помещался большой гипсовый бюст Аристотеля, а напротив, на четырех затянутых коричневой клеенкой стульях, с планшетами на коленях сидели мы. Эстетическая терапия заключалась в том, что мы рисовали этот бюст привязанными к планшетам карандашами, которые к тому же были закатаны в мягкую черную резину.

Володин и Сердюк остались в своих полосатых пижамах, а Мария снял куртку и надел вместо нее маечку с длинным, почти до пупа, вырезом. Все они, видимо, уже привыкли к этой процедуре и терпеливо водили своими карандашами по картону. На всякий случай я сделал небрежный быстрый набросок, а потом отложил планшет и стал глядеть по сторонам.

Укол, несомненно, продолжал действовать — со мной происходило то же, что и в ванной. Я не способен был воспринимать реальность в ее полноте. Элементы окружающего мира появлялись в тот момент, когда на них падал мой взгляд, и у меня росло головокружительное чувство, что именно мой взгляд и создает их.

Я вдруг заметил, что стены комнаты увешаны рисунками на небольших листках бумаги. Среди них попадались прелюбопытные.

Часть из них явно принадлежала Марии. Это были самые неумелые, почти детские каракули, где в разных вариантах повторялась тема аэроплана,

украшенного мощным фаллическим выступом. Иногда этот аэроплан оказывался стоящим на хвосте, и изображение приобретало христианские обертона, довольно, впрочем, кощунственные. В целом рисунки Марии были малоинтересны.

Зато другой цикл показался мне любопытным до чрезвычайности, и не только потому, что его автор обладал несомненным художественным дарованием. Это были рисунки, объединенные японской темой. Она была представлена как-то странно, неровно — большинство рисунков, семь или восемь, словно пытались воспроизвести где-то виденное изображение: самурая с двумя мечами и непристойно оголенной нижней частью тела, стоящего на краю обрыва с камнем на шее. Еще два или три рисунка изображали отдых всадников на фоне далеких гор — горы были нарисованы с удивительным мастерством в традиционном японском духе. Лошади на этих изображениях были привязаны к деревьям, а спешившиеся всадники в широких разноцветных одеяниях, сидя неподалеку на траве, пили из каких-то плошек. Самое сильное впечатление на меня произвел рисунок на эротическую тему — отрешенный мужчина в крохотной синей шапочке и отдающаяся ему женщина с широкоскулым славянским лицом. В этом лице было что-то жуткое.

— Простите, господа, — не выдержал я, — а кому принадлежат эти работы на японскую тему?

— Семен, — спросил Володин, — кому твои рисунки принадлежат? Наверно, больнице?

— Это ваши, господин Сердюк?

— Мои, — ответил Сердюк и посмотрел на меня исподлобья своими ярко-голубыми глазами.

— Восхитительно, — сказал я. — Только, пожалуйста, немного мрачно.

Он ничего не ответил.

Третья серия рисунков — принадлежащая, как я догадался, Володину, — была очень неконкретной и импрессионистической по исполнению. Здесь тоже была сквозная тема — какие-то три размытых темных силуэта вокруг вспышки огня и падающий на них сверху столб света. По композиции это напоминало известную картину с тремя охотниками у костра, только через миг после разрыва в этом костре фугасного снаряда.

Я посмотрел на другую стену и вздрогнул.

Это был, наверно, самый острый приступ *deja vu* в моей жизни. С первого взгляда на двухметровый картон, покрытый крохотными разноцветными фигурами, я почувствовал свою глубокую связь с этим странным объектом. Встав со стула, я подошел к нему.

Мой взгляд упал на верхнюю часть картона, где помещалось нечто напоминающее план сражения, как их обычно рисуют в учебниках истории. В центре плана помещался заштрихованный синий овал, на котором было крупно написано „ШИЗОФРЕНИЯ“. К нему сверху шли три широких красных стрелки — одна прямо упиралась в овал, а две другие, изгибаясь, впивались в его бока. На стрелках было написано „инсулин“, „аминазин“ и „сульфазин“, а от овала вниз уходила прерывистая синяя стрелка, под которой было написано „болезнь отступает“. Изучив этот план, я перевел взгляд на рисунок снизу.

Множеством действующих лиц, обилием деталей и запутанностью изображения он напоминал иллюстрацию к роману Толстого „Война и Мир“ — я имею в виду такую иллюстрацию, на которой поместились бы все герои романа и все его действие. И одновременно рисунок был очень детским по своей природе, потому что на нем, так же точно, как на рисунках детей, запросто нарушались все законы перспективы и смысла. Правую часть картона занимало изобра-

жение большого города. Увидев ярко-желтый купол Исакия, я понял, что это Петербург. Его улицы, местами нарисованные подробно, а местами просто обозначенные линиями, как на плане, были заполнены стрелками и пунктирами, явно изображавшими траекторию чьей-то жизни. От Петербурга пунктирный след вел в такую же примерно Москву, находящуюся совсем рядом. В Москве были крупно выделены только два места — Тверской бульвар и Ярославский вокзал. От вокзала вела тоненькая двойная паутинка железной дороги, которая, приближаясь к центру картонного листа, расширялась, увеличивалась и становилась объемной, превращаясь в рисунок, выполненный более-менее по законам перспективы. Рельсы уходили к заросшему ярко-желтой пшеницей горизонту, а на этих рельсах, в облаках дыма и пара, стоял поезд.

Поезд был нарисован подробно. Паровоз был разворочен несколькими прямыми попаданиями снарядов; из дыр в его бочкообразном теле валялись тяжелые клубы пара, а из кабины свешивался мертвый машинист. За паровозом виднелась платформа со стоящим на ней броневиком (надо ли говорить, как забило в моей груди сердце), пулеметная башня которого была повернута к желтым волнам пшеницы. Люк башни был открыт, и над ним виднелась коротко стриженная голова Анны. Ребристый хобот пулемета изрыгал огонь в сторону поля, куда указывала палашка Чапаева, стоящего на платформе рядом с броневиком. Чапаев был одет в высокую папаху и какой-то мохнатый черный плащ, застегнутый на шее и падающий до пят; его поза, пожалуй, была слишком театральной.

Поезд на рисунке только нескольких метров не дошел до железнодорожной станции, большая часть которой осталась за краем листа; видно было только

ограждение платформы и табличка со словами „Станция Лозовая“.

Я попытался найти на рисунке врагов, в которых строчила из своей башенки Анна — но увидел только множество приблизительно набросанных силуэтов, почти по плечи скрытых высокой пшеницей. Оставалось такое впечатление, что автор этого изображения не очень представлял себе, с кем и почему ведутся боевые действия. Что же касалось самого этого автора, то на его счет у меня, к сожалению, оставалось мало сомнений.

Крупными печатными буквами под рисунком было написано:

БОИ НА СТАНЦИИ ЛОЗОВАЯ

Рядом другой рукой было добавлено:

ЧАПАЕВ В БУРКЕ, А ПЕТЬКА В ДУРКЕ

Я стремительно повернулся к остальным.

— Послушайте, господа, вам не кажется, что это несколько выходит за рамки того, что принято между порядочными людьми, а? Что, если я начну делать то же самое? А? Что будет?

Володин и Сердюк отвели глаза. Мария сделал вид, что не слышит. Некоторое время я смотрел на них, пытаюсь понять, кто сделал эту гадость, но ни один так и не выдал себя. Впрочем, если честно, это не особо меня волновало, и в большой степени мое раздражение было напускным. Куда больше меня занимал рисунок, при первом взгляде на который я испытал ощущение какой-то незавершенности. Повернувшись к картону, я некоторое время пытался понять, что именно меня тревожит. Кажется, это был участок между схемой сражения и поездом, где по идее было небо — большой кусок картона не был ни-

чем заполнен, и из-за этого рождалось ощущение какой-то засасывающей пустоты. Подойдя к столу, я нашарил среди валяющегося на нем хлама огрызок сангины и почти целый угольный стержень.

Следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы заполнить небо над пшеничным полем черными кляксами шпательных разрывов. Рисовал я их одинаково — густо-черное, закрашенное углем облачко и разлетающиеся в разные стороны стрелы осколков, оставляющих за собой длинный сангиновый след.

Результат оказался очень похож на известное полотно Ван Гога, названия которого я не помнил, где над пшеничным полем чернело множество ворон, похожих на грубые и жирные буквы „v“. Я подумал о том, насколько безысходна судьба художника в этом мире. Эта мысль, доставившая мне сперва какое-то горькое наслаждение, вдруг показалась невыносимо фальшивой. Дело было не только в ее банальности, но и в какой-то ее корпоративной подлости: все люди искусства так или иначе повторяли ее, выделяя себя в какую-то особую экзистенциальную касту, а почему? Разве судьбы пулеметчицы или, например, санитары имели другой исход? Или в них было меньше мучительного абсурда? Да и разве связана неизмеримая трагедия существования с тем, чем именно человеку приходится заниматься в жизни?

Я повернулся к своим соседям. Сердюк и Мария были поглощены бюстом Аристотеля (Мария от напряжения даже высунул изо рта кончик языка), а Володин внимательно смотрел на то, как меняется рисунок на моем картоне. Поймав на себе мой взгляд, он вопросительно улыбнулся.

— Володин, — заговорил я, — позвольте задать вам один вопрос?

— Сделайте одолжение.

— Кто вы по профессии?

— Я предприниматель, — сказал Володин. — Как сейчас говорят, новый русский. Во всяком случае, был. А отчего вы спрашиваете?

— Я знаете о чем подумал... Вот говорят — трагедия художника, трагедия художника. А почему именно художника? Как-то нечестно. Понимаете в чем дело, художники все-таки заметные фигуры, и поэтому происходящие с ними беды делаются известными и попадают на всеобщее обозрение. А разве вспомнят о каком-нибудь... Нет, о предпринимателе могут... Ну скажем, о машинисте поезда? Как бы трагична ни была его жизнь?

— Вы, Петр, вообще не с того бока заходите, — сказал Володин.

— Как это?

— Вы понятия путаете. Трагедия происходит не с художником и не с машинистом поезда, а в уме художника или машиниста поезда.

— Простите?

— Прощаю, прощаю, — промурлыкал Володин и склонился над своим планшетом.

Несколько секунд слова Володина не доходили до меня, а потом я понял, что он хотел сказать. Но из-за умственной вялости, вызванной уколом, они не вызвали во мне никакого отклика.

Вернувшись к своему картону, я изобразил над полем несколько столбов густого черного дыма, на которые у меня ушел весь уголь. Вместе с пятнами шрапнельных взрывов в небе они придали картине какую-то грозную безнадежность. Мне стало не по себе, и я принялся старательно покрывать горизонт маленькими фигурками всадников, несущихся сквозь пшеницу наперерез атакующим.

— В вас пропадает баталист, — заметил Володин, который время от времени отрывался от своего планшета, чтобы бросить взгляд на мой картон.

— Кто бы говорил, — ответил я. — Это ведь вы постоянно рисуете взрыв в костре?

— Взрыв в костре?

Я показал на стену, где висели рисунки.

— Если вы находите, что это похоже на взрыв в костре, то сказать мне нечего, — ответил Володин. — Просто нечего.

Мне показалось, что он обиделся.

— А что же это?

— Это снисхождение небесного света, — ответил он. — Разве не видно, что он приходит именно сверху? Там же специально подрисовано.

В моей голове пронеслось несколько последовательных умозаключений.

— Как я понимаю, с этим небесным светом вы тут и лежите?

— Правильно понимаете, — сказал Володин.

— Неудивительно, — вежливо сказал я. — Я сразу почувствовал, что вы человек необычный. А что именно вам инкриминируют? То, что вы этот свет видели? Или то, что пытались рассказать о нем другим?

— То, что я им являюсь, — сказал Володин. — Как обычно в таких случаях.

— Ну, это вы, я полагаю, шутите, — сказал я. — А если серьезно?

Володин пожал плечами.

— Было у меня два ассистента, — сказал он, — вашего примерно возраста. Такие, знаете, ассенизаторы реальности. Сейчас без этого в бизнесе нельзя. Кстати, они тут и нарисованы — видите, вот эти две тени? Да. И, короче, взял я себе за правило с ними о высоких материях говорить. И вот один раз так получилось, что поехали мы в лес, и показал я им... Не знаю даже, как объяснить... Все как есть. Да и не показывал даже — сами все увидели. Короче, тут

этот момент и нарисован. И так это на них подействовало, что через неделю доносить побежали. Причем какие идиоты — на каждом по десять жмуриков, а все равно решили, что по сравнению с тем, о чем они доложат, это ерунда. Подлые у нынешнего человека инстинкты, скажу я вам.

— Вы правы, — ответил я, вдруг задумавшись о своем.

На обед Барболин привел нас в маленькую столовую, чем-то похожую на комнату с ваннами — только вместо них там были одинаковые пластиковые столы и окошко раздачи. Накрыт был только один из столов. За едой мы почти не говорили. Когда я доел суп и принялся за кашу, я вдруг заметил, что Володин, отодвинув свою тарелку, пристально на меня смотрит. Сначала я пытался не обращать на это внимания, а потом не выдержал, поднял взгляд и вызывающе уставился ему в глаза. Он миролюбиво улыбнулся — в том смысле, что его взгляд не означал ничего дурного — и сказал:

— Знаете, Петр, у меня такое чувство, что мы с вами виделись при очень важных для меня обстоятельствах.

Я пожал плечами.

— У вас случайно нет такого знакомого с красным лицом, тремя глазами и ожерельем из черепов? — спросил он. — Который между костров танцует? А? Еще высокий такой? И кривыми саблями машет?

— Может быть, и есть, — сказал я вежливо, — но не могу понять, о ком именно вы говорите. Знаете, очень общие черты. Кто угодно может оказаться.

— Понятно, — сказал Володин и склонился над своей тарелкой.

Я протянул руку к чайнику, чтобы налить чаю в стакан, но Мария покачал головой.

— Не советую, — сказал он тихо. — Бром. Пропадет естественная сексуальность.

Впрочем, Володин с Сердюком пили этот чай как ни в чем не бывало.

После обеда мы вернулись в палату, и Барболин сразу куда-то ушел. Трое моих соседей, видимо, привыкшие к здешнему режиму, уснули почти сразу после того, как легли в свои кровати. Я растянулся на спине и долгое время глядел в потолок, наслаждаясь редким для себя состоянием полного безмыслия — оно, возможно, было последним следствием утреннего укула.

Собственно, не вполне верно было называть его безмыслием хотя бы по той простой причине, что мое сознание, полностью освободясь от мыслей, продолжало реагировать на внешние раздражители, никак не рефлексировав по их поводу. А когда я замечал полное отсутствие мыслей в своей голове, это само по себе уже было мыслью о том, что мыслей нет. Выходило, что подлинное отсутствие мыслей невозможно, потому что никак не может быть зафиксировано. Или можно было сказать, что оно равнозначно небытию.

Это было чудесное состояние, в высшей степени непохожее на рутинное внутреннее тиканье обыденного ума. Кстати, меня всегда поражала одна черта, свойственная людям, не отдающим себе отчета в собственных психических процессах. Такой человек может долгое время находиться в изоляции от внешних раздражителей, не испытывать никаких реальных потребностей — и в нем, без всякой видимой причины, вдруг возникает самопроизвольный психический процесс, который заставляет его предпринимать непредсказуемые действия в окружающем мире. Дико, должно быть, это выглядит для внешнего наблюдателя: лежит себе такой человек на спине, лежит час, другой, третий, и вдруг вскакивает, сует

ноги в шлепанцы и отбывает в неизвестном направлении только потому, что его мысль по неясной причине (а может, и вообще без причин) устремилась по некоему произвольному маршруту. А ведь таких людей большинство, и именно эти лунатики определяют судьбу нашего мира.

Вселенная, простиравшаяся во все стороны вокруг моей койки, была полна разнообразнейших шумов. Некоторые из них я узнавал — стук молотка этажом выше, доносящиеся издали удары ставни под ветром, крики ворон, — но все же происхождение большинства звуков было неясным. Поразительно, сколько нового сразу же открывается человеку, стоит только на секунду опустошить заполненное окаменелым хламом сознание! Неясно даже, откуда приходит большая часть звуков, которые мы слышим. Что же тогда говорить обо всем остальном, какой смысл пытаться найти объяснения нашей судьбе и нашим поступкам, основываясь на том немногом, что, как нам кажется, мы знаем! С таким же успехом можно пытаться объяснить внутреннюю жизнь чужой личности бредовыми социальными выкладками, как это делал Тимур Тимурович, подумал я и вдруг вспомнил о толстом томе своего дела, который лежал у него на столе. Потом я подумал о том, что Барболин, уходя, забыл запереть дверь. И сразу же, за какую-то долю секунды, в моей голове возник сумасшедший план.

Я огляделся по сторонам. С начала тихого часа прошло не меньше двадцати минут, и трое моих соседей спали. Все здание тоже, казалось, заснуло — за все это время мимо двери в нашу палату не прошел ни один человек. Аккуратно сбросив с себя одеяло, я сунул ноги в шлепанцы, встал и крадучись добрался до двери в коридор.

— Куда? — долетел шепот со спины.

Я обернулся. Из угла на меня внимательно смотрел глаз Марии — он был виден сквозь узкую амбразуру в одеяле, которым тот накрылся с головой.

— В туалет, — таким же шепотом сказал я.

— Не гусарь, — прошептал Мария, — вон горшок. Поймают — сутки изолятора.

— Лучше стоя, чем на коленях, — прошептал я в ответ и выскользнул в коридор.

Он был пуст.

Я смутно помнил, что кабинет Тимура Тимуровича располагается возле какого-то высокого полукруглого окна, сразу за которым видна крона огромного дерева. Коридор, в котором я стоял, далеко впереди поворачивал вправо, и на линолеуме в этом месте лежали яркие блики дневного света. Пригибаясь, я добрался до поворота и увидел окно. Дверь в кабинет я тоже сразу узнал по роскошной золоченой ручке.

Несколько секунд я стоял, приложив ухо к скважине под этой ручкой. Из кабинета не доносилось ни звука. Наконец я решился и чуть приоткрыл дверь. Кабинет был пуст. На столе лежало несколько папок, но моей, которая была самой толстой (я хорошо запомнил ее внешний вид) на прежнем месте не было.

В отчаянии я огляделся по сторонам. Расчлененный господин с плаката посмотрел на меня с бесчеловечным оптимизмом; мне стало нехорошо и страшно. Отчего-то я подумал, что в кабинет вот-вот войдут санитары. Я уже готов был повернуться и убежать в коридор, как вдруг заметил, что какая-то раскрытая папка лежит под разложенными на столе бумагами.

„Назначен курс инъекций таурепамы перед водными процедурами. Цель — купирование речедвигательных функций с одновременной активизацией психомоторного комплекса...“

Еще было несколько латинских слов. Сдвинув эти бумаги в сторону, я перевернул картонный лист и прочел на нем:

„Дело: Петр Пустота.“

Я сел в кресло Тимура Тимуровича.

Самая первая запись — отдельная тетрадка, вложенная в папку, — была настолько давней, что фиолетовые чернила, которыми она была сделана, выцвели и приобрели какой-то исторический цвет, как это бывает в документах, где речь о людях, ни одного из которых уже давно нет в живых. Я углубился в чтение.

„В раннем детстве жалоб на психические отклонения не поступало. Был жизнерадостным, ласковым, общительным мальчиком. Учился хорошо, увлекался сочинением стихов, не представляющих особ. эстетич. ценности. Первые патолог. отклонен. зафиксированы в возрасте около 14 лет. Отмечается замкнутость и раздражительность, не связанная с внешними причинами. По выражению родителей, „отошел от семьи“, находится в состоянии эмоц. отчуждения. Перестал встречаться с товарищами — что объясняет тем, что они дразнят его фамилией „Пустота“. То же, по его словам, проделывала и учительница географии, неоднократно называвшая его пустым человеком. Существенно снизилась успеваемость. Наряду с этим начал усиленно читать философскую литературу — сочинения Юма, Беркли, Хайдеггера — все, где тем или иным образом рассматриваются философские аспекты пустоты и небытия. В результате начал „метафизически“ оценивать самые простые события, заявлял, что выше сверстников в „отваге жизненного подвига“. Стал часто пропускать уроки,

после чего близкие вынуждены были обратиться к врачу.

На контакт с психиатром идет легко. Доверчив. О своем внутреннем мире заявляет следующее. У него имеется „особая концепция мироощущения“. Больной „сочно и долго“ размышляет о всех окружающих объектах. Описывая свою психическую деятельность, заявляет, что его мысль „как бы вгрызаясь, углубляется в сущность того или иного явления“. Благодаря такой особенности своего мышления в состоянии „анализировать каждый задаваемый вопрос, каждое слово, каждую букву, раскладывая их по косточкам“, причем в голове у него существует „торжественный хор многих „я“, ведущих спор между собой. Стал чрезвычайно нерешителен, что обосновывает, во-первых, опытом „китайцев древности“, а во-вторых, тем, что „трудно разобратсья в вихре гамм и красок внутренней противоречивой жизни“. С другой стороны, по собственным словам, обладает „особым взлетом свободной мысли“, которая „возвышает его над всеми остальными мирянами“. В связи с этим жалуется на одиночество и непонятость окружающими. По словам больного, никто не в силах мыслить с ним „в резонанс“.

Полагает, что способен видеть и чувствовать недоступное „мирянам“. Например, в складках шторы или скатерти, в рисунке обоев и т. д. различает линии, узоры и формы, дающие „красоту жизни“. Это, по его словам, является его „золотой удачей“, то есть тем, для чего он ежедневно повторяет „подневольный подвиг существования“.

Считает себя единственным наследником великих философов прошлого. Подолгу репетирует „речи перед народом“. Помещением в психиатри-

ческую больницу не тяготится, так как уверен, что его „саморазвитие“ будет идти „правильным путем“ независимо от места обитания.“

Кто-то подчеркнул несколько фиолетовых словосочетаний жирным синим карандашом. Я перевернул страницу. Дальнейший текст был озаглавлен „Органолептические показания“. В нем был явный переизбыток латинских слов. Я стал торопливо листать страницы. Тетрадь, исписанная фиолетовым, даже не была подшита в папку — скорее всего, она перекочевала в нее из какого-то другого дела. Перед следующим, самым толстым в папке блоком, была вставлена страница, на которой я прочел:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД

(условное обозначение по самой устойчивой характеристике бреда. Повторная госпитализация.)

Но я не успел прочесть ни слова из второй части. За дверью послышался голос Тимура Тимуровича, что-то раздраженно объяснявшего неизвестному собеседнику. Быстро приведя бумаги на столе примерно в то же положение, в котором они лежали до моего прихода, я кинулся к окну — отчего-то мне пришлось в голову спрятаться за шторой. Но она висела почти вплотную к стеклу.

Голос Тимура Тимуровича бубнил совсем недалеко от двери — кажется, он делал выволочку кому-то из санитаров. Подкравшись к двери, я поглядел в замочную скважину. Видно никого не было — похоже, хозяин кабинета и его собеседник стояли в нескольких метрах за углом.

Дальнейшие мои действия были в значительной степени инстинктивными. Я быстро вышел из каби-

нета, на цыпочках перебежал к двери напротив и нырнул в какой-то пыльный темный чулан, оказавшийся за нею. Я сделал это как раз вовремя. Разговор за углом стих, и через секунду Тимур Тимурович появился в узком сегменте пространства, видимого сквозь щель. Негромко матюкнувшись, он скрылся в кабинете. Досчитав до тридцати пяти (непонятно, почему именно до тридцати пяти — в моей жизни ничего никогда не было связано с этим числом), я выскочил в коридор и неслышно побежал к своей палате.

Никто не заметил моего возвращения — коридор был пуст, а мои соседи спали. Через несколько минут после того, как я лег в кровать, по коридору пронеслись мелодичные сигналы подъема; почти одновременно с ними вошел Барболин и сказал, что в палате будут морить тараканов, поэтому сегодня у нас будет второй лечебно-эстетический практикум.

Видимо, атмосфера сумасшедшего дома рождает в человеке покорность. Никто и не подумал возмутиться или сказать, что невозможно рисовать Аристотеля столько времени подряд. Только Мария пробормотал себе под нос что-то неразборчиво-мрачное. Я заметил, что проснулся он в дурном расположении духа. Возможно, ему что-то приснилось — сразу после пробуждения он принялся изучать свое отражение в зеркале на стене. Похоже, оно ему не очень понравилось — несколько минут он массирует кожу под глазами, вращая вокруг них пальцами.

С большим опозданием появившись в комнате эстетического практикума, он даже и не подумал рисовать Аристотеля, как это послушно начали делать остальные, в том числе и я. Сев в углу, он обвязал вокруг головы желтую ленту, которая, видимо, дол-

жна была защитить прическу от бушующих в его психическом измерении ветров, и стал разглядывать нас с таким видом, будто впервые увидел.

Не знаю, как насчет ветра, но тучи в комнате сгустились явно. Володин с Сердюком не обращали на Марию никакого внимания, и я решил, что зря придаю такое значение мелочам. Но все же молчание тяготило меня, и я решил его нарушить.

— Простите, господин Сердюк, вас не оскорбит, если я попытаюсь с вами заговорить? — спросил я.

— Что вы, — вежливо ответил Сердюк, — сделайте одолжение.

— Ради Бога, не сочтите мой вопрос нетактичным, но за что вы сюда попали?

— За отрешенность, — сказал Сердюк.

— Неужели? А разве могут госпитализировать за отрешенность?

Сердюк смерил меня длинным взглядом.

— Оформили как суицидально-бродяжнический синдром на фоне белой горячки. Хотя что это такое, никто не знает.

— Ну-ка расскажите поподробнее, — попросил я.

— Чего рассказывать. Лежал я себе в одном подвале на Нагорном шоссе. Причем по совершенно личным и очень важным обстоятельствам лежал, в полном мучительном сознании. А тут мент с фонарем и автоматом. Документы спрашивает. Ну, я предъявил. Он, понятно, денег попросил. Я ему дал все что было — тысяч двадцать. Так он деньги взял, а все мнется, не уйдет никак. Мне бы к стене повернуться и про него забыть, так нет — в разговор с ним полез. Что это ты, говорю, на меня zenки вылупил, или тебе наверху бандитов мало? А мент попался разговорчивый — потом оказалось, философский факультет кончал. Почему, говорит, их там много. Только они порядка не нарушают. Я его спрашиваю — это как?

Вот так, говорит. Нормальный бандит, он что? Смотришь на него и видишь, что он только и думает, как бы ему кого убить и ограбить. Тот, кого ограбили, говорит он дальше, тоже порядка не нарушает. Лежит себе с проломленным черепом и думает — такие дела, ограбили. А ты вот лежишь — это он мне говорит — и видно, что ты что-то такое думаешь... Как будто ты во все, что вокруг, не веришь. Или сомневаешься.

— Ну а вы? — спросил я.

— Ну а что я, — сказал Сердюк. — Я ему возьми и скажи — а может, я действительно сомневаюсь. Говорили же восточные мудрецы, что мир это иллюзия. Про восточных мудрецов я, понятно, так сказал, чтоб на его уровне было. Примитивно. Тут он покраснел даже и говорит — это что же получается? Я в университете диплом по Гегелю писал, а теперь хожу тут с автоматом, а ты чего-то там прочитал в „Науке и Религии“ и думаешь, что можешь залезть в подвал и в реальности мира сомневаться? Короче, слово за слово, сначала к ним, а потом сюда. У меня на животе царапина была — осколком бутылки порезался, так вот они эту царапину как суицид оформили.

— А я бы тех, — неожиданно вмешался Мария, — кто в реальности мира сомневается, вообще бы судил. Им не в сумасшедшем доме место, а в тюрьме. Или еще хуже где.

— Это почему? — спросил Сердюк.

— Объяснить? — недружелюбно спросил Мария. — Ну пойдя сюда, объясню.

Встав со своего места возле двери, он подошел к окну, дождался Сердюка и показал мускулистой рукой наружу.

— Вон видишь, „Мерседес-600“ стоит?

— Вижу, — сказал Сердюк.

— Тоже, скажешь, иллюзия?

— Вполне вероятно.

— Знаешь, кто на этой иллюзии ездит? Коммерческий директор нашего дурдома. Зовут его Вовчик Малой, а кликуха у него Ницшеанец. Ты его видел?

— Видел.

— Что о нем думаешь?

— Ясное дело, бандит.

— Так ты подумай — этот бандит, может быть, десять человек убил, чтобы такую машину себе купить. Так что же, эти десять человек зря жизни свои отдали, если это иллюзия? Что молчишь? Чувствуешь, чем дело пахнет?

— Чувствую, — мрачно сказал Сердюк и вернулся на свой стул.

Мария, видимо, тоже ощутил вкус к рисованию. Взяв из угла свой планшет, он сел рядом с остальными.

— Нет, — сказал он, прищуренным глазом вглядываясь в бюст Аристотеля, — если ты отсюда выйти когда-нибудь хочешь, надо газеты читать и эмоции при этом испытывать. А не в реальности мира сомневаться. Это при советской власти мы жили среди иллюзий. А сейчас мир стал реален и познаваем. Понял?

Сердюк молча рисовал.

— Что, не согласен?

— Трудно сказать, — ответил Сердюк мрачно. — Что реален — не согласен. А что познаваем, я и сам давно догадался. По запаху.

— Господа, — заговорил я, чувствуя, что назревает ссора, и пытаюсь увести разговор куда-нибудь на нейтральную территорию, — а вы не знаете, почему это мы рисуем именно Аристотеля?

— Так это Аристотель? — сказал Мария. — То-то вид такой серьезный. А черт знает, почему. Наверно, первый, кто им на складе попался.

— Не дури, Мария, — сказал Володин. — Тут никаких случайностей не бывает. Ты ведь только что сам все вещи своими именами назвал. Мы почему все в дурке сидим? Нас здесь к реальности вернуть хотят. И Аристотеля этого мы потому именно и рисуем, что это он реальность с шестисотыми „Мерседесами“, куда ты, Мария, выписаться хочешь, придумал.

— А что, до него ее не было? — спросил Мария.

— До него не было, — отрезал Володин.

— Это как?

— Не поймешь, — сказал Володин.

— А ты попробуй объясни, — сказал Мария. — Может, и пойму.

— Ну скажи, почему этот „Мерседес“ реальный? — спросил Володин.

Несколько секунд Мария мучительно думал.

— Потому что он из железа сделан, — сказал он, — вот почему. А это железо можно подойти и потрогать.

— То есть ты хочешь сказать, что реальным его делает некая субстанция, из которой он состоит?

Мария задумался.

— В общем да, — сказал он.

— Вот поэтому мы Аристотеля и рисуем. Потому что до него никакой субстанции не было, — сказал Володин.

— А что же было?

— Был главный небесный автомобиль, — сказал Володин, — по сравнению с которым твой шестисотый „Мерседес“ говно полное. Этот небесный автомобиль был абсолютно совершенным. И все понятия и образы, относящиеся к автомобильности, содержались в нем одном. А так называемые реальные автомобили, которые ездили по дорогам Древней Греции, считались просто его несовершенными тенями. Как бы проекциями. Понял?

— Понял. Ну и что дальше?

— А дальше Аристотель взял и сказал, что главный небесный автомобиль, конечно, есть. И все земные машины, разумеется, являются просто его искаженными отражениями в тусклом и кривом зеркале бытия. В то время спорить с этим было нельзя. Но, кроме первообраза и отражения, сказал Аристотель, есть еще одна вещь. Тот материал, который принимает форму этого автомобиля. Субстанция, обладающая самосуществованием. Железо, как ты выразился. И вот эта субстанция и сделала мир реальным. С нее вся эта е...ная рыночная экономика и началась. Потому что до этого все вещи на земле были просто отражениями, а какая реальность, скажи мне, может быть у отражения? Реально только то, что эти отражения создает.

— Ну знаете, — заметил я тихо, — это еще большой вопрос.

Володин проигнорировал мои слова.

— Понятно? — спросил он Марию.

— Понятно, — ответил Мария.

— Что тебе понятно?

— Понятно, что ты псих в натуре. Какие же в Древней Греции могли быть автомобили?

— Фу, — сказал Володин. — Как это мелко и безосновательно. Тебя так и правда скоро выпишут.

— Дай-то Бог, — сказал Мария.

Сердюк поднял голову и внимательно посмотрел на Марию.

— Ты, Мария, — сказал он, — сильно за последнее время ссучился, вот что. В духовном смысле.

— А мне отсюда выйти нужно, понял? Я не хочу, чтобы у меня здесь вся жизнь прошла. Кому я через десять лет нужен буду?

— Дурак ты, Мария, — презрительно сказал Сердюк. — Неужели ты не понимаешь, что у вас с Арнольдом любовь только здесь может быть?

— Фильтруй базар! А то я тебе, журавлиная морда, этим бюстом башку разобью.

— Ну попробуй, козел, — сказал побледневший Сердюк, вставая со стула, — попробуй!

— А я и пробовать не буду, — тоже вставая, ответил Мария, — я просто сделаю, и все. За такие слова убивают в натуре.

Он шагнул к столу и взял бюст.

Дальнейшее заняло от силы несколько секунд. Мы с Володиным вскочили со своих мест. Володин обхватил руками рванувшегося к Марии Сердюка. Лицо Марии исказилось гримасой ярости; он поднял бюст над головой, замахнулся им и шагнул к Сердюку. Я оттолкнул Марию и увидел, что Володин схватил Сердюка таким образом, что прижал его руки к туловищу, и если Мария все-таки ударит его бюстом, тот не сможет даже закрыться ладонями. Я попытался разорвать руки Володина, сцепленные на груди у закрывшего глаза и блаженно улыбающегося Сердюка, и вдруг заметил, что Володин с ужасом смотрит мне за спину. Я повернул голову и увидел мертвое гипсовое лицо с пыльными бельмами глаз, медленно опускающееся на меня из-под засиженного мухами штукатурного неба.

Бюст Аристотеля был единственным, что сохранила моя память, когда я пришел в себя. Впрочем, я не уверен, что выражение „пришел в себя“ вполне подходит. Я с детства ощущал в нем какую-то стыдливую двусмысленность: кто именно пришел? куда пришел? и, что самое занимательное, откуда? — одним словом, сплошное передергивание, как за карточным столом на волжском пароходе. С возрастом я понял, что на самом деле слова „прийти в себя“ означают „прийти к другим“, потому что именно эти другие с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять угодную им форму.

Но дело не в этом. Я полагаю это выражение не вполне подходящим для описания моего состояния, потому что, очнувшись, я не проснулся полностью, а как бы осознал себя в зыбкой неглубокой дреме, в том знакомом каждому человеку нематериальном мире на границе сна и бодрствования, где все, что есть вокруг — это мгновенно возникающие и растворяющиеся в сознании видения и мысли, а тот, вокруг кого они возникают, сам по себе начисто отсутствует. Обычно пролетаешь это состояние мгновенно, но я отчего-то застрял в нем на несколько долгих секунд; мои мысли касались главным образом Аристотеля. Они были бессвязными и почти лишенными смысла — этот идеологический прадед большевизма вы-

зывал во мне мало симпатии, но личной ненависти за вчерашнее я не ощущал; видимо, изобретенное им понятие субстанции было недостаточно субстанциональным, чтобы причинить мне серьезный вред. Интересно, что этому в моем полусне имелось убедительнейшее из доказательств — когда бюст разлетелся от удара, выяснилось, что он был пустотелым.

Вот если бы меня по голове ударили бюстом Платона, подумал я, то результат был бы куда как серьезнее. Тут я вспомнил, что у меня есть голова, последние фрагменты сна унеслись прочь, и все пошло по обычной схеме человеческого пробуждения — стало ясно, что все эти мысли существуют именно в голове, а она непереносимо ноет.

Я осторожно открыл глаза.

Первым, что я увидел, была Анна, сидящая недалеко от моей койки. Она не заметила, что я проснулся, оттого, наверно, что была увлечена чтением — в ее ладонях был раскрытый томик Гамсуна. Некоторое время я разглядывал ее сквозь ресницы. Ничего существенного к своему первому впечатлению от нее я добавить не мог, да и не нужны были никакие добавления. Может быть, ее красота показалась мне еще мучительнее в своем равнодушном совершенстве. Я с грустью подумал, что если женщинам вроде нее и случается полюбить мужчину, то им оказывается или коммивояжер с усиками, или какой-нибудь краснолицый майор артиллерии — за этим стоит тот же механизм, который заставляет школьных красавиц выбирать себе уродливых подруг. Разумеется, дело тут не в желании подчеркнуть свою красоту контрастом (объясненьице на уровне Ивана Бунина), а в милосердии.

Впрочем, некоторые изменения с ней произошли. Наверно, из-за освещения мне показалось, что ее волосы стали короче и чуть светлее. Вместо вчерашнего темного платья на ней была какая-то странная по-

лувоенная форма — черная юбка и широкий песочный френч, на рукаве которого дрожали цветные рефлексy от графина, расщеплявшего солнечный луч; графин стоял на столе, а стол находился в комнате, которую я никогда раньше не видел. Но что самое поразительное, за окном этой комнаты было лето — сквозь стекло виднелись серебристо-зеленые, как бы пыльные кроны тополей, парящие в полуденном зное.

Комната, где я находился, напоминала номер в недорогой провинциальной гостинице — столик, два полумягких кресла, умывальник на стене и лампа под абажуром. На что она точно не походила ни в малейшей степени, так это на купе несущегося сквозь зимнюю ночь поезда, где я заснул вчера вечером.

Я приподнялся на локте. Видимо, мое движение было для Анны полной неожиданностью — она уронила книгу на пол и растерянно на меня уставилась.

— Где я? — спросил я, садясь в кровати.

— Ради Бога, лежите, — сказала она, нагибаясь ко мне. — Все хорошо. Вы в безопасности.

Мягкое нажатие ее рук уложило меня на спину.

— Но я могу хотя бы узнать, где именно я лежу? И почему сейчас лето?

— Да, — сказала она, возвращаясь на стул, — лето. Вы совсем ничего не помните?

— Я все отлично помню, — сказал я. — Я только не понимаю, как это я ехал в поезде, а потом вдруг оказался в этой комнате.

— Вы довольно часто начинали говорить в бреду, — сказала она, — но ни разу не приходили в сознание. Большую часть времени вы были в коме.

— В какой коме? Я помню, что мы пили шампанское, и еще Шалапин пел... Или ткачи... А потом этот странный господин... Товарищ... Словом, Чапаев. Чапаев взял и отцепил вагоны.

Наверно, не меньше минуты Анна недоверчиво смотрела мне в глаза.

— Как это странно, — сказала она наконец.

— Что странно?

— Что вы помните именно это. А потом?

— Потом?

— Ну да, потом. Ну, например — бой на станции Лозовая помните?

— Нет, — сказал я.

— А то, что раньше было?

— Раньше?

— Ну да, раньше. Вы ведь под Лозовой уже эскадроном командовали.

— Каким эскадроном?

— Вы, Петя, под Лозовой очень отличились. Не зайти вы тогда со своим эскадроном с левого фланга, всех бы перебили.

— Какое сегодня число?

— Третье июня, — сказала она. — Я знаю, что такие случаи бывают при ранениях в голову, но... Было бы понятно, если бы вы вообще потеряли память, а такая странная избирательность удивляет. Хотя вообще-то я не медик. Может, это тоже в порядке вещей.

Я поднял руки к голове и вздрогнул — мне показалось, что мои ладони легли на обросший короткой щетиной бильярдный шар. Я был пострижен наголо, как при тифе. Была еще какая-то странность, какой-то безволосый выступ на коже. Я провел по нему пальцами и понял, что это длинный шрам, наискось пересекающий весь череп. Ощущение было такое, словно мне на кожу приклеили гуммиарабиком кусок кожаного ремня.

— Шрапнель, — сказала Анна. — Хоть шрам и внушительный, это пустяки. Вас только царапнуло пулей. Кость даже не задело. Но контузило, похоже, прилично.

— Когда это случилось? — спросил я.

— Второго апреля.

— И что, с тех пор я не приходил в сознание?

— Несколько раз. Буквально на несколько мгновений, и все.

Я закрыл глаза и некоторое время пытался увидеть в своей памяти хоть что-то из того, о чем говорила Анна. Но в той черноте, куда я глядел, не было ничего, кроме вспыхивающих за веками полос и пятен.

— Ничего не помню, — сказал я и еще раз ощупал голову. — Совершенно. Помню только сон, который мне снился — что где-то в Петербурге, в каком-то мрачном зале, меня бьют по голове бюстом Аристотеля, и каждый раз он рассыпается на части, но потом все происходит снова... Готика... Но теперь я понимаю, в чем дело.

— У вас вообще интригующий бред, — сказала Анна. — Вчера вы полдня вспоминали какую-то Марию, в которую попал снаряд. Правда, довольно бессвязная история — я так и не поняла, кем вам приходится эта девушка. Вы, видимо, встретили ее на дорогах войны?

— Никогда не знал никакой Марии. Если, конечно, не считать одного недавнего кошмара...

— Успокойтесь, — сказала Анна, — я не собираюсь вас к ней ревновать.

— Очень жаль, — ответил я, сел и свесил ноги на пол. — Пожалуйста, не принимайте за эпатаж то, что я беседую с вами в одном белье.

— Вам нельзя вставать.

— Но я прекрасно себя чувствую, — ответил я. — Я бы хотел принять душ и одеться.

— Не может быть и речи.

— Анна, — сказал я, — раз я команду эскадром, у меня должен быть денщик.

— Разумеется, он у вас есть.

— Пока мы тут с вами говорим, он, вероятно, опять напился, как свинья. Не могли бы вы прислать его сюда? И еще — где находится Чапаев?

Самое интересное, что мой денщик (это был молчаливый желтоволосый детина с длинным туловищем и короткими кривыми ногами кавалериста — несуразное сочетание, делавшее его похожим на перевернутые клещи) действительно оказался пьян. Он принес мне одежду — серо-зеленый китель без погон (зато с нашивкой за ранение на рукаве), синие галифе с двойным красным лампасом и пару отличных коротких сапог из мягкой кожи. Кроме этого, на кровать были брошены косматая черная папаха, шашка с гравировкой „Петру Пустоте за доблесть“, кобура с браунингом и саквожж Фон Эрнена, при виде которого мне чуть не сделалось дурно.

Ничего из его содержимого не пропало, только кокаину в банке было поменьше. Кроме того, я обнаружил в саквожже маленький бинокль и записную книжку, на треть исписанную, без всяких сомнений, моей рукой. Большая часть заметок была мне совершенно непонятна — они касались лошадей, сена и людей, чьи имена мне ничего не говорили. Но, кроме этого, мне попались на глаза несколько фраз, весьма похожих на те, что я имею обыкновение записывать:

„Христианство и др. религ. можно рассматривать как совокупность разноудаленных объектов, излуч. опред. энерг. Как ослепительно сияет фигура распятого Бога! И как глупо называть хр. примитивной системой! Если вдуматься, в революцию Россию верг не Распутин, а его убийство.“

И еще, двумя страницами ниже:

„В жизни все „успехи“ нужно соотносить с тем интервалом времени, на котором они достигаются; если этот интервал чрезмерно долгов, то большинство

достижений оказываются обесмысленными в большей или меньшей степени; любое из достижений (во всяком случае, практических) оказывается равным нулю, если отнести его к длине всей жизни, потому что после смерти не имеет значения ничего. Не забыть про надпись на потолке.“

Про надпись на потолке я, похоже, безвозвратно забыл. Были времена, когда я изводил по книжке в месяц на такие заметки, и каждая из них казалась полной смысла и имеющей значение, которое непременно будет востребовано в будущем. Но когда это будущее наступило, записные книжки куда-то делались, за окном пошла совсем другая жизнь, и так вышло, что в конце концов я оказался на промозглом Тверском бульваре с револьвером в кармане пальто. Хорошо еще, подумал я, что встретил старого друга.

Одевшись (денщик не принес портянок, и мне пришлось разорвать на них простыню), я некоторое время колебался, а потом все же надел папаху — она воняла какой-то дрянью, но бритая голова казалась мне очень уязвимым местом. Шашку я оставил на кровати, а пистолет вынул из кобуры и спрятал в карман — терпеть не могу смущать людей видом оружия, да и вынимать быстрее. Посмотрев на себя в зеркало над умывальником, я остался доволен — папаха придала моему небритому лицу какую-то одичалую гордость.

Анна стояла внизу, у подножия широкой полукруглой лестницы, по которой я спустился из своей комнаты.

— Что это за дом? — спросил я. — Похоже на брошенную усадьбу.

— Так и есть, — сказала она. — У нас здесь штаб. Да и не только штаб — мы здесь живем. С тех пор, как вы командовали эскадром, Петр, многое изменилось.

— Так где же Чапаев?

— Сейчас его нет в городе, — сказала Анна, — но он скоро должен вернуться.

— А что это, кстати, за город? — спросил я.

— Он называется Алтай-Виднянск. Кругом горы. Даже не понимаю, как в таких местах появляются города. Все общество — несколько офицеров, пара каких-то странных личностей из Петербурга и местная интеллигенция. Жители про войну и революцию в лучшем случае что-то слышали. Ну и большевики мутят на окраинах. В общем, дыра.

— Что же тогда мы здесь делаем?

— Дождитесь Чапаева, — сказала Анна. — Он все объяснит.

— Тогда, с вашего позволения, я прогуляюсь по городу.

— Вам никак нельзя, — настойчиво сказала Анна. — Подумайте сами, вы только что пришли к себе. С вами может случиться какой-нибудь припадок или я не знаю что. Вдруг вы потеряете сознание прямо на улице?

— Очень тронут вашей заботой, — сказал я, — но если она искренна, вам придется составить мне компанию.

— Вы не оставляете мне другого выхода, — сказала она со вздохом. — Куда именно вы хотите пойти?

— Если здесь есть какая-нибудь ресторация, — сказал я, — знаете, как это обычно бывает в провинции, с чахлой пальмой в кадке и теплым хересом в графинах? Было бы в самый раз. И чтобы подавали кофе.

— Здесь есть одно место, — сказала Анна, — но пальмы там нет. И хереса, думаю, тоже.

Город Алтай-Виднянск состоял главным образом из небольших деревянных домов в один и два этажа, отстоявших довольно далеко друг от друга. Вокруг

были высокие дощатые заборы, выкрашенные преимущественно в коричневый цвет, за ними зеленели старые запущенные сады, и дома были почти не видны за плотной завесой листвы. Ближе к центру, куда мы с Анной спустились по крутой мощеной улице, пошли каменные здания — как правило, тоже не выше двух этажей; я отметил пару живописных чугунных решеток и пожарную каланчу, в которой было что-то трудноуловимо-немецкое. В целом это был типичный провинциальный городок, не лишенный девственного очарования, тихий и светлый, с головой нырнувший в цветущую сирень. Вокруг него со всех сторон поднимались горы, и он как бы лежал на дне образованной ими чаши — центральная площадь с убогим памятником Александру Второму была его самым низким местом. Ресторан „Сердце Азии“, куда привела меня Анна, своими окнами выходил как раз на этот памятник. Я подумал, что все это так и просится в какую-нибудь поэму.

В ресторане было прохладно и тихо; пальмы в кадке не было, зато в углу зала стояло чучело медведя с алебардой в руках. Зал был почти пуст. За одним из столиков выпивали два офицера довольно запущенного вида — когда мы с Анной проходили мимо, они подняли на меня глаза и тотчас же равнодушно отвели. Я, признаться, плохо понимал, обязывает ли мой нынешний статус открывать по ним стрельбу из браунинга или нет, но, судя по спокойной реакции Анны, такой необходимости не было; к тому же, погоны с их мундиров были спороты. Мы с Анной сели за соседний столик, и я заказал шампанского.

— Вы хотели попить кофе, — сказала Анна.

— Верно, — сказал я. — Обычно я никогда не пью днем.

— Так в чем же дело?

— Исключительно в вас.

Анна хмыкнула.

— Очень мило, Петр. Но я хочу сразу попросить вас об одолжении. Ради Бога, не начинайте опять за мной ухаживать. Перспектива романа с раненым кавалеристом в городе, где бывают перебои с водой и керосином, совершенно меня не привлекает.

Ничего иного я и не ждал.

— Ну что ж, — сказал я, когда официант поставил бутылку на стол, — если вам угодно видеть во мне раненого кавалериста, милости прошу. Но кого, в таком случае, я должен видеть в вас?

— Пулеметчицу, — сказала Анна. — Если вам угодно точнее — льюисистку. Я предпочитаю дисковый „льюис“.

— Знаете, как кавалерист я ненавижу вашу профессию. Нет ничего мрачнее перспективы атаки на пулемет в конном строю. Но поскольку речь идет о вас, я поднимаю этот бокал за пулеметное дело.

Мы чокнулись.

— Скажите, Анна, — спросил я, — а что это за офицеры за соседним столом? Какая, вообще, власть в этом городе?

— Вообще-то, — сказала Анна, — город занят красными, но в нем есть и белые. Или можно сказать, что он занят белыми, но в нем есть и красные. Так что одеваться лучше нейтрально. Примерно как мы сейчас.

— А где наш полк? — спросил я.

— Дивизия, вы хотели сказать. Наша дивизия рассеяна в боях. Сейчас у нас совсем немного людей, не больше трети эскадрона. Но поскольку здесь нигде нет крупных вражеских сил, мы, можно считать, в безопасности. Здесь глухомань, тишина. Ходишь по улицам, видишь вчерашних врагов и думаешь — неужели та причина, по которой мы пытались убить друг друга всего несколько дней назад, реальна?

— Я вас понимаю, — сказал я. — На войне сердце грубеет, но стоит поглядеть на цветущую сирень, и

кажется, что свист снарядов, дикие выкрики всадников, пороховая гарь, к которой примешивается сладковатый запах крови — все это нереально, все это мираж, сон.

— Именно, — сказала Анна. — Вопрос в том, насколько реальна цветущая сирень. Может быть, это такой же сон.

Однако, подумал я, но развивать эту тему не стал.

— А скажите, Анна, какая сейчас ситуация на фронтах? Я имею в виду общее положение.

— Честно говоря, не знаю. Как сейчас стали говорить, не в курсе. Газет здесь нет, а слухи самые разные. Да и потом, знаете, надоело все это. Берут и отдают какие-то непонятные города с дикими названиями — Бугуруслан, Бугульма и еще... как его... Белебей. А где это все, кто берет, кто отдает — не очень ясно, и главное, не особо интересно. Война, конечно, идет, но говорить о ней стало своего рода *mauve genre*. В целом я бы сказала, что в воздухе чувствуется усталость. Какой-то упадок энтузиазма.

Я погрузился в молчание, обдумывая ее слова. Где-то далеко на улице заржала лошадь, затем долетел протяжный крик возницы. Один из офицеров за соседним столом попал наконец иглой в вену. Он безуспешно пытался сделать это последние пять минут, далеко отклоняясь назад, чтобы видеть свои спрятанные под стол руки — все это время его стул балансировал на двух задних ножках, и иногда мне казалось, что он непременно упадет. Спрятав шприц в никелированную коробочку, он убрал ее в кобуру. Судя по маслянистому блеску, который сразу же приобрели его глаза, в шприце был морфий. Минуту или две он покачивался на стуле, а потом бухнулся локтями на стол, взял своего товарища за руку и с непередаваемой искренностью в голосе сказал:

— Я сейчас подумал, Николай... Знаешь, почему большевики побеждают?

— Почему?

— Потому, что в их учении есть живая, горячая, — он закрыл глаза и мучительно зашевелил пальцами, подыскивая подходящее слово, — полная экстаза и неги любовь к человеку. Большевизм, если принять его до конца, способен оживить какую-то высшую надежду, дремлющую в сердце, разве нет?

Второй офицер сплюнул на пол.

— Знаешь, Жорж, — сказал он мрачно, — повесили бы они у тебя тетку в Самаре, поговорил бы ты тогда о высшей надежде.

Первый офицер закрыл глаза и несколько секунд молчал. Потом вдруг сказал:

— Говорят, в городе недавно видели барона Юнгерна. Он ехал на лошади, в красном халате с золотым крестом на груди, и никого не боялся...

Анна в этот момент закуривала сигарету — услышав эти слова, она вздрогнула, и спичка чуть не выпала из ее пальцев. Я подумал, что ее надо занять разговором.

— Скажите, Анна, а что, собственно, происходило все это время? Я имею в виду, после того дня, когда мы выехали из Москвы?

— Мы воевали, — сказала Анна. — Вы хорошо зарекомендовали себя в боях, очень сблизились с Чапаевым. Говорили с ним ночи напролет. Ну а потом вас ранило.

— Интересно, о чем же это мы говорили?

Анна выпустила в потолок тонкую струйку дыма.

— Почему бы вам не дождаться его самого? Я догадываюсь о примерном содержании ваших бесед, но не хотела бы вдаваться в подробности. Это касается только вас двоих.

— Но хотя бы в общих чертах, Анна, — сказал я.

— Чапаев, — сказала она, — один из самых глубоких мистиков, которых я когда-либо знала. Я пола-

гаю, что в вашем лице он нашел благодарного слушателя и, возможно, ученика. Больше того, я подозреваю, что несчастье, которое с вами произошло, некоторым образом связано с вашими беседами.

— Ничего не понимаю.

— Это неудивительно, — сказала Анна. — Он несколько раз пытался говорить со мной, и я тоже ничего не поняла. Единственное, в чем я уверена, это в том, что за несколько часов он способен довести доверчивого собеседника до полного сумасшествия. Мой дядя очень необычный человек.

— Так он ваш дядя, — сказал я, — вот оно что. А я уже начал полагать, что вас с ним связывают узы иного рода.

— Да как вы... Впрочем, думайте, что вам угодно.

— Ради Бога, извините, — сказал я, — но после ваших слов о раненом кавалеристе я решил, что вас, возможно, интересуют кавалеристы здоровые.

— Еще один хамский пассаж, и я полностью потеряю к вам интерес, Петр.

— Значит, вы его все-таки ко мне испытываете. Это утешает.

— Не цепляйтесь к словам.

— А почему я не могу цепляться к словам, которые мне нравятся?

— Просто из соображений безопасности, — сказала Анна. — За то время, пока вы лежали без сознания, вы сильно поправились, и они могут не выдерживать вашего веса.

Она явно могла за себя постоять. Но все-таки это было чуть слишком.

— Моя милая Анна, — сказал я, — я не понимаю, зачем вы так стараетесь меня оскорбить. Я абсолютно точно знаю, что вы притворяетесь. На самом деле вы ко мне равнодушны — я это понял сразу, когда пришел в себя и увидел вас возле своей кровати. И вы не представляете, до чего я был тронут.

— Я боюсь, что вы будете разочарованы, если я расскажу вам, почему я там сидела.

— Вот как? Какие же могут быть мотивы, чтобы сидеть у кровати раненого, кроме искренней... ну, не знаю — заботы?

— Право же, мне неловко. Но вы сами напросились. Жизнь здесь скучна, а ваш бред был крайне живописен. Признаться, я приходила иногда послушать — приходила просто от скуки. То, что вы говорите сейчас, вызывает во мне куда меньше интереса.

Такого я не ожидал. Чтобы прийти в себя, я медленно сосчитал до десяти. Потом еще раз. Это не помогло — я ощущал к ней ясную и чистую ненависть высшей пробы.

— Вы не дадите мне одну из ваших сигареток?

Анна протянула мне открытый портсигар.

— Благодарю, — сказал я. — С вами очень интересно беседовать.

— Вы находите?

— Да, — сказал я, чувствуя, что сигарета дрожит в моих пальцах, и раздражаясь от этого еще сильнее. — Ваши слова будят мысль.

— Каким образом?

— Вот, например, несколько минут назад вы подвергли сомнению реальность сирени, в которой утопает этот город. Это неожиданно и, вместе с тем, очень по-русски.

— Что же вы видите в этом специфически русского?

— А русский народ давно понял, что жизнь — это сон. Вы знаете значение слова „суккуб“?

— Да, — сказала Анна с улыбкой, — кажется, так называется демон, который принимает женское обличье, чтобы обольстить спящего мужчину. А какая тут связь?

Я еще раз сосчитал до десяти. Мои чувства не изменились.

— Самая прямая. Когда на Руси говорят, что все бабы суки, слово „сука“ здесь уменьшительное от „суккуб“. Это пришло из католицизма. Помните, наверно — Лжедмитрий Второй, Марина Мнишек, кругом поляки, одним словом, смута. Вот оттуда и повелось. Кстати, и панмонголизм того же происхождения — как раз недавно про это думал... Да... Но я отвлекся. Я хотел только сказать, что сама фраза „все бабы суки“, — я повторил эти слова с искренним наслаждением, — означает, в сущности, что жизнь есть сон, и сирень, как вы сказали, нам только снится. И все с-суки тоже. То есть я хотел сказать — бабы.

Анна затянулась сигаретой. Ее скулы чуть порозовели, и я не мог не отметить, что это чрезвычайно идет к ее бледному лицу.

— Я вот думаю, — сказала она, — плеснуть вам шампанским в морду или нет?

— Даже не знаю, — ответил я. — Я бы на вашем месте не стал. Мы пока еще не настолько близки.

В следующий момент веер прозрачных капель врезался мне в лицо — ее бокал был почти полон, и она выплеснула из него шампанское с такой силой, что на секунду я ослеп.

— Извините, — растерянно сказала Анна, — но вы сами...

— Ничего, — ответил я.

Шампанское обладает одной удобной особенностью — если взять бутылку в руки, закрыть горлышко большим пальцем и сильно встряхнуть ее несколько раз, из-под пальца начинает бить пенная струя, в которую уходит практически все содержимое бутылки. Мне кажется, что этот метод был знаком еще Лермонтову — у него есть строка, в которой явственно отражен личный опыт подобного рода: „так мхом покрытая бутылка вековая хранит струю

кипучего вина“. Конечно, трудно строить догадки о внутреннем мире человека, который, решив обратить свои взоры ко Злу, в результате написал поэму о каком-то летающем гусарском полковнике. Так что я не стану утверждать, что Лермонтов обливал женщин шампанским, но нахожу такую вероятность весьма высокой, учитывая его постоянную озабоченность вопросами пола и те нескромные, но совершенно непобедимые ассоциации, которые эта операция вызывает каждый раз, когда ее объектом становится красивая молодая женщина. Должен признаться, что я стал их жертвой в полной мере.

Большая часть шампанского попала Анне на френч и юбку. Я целил в лицо, но в последний момент какое-то странное целомудрие заставило меня отклонить струю вниз.

Оглядев свой потемневший на груди френч, она пожала плечами.

— Вы идиот, — сказала она спокойно. — Вам место в доме для душевнобольных.

— Не вы одна так думаете, — сказал я, ставя пустую бутылку на стол.

Наступила гнетущая тишина. Пускаться в дальнейшие выяснения отношений казалось нелепым; молча сидеть друг напротив друга было еще глупее. Я думаю, Анна ощущала то же самое; похоже, во всем этом ресторане только жирная черная муха, методично бившаяся о пыльное стекло окна, знала, что делать дальше. Положение спас один из офицеров, сидевших за соседним столом (я к этому моменту успел совершенно забыть об их существовании, но уверен, что в широком смысле они тоже не знали, что делать дальше), тот именно, который делал себе укол.

— Милостивый государь, — услышал я его исполненный чувства голос, — милостивый государь, вы позволите задать вам вопрос?

— Сделайте милость, — сказал я, оборачиваясь к нему.

Он держал в руках раскрытое черное портмоне и, говоря, поглядывал в него, словно там была шпаргалка с текстом.

— Позвольте представиться, — сказал он, — штабс-капитан Овечкин. Случайно так вышло, что я услышал часть вашего разговора. Я, разумеется, не подслушивал. Просто вы говорили громко.

— И что же?

— Вы действительно полагаете, что все женщины — мираж?

— Вы знаете, — ответил я, стараясь говорить как можно вежливее, — это очень сложная тема. Коротко говоря, если вы находите миражом весь этот мир — кстати, обратите внимание на глубокое родство слов „мир“ и „мираж“ — то нет никаких поводов выделять женщин в какую-то особую категорию.

— Значит, все-таки мираж, — сказал он печально, — я так и думал. А вот здесь у меня фото. Поглядите-ка.

Он протянул мне фотографию. На ней была запечатлена девушка с ординарным лицом, сидящая возле горшка с геранью. Я заметил, что Анна тожеглянула на фотографию краем глаза.

— Это моя невеста Нюра, — сказал штабс-капитан. — То есть была невеста. Где она сейчас, не имею понятия. Вспомню былые дни — и все перед глазами, как живое. Коток на Патриарших, или летом в усадьбе... А на самом деле все ушло, ушло безвозвратно, и если бы этого никогда не было, что изменилось бы в мире? Понимаете, в чем ужас? Никакой разницы.

— Понимаю, — сказал я, — понимаю, поверьте.

— Выходит, и она мираж?

— Выходит, так, — отозвался я.

— Ага, — сказал он удовлетворенно и оглянулся на своего соседа, который улыбался и курил. — То есть должен ли я вас понимать в том смысле, милостивый государь, что моя невеста Нюра сука?

— Что?

— Ну как, — сказал штабс-капитан Овечкин и опять оглянулся на своего товарища. — Если жизнь есть сон, то и все женщины нам только снятся. Моя невеста Нюра — женщина, следовательно, она тоже снится.

— Допустим. И что дальше?

— А не вы ли только что сказали, что сука — это уменьшительное от слова „суккуб“? Допустим, Нюра волнует меня как женщина и при этом является миражом — разве из этого не следует с необходимостью, что она сука? Следует. А знаете ли вы, милостивый государь, какие последствия имеют подобные слова, сказанные публично?

Я внимательно посмотрел на него. Ему было лет около тридцати; у него были пшеничные усы, высокий лоб с залысинами и голубые глаза, и во всем этом ощущалась такая концентрация провинциального демонизма, что я почувствовал раздражение.

— Послушайте, — сказал я, незаметно запуская руку в карман и берясь за рукоять пистолета, — вы, право же, преувеличиваете. Я не имел чести быть знакомым с вашей невестой. Никаких мнений на ее счет у меня не может быть.

— Никто не смеет делать допущений, — сказал штабс-капитан, — из которых вытекает, что моя невеста Нюра сука. Мне очень грустно, но я вижу только один выход из сложившегося положения.

Буравя меня глазами, он положил руку на кобуру и медленно расстегнул ее. Я уже хотел стрелять, но вспомнил, что у него там лежит коробочка со шприцем. Это, в конце концов, делалось смешным.

— Вы хотите сделать мне укол? — спросил я. — Спасибо, но я терпеть не могу морфий. По-моему, он отупляет.

Штабс-капитан отдернул руку от кобуры и оглянулся на своего компаньона, полного молодого человека с багровым от жары лицом, который внимательно следил за нашим разговором.

— Отойди, Жорж, — сказал тот, грузно вылезая из-за стола и вытягивая из ножен пашку, — этому господину укол сделаю я сам.

Бог знает, что произошло бы дальше — наверно, через секунду я застрелил бы его с тем меньшим сожалением, что цвет его лица ясно указывал на предрасположенность к апоплексии, и вряд ли ему суждена была долгая жизнь. Но тут произошло непредвиденное.

От дверей раздался громкий окрик:

— Всем стоять на месте! Одно движение, и я стреляю!

Я оглянулся. У входа стоял высокий широкоплечий человек в серой паре и малиновой косоворотке. Его лицо было волевым и сильным — если бы его не портил скошенный назад маленький подбородок, оно великолепно смотрелось бы на античном барельефе. Он был брит наголо, а в руках у него было по револьверу. Оба офицера замерли на месте; бритый господин быстро подошел к нашему столу и остановился, приставив свои револьверы к их головам. Штабс-капитан быстро заморгал.

— Стоять, — сказал господин. — Стоять... Спокойно...

Неожиданно его лицо исказила гримаса ярости, и он два раза подряд нажал на курки. Они щелкнули вхолостую.

— Вы слышали про русскую рулетку, господа? — спросил он. — Ну!

— Слышали, — ответил офицер с багровым лицом.

— Можете считать, что сейчас вы оба в нее играете, а я являюсь чем-то вроде крупье. Доверительно сообщу, что в третьем гнезде каждого барабана стоит боевой патрон. Если вы меня поняли, дайте мне знать как можно быстрее.

— Каким образом? — спросил штабс-капитан.

— Поднимите руки вверх, — сказал бритый господин.

Офицеры подняли руки; звон упавшей на пол пашки заставил меня поморщиться.

— Вон отсюда, — сказал незнакомец, — и очень прошу не оглядываться по дороге. Я плохо это переношу.

Офицеры не заставили его повторять эти слова дважды — они покинули зал с проворным достоинством, оставив после себя недопитое вино и дымящуюся в пепельнице папиросу. Когда они вышли, господин положил свои наганы на наш стол и наклонился к Анне, которая глядела на него, как мне показалось, очень благосклонно.

— Анна, — сказал он, поднося к губам ее ладонь, — какая это радость — видеть вас здесь.

— Здравствуйте, Григорий, — сказала Анна. — Вы давно в городе?

— Только что прибыл, — сказал бритый господин.

— Это ваши рысаки за окном?

— Мои.

— И вы непременно меня прокатите?

Он улыбнулся.

— Григорий, — сказала Анна, — я вас люблю.

Бритый господин повернулся ко мне и протянул мне руку.

— Григорий Котовский.

— Петр Пустота, — ответил я, пожимая его руку.

— А, так вы комиссар Чапаева? Тот, которого ранило под Лозовой? Много про вас слышал. Сердечно рад видеть вас в добром здравье.

— Он еще не вполне выздоровел, — сказала Анна, смерив меня коротким взглядом.

Котовский сел к столу.

— А что у вас, собственно, произошло с этими господами?

— Мы поспорили о метафизике сна, — сказал я.

Котовский расхохотался.

— И тянет вас говорить на такие темы в провинциальных ресторанах. Впрочем, я слышал, что на Лозовой все тоже началось с какого-то разговора в станционном буфете?

Я пожал плечами.

— Он ничего об этом не помнит, — сказала Анна. — У него частичная потеря памяти. Это бывает при сильной контузии.

— Надеюсь, что вы скоро полностью оправитесь от ранения, — сказал Котовский и взял со стола один из своих револьверов. Выдвинув барабан вбок, он несколько раз взвел и спустил курок, тихо выругался и недоверчиво покачал головой. Я с удивлением заметил, что патроны вставлены во все гнезда барабана.

— Черт бы взял эти тульские наганы, — сказал он, поднимая на меня взгляд. — Никогда нельзя на них полагаться. Однажды я уже попал из-за них в такой переплет...

Он бросил наган обратно на стол и потряс головой, словно отгоняя от себя черные мысли.

— Как Чапаев?

Анна махнула рукой.

— Пьет, — сказала она. — Черт знает что творится, даже страшно. Вчера выбежал на улицу в одной рубашке, с маузером в руке, выстрелил три раза в небо, потом подумал немного, выстрелил три раза в землю и пошел спать.

— Высоко, высоко, — пробормотал Котовский. — А вы не бойтесь, что он в таком состоянии может пустить в дело глиняный пулемет?

Анна покосилась на меня, и я сразу почувствовал себя совершенно лишним за этим столом. Видимо, мои спутники разделяли это чувство — затянувшаяся пауза сделалась невыносимой.

— Кстати, Петр, что эти господа думают о метафизике сна? — спросил наконец Котовский.

— Так, — ответил я, — пустое. Они неумны. Простите, но мне хочется на свежий воздух. У меня разболелась голова.

— Да, Григорий, — сказала Анна, — давайте проводим Петра домой, а там уже решим, чем занять вечер.

— Благодарю, — сказал я, — но я дойду один. Тут недалеко, и я помню дорогу.

— Увидимся позже, — сказал Котовский.

Анна даже не посмотрела на меня. Не успел я встать из-за стола, как они завели оживленный разговор. Дойдя до дверей, я оглянулся: Анна звонко хохотала и похлопывала Котовского ладонью по руке, словно умоляя перестать говорить что-то невыносимо смешное.

Выйдя из ресторана, я увидел легкую рессорную коляску, в которую были впряжены два серых рыска. Видимо, это был экипаж Котовского. Завернув за угол, я пошел вверх по улице, по которой мы с Анной совсем недавно спустились.

Было около трех часов дня, и стояла невыносимая жара. Я думал о том, как все изменилось с момента пробуждения — от моего спокойного и умиротворенного настроения не осталось и следа; самым неприятным было то, что из головы у меня никак не выходили рысак Котовского. Мне было смешно, что такая мелочь способна подействовать на меня угнетающе,

точнее, я хотел прийти в свое нормальное состояние, где такие вещи кажутся смешными, и не мог. На деле я был глубоко уязвлен.

Причина, конечно, была не в Котовском с его рысаками. Причина была в Анне, в неуловимом и невыразимом свойстве ее красоты, которая с первого момента заставила меня домыслить и приписать ей глубокую и тонкую душу. Невозможно было даже подумать, что какие-то рысаки способны сделать их обладателя привлекательным в ее глазах. И, тем не менее, дело обстояло именно так. Вообще, думал я, самое странное, что я полагаю, будто женщине нужно что-то иное. Да и что же? Какие-то сокровища духа?

Я громко засмеялся, и от меня шарахнулись две гуляющие по обочине курицы.

Вот это уже интересно, подумал я, ведь если не врать самому себе, я именно так и думаю. Если разобраться, я полагаю, будто во мне присутствует нечто, способное привлечь эту женщину и поставить меня в ее глазах неизмеримо выше любого обладателя пары рысаков. Но ведь в таком противопоставлении уже заключена невыносимая поплость — допуская его, я сам низвожу до уровня пары рысаков то, что с моей точки зрения должно быть для нее неизмеримо выше. Если для меня это предметы одного рода, с какой стати она должна проводить какие-то различия? И потом, что это, собственно, такое, что должно быть для нее выше? Мой внутренний мир? То, что я думаю и чувствую? От отвращения к себе я застонал. Полно морочить самого себя, подумал я. Уже много лет моя главная проблема — как избавиться от всех этих мыслей и чувств самому, оставив свой так называемый внутренний мир на какой-нибудь помойке. Но даже если допустить на миг, что он представляет какую-то ценность, хотя бы эстетическую, это ничего не меняет — все прекрасное, что может быть в человеке, недоступно другим, потому что по-настоящему

оно недоступно даже тому, в ком оно есть. Разве можно, уставясь на него внутренним взором, сказать — вот оно, было, есть и будет? Разве можно как-то обладать им, разве можно сказать, что оно вообще принадлежит кому-то? Как я могу сравнивать с рысаками Котовского то, что не имеет ко мне никакого отношения, то, что я просто видел в лучшие секунды своей жизни? И разве я могу обвинять Анну, если она отказывается видеть во мне то, чего я уже давно не вижу в себе сам? Нет, это действительно нелепо — ведь даже в те редкие моменты, когда я, может быть, находил это главное, я ясно чувствовал, что никак не возможно его выразить, никак. Ну, бывает, скажет человек точную фразу, глядя из окна на закат, и все. А то, что говорю я сам, глядя на закаты и восходы, уже давно невыносимо меня раздражает. Никакая особая красота не свойственна моей душе, думал я, совсем наоборот — я ищу в Анне то, чего никогда не было во мне самом. Единственное, что остается от меня, когда я ее вижу — это засасывающая пустота, которую может заполнить только ее присутствие, ее голос, ее лицо. Так что же я могу предложить ей взамен поездки с Котовским на рысаках? Себя самого? Говоря другими словами — то, что я надеюсь в близости с нею найти ответ на какой-то смутный и темный вопрос, мучающий мою душу? Абсурд. Да я бы лучше сам поехал на рысаках с Котовским.

Я остановился и сел на истертый дорожный камень на краю дороги. Было невозможно жарко. Я чувствовал себя разбитым и подавленным; не помню, чтобы когда-нибудь я бывал себе так отвратителен. Кислая вонь шампанского, пропитавшего мою папаху, казалась мне в тот момент подлинной визитной карточкой моего духа. Вокруг было равнодушное оцепенелое лето, где-то лениво лаяли псы, а с неба бесконечной пулеметной очередью било раскаленное солнце. Как только мне в голову пришло это сравне-

ние, я вспомнил, что Анна называет себя пулеметчицей; почувствовав на своих глазах слезы, я спрятал лицо в ладони.

Через несколько минут я встал и пошел дальше в гору. Мне стало легче; больше того, все мысли, только что промчавшиеся сквозь мою душу и, казалось, полностью меня раздавившие, вдруг стали источником тонкого наслаждения. Печаль, охватившая меня, была невыразимо сладка, и я знал, что уже через час буду пытаться вызвать ее в себе опять, но она не придет.

Вскоре я дошел до усадьбы. Я заметил, что во дворе привязаны несколько лошадей, которых не было раньше. Кроме того, из трубы над одним из флигелей поднимался дым. Дойдя до ворот, я остановился. Улица шла дальше вверх и терялась в густой зелени за поворотом; сверху не было видно ни одного дома, так что совершенно неясно было, куда она ведет. Мне не хотелось никого видеть, и, зайдя во двор, я медленно побрел вокруг здания.

— Давай, — кричал мужской бас на втором этаже, — подставляй лоб, дура!

Наверно, там играли в карты. Я дошел до края дома, повернул за угол и оказался на заднем дворе. Он оказался неожиданно живописным — в нескольких метрах от стены земля ныряла вниз, образуя естественное углубление, скрытое в тени нависших над ним деревьев. Там журчал ручей и видны были крыши двух или трех хозяйственных построек, а поодаль, на небольшом пустыре, возвышался большой стог сена — точь-в-точь такой, как изображают на идиллических сельских картинках в „Ниве“. Мне вдруг безумно захотелось поваляться в сене, и я направился к стогу. И вдруг, когда до него осталось всего десять шагов, откуда-то из-за дерева выскочил человек с винтовкой и молча преградил мне путь.

Передо мной стоял тот самый башкир, который прислуживал нам в ресторане штабного вагона, а по-

том отцепил от поезда вагоны с ткачами — только сейчас его лицо покрывала редкая черная бородка.

— Послушайте, — сказал я, — мы ведь знакомы, да? Я просто хотел поваляться в сене, и все. Обещаю вам не курить.

Башкир никак не отреагировал на мои слова; его глаза смотрели на меня без всякого выражения. Я сделал попытку обойти его, и тогда он шагнул назад, поднял винтовку и приставил штык к моему горлу.

Я повернулся и побрел назад. Признаться, в повадках этого башкира было нечто такое, что понастоящему меня напугало. Когда он направил на меня штык, он ухватил винтовку, как копье, словно бы даже не догадываясь, что из нее можно выстрелить, и от этого движения повеяло такой дикой степной силой, что лежащий в моем кармане браунинг показался мне простой детской хлопущкой. Впрочем, все это были нервы. Дойдя до ручья, я оглянулся. Башкира уже не было видно. Я сел на корточки у ручья и долго отмывал в нем свою папаху.

Вдруг я заметил, что на журчание воды, словно на звук какого-то странного инструмента, накладывается тихий и довольно приятный голос. В ближайшем сарае (судя по торчавшей над крышей трубе, когда-то это была баня) кто-то напевал:

— Тихо иду в белой рубахе по полю... И журавли словно кресты колоколен...

Что-то в этих словах тронуло меня, и я решил посмотреть, кто это поет. Выжав воду из папахи, я засунул ее за пояс, подошел к сараю и без стука распахнул дверь.

Внутри стоял широкий стол из свежеструганных досок и две лавки. На столе стояла огромная бутылка с мутноватой жидкостью, стакан и лежало несколько луковиц. На ближайшей лавке спиной ко мне сидел человек в чистой белой рубахе навыпуск.

— Прошу прощения, — сказал я, — у вас в бутылке случайно не водка?

— Нет, — сказал человек, оборачиваясь, — это самогон.

Это был Чапаев.

Я вздрогнул от неожиданности.

— Василий Иванович!

— Здорово, Петька, — сказал он с широкой улыбкой. — Я смотрю, ты уже на ногах.

Я совершенно не помнил момента, когда мы перешли на „ты“. Но я не помнил и многого другого. Чапаев глядел на меня с легким лукавством; на его лоб падала влажная прядь волос, а рубаха была расстегнута до середины живота. Вид у него был совершенно затрапезный и до такой степени не походил на тот образ, который сохранила моя память, что несколько секунд я колебался, думая, что это ошибка.

— Садись, Петька, садись, — сказал Чапаев и кивнул на соседнюю лавку.

— А вы, Василий Иванович, разве не в отъезде? — спросил я, садясь.

— Час назад вернулся, — сказал он, — и сразу в баню. В жару первое дело. Да что ты про меня спрашиваешь, ты про себя скажи. Как себя чувствуешь?

— Нормально, — сказал я.

— А то встал, надел папаху и в город. Ты героя брось ломать. Что за слух тут такой идет, что у тебя память отшибло?

— Так и есть, — сказал я, стараясь не обращать внимания на его буффонаду с этими ненатуральными просторечиями. — А кто это вам успел сказать?

— Да Семен, кто же. Твой денщик. Ты правда, что ли, не помнишь ничего?

— Помню только, как на поезд в Москве селись, — сказал я, — а остальное как обрезало. Даже не помню, при каких обстоятельствах вы стали называть меня на „ты“.

Чапаев несколько минут смотрел мне в лицо сощуренными глазами, глядя как бы сквозь меня.

— Да, — сказал он наконец, — вижу. Плохо дело. Я думаю, что ты, Петька, просто воду мутишь.

— Какую воду?

— Хочешь — мутить, — загадочно сказал Чапаев, — дело молодое. А на „ты“ мы с тобой перешли на станции Лозовая, незадолго перед боем.

— Что за бой такой, — сказал я и наморщился. — Какой раз уже слышу, а вспомнить ничего не могу. Только голова болеть начинает.

— Ну раз болеть начинает, не думай. Ты ж выпить хотел? Так выпей!

Чапаев опрокинул бутылку в стакан, наполнил его до краев и подвинул мне.

— Благодарствуйте, — сказал я с иронией и выпил. Несмотря на устрашающий мутный отлив, самогон оказался превосходным — кажется, он был настоян на каких-то травах.

— Луку хочешь?

— Сейчас нет. Но не исключаю, что через некоторое время дойду до состояния, когда смогу и даже захочу закусывать самогон луком.

— Чего грустный такой? — спросил Чапаев.

— Так, — ответил я, — мысли.

— Какие еще мысли?

— Неужели вам, Василий Иванович, правда интересно, о чем я думаю?

— А что ж, — сказал Чапаев, — конечно.

— Я, Василий Иванович, думаю о том, что любовь прекрасной женщины — это на самом деле всегда снисхождение. Потому что быть достойным такой любви просто нельзя.

— Чиво? — наморщась, спросил Чапаев.

— Да хватит паясничать, — сказал я. — Я серьезно.

— Серьезно? — спросил Чапаев. — Ну ладно. Тогда гляди — снисхождение всегда бывает от чего-то одного к чему-то другому. Вот как в этот овражек. От чего к чему это твое снисхождение сходит?

Я задумался. Было понятно, куда он клонит. Скажи я, что говорю о снисхождении красоты к безобразному и страдающему, он сразу задал бы мне вопрос о том, осознает ли себя красота, и может ли она оставаться красотой, осознав себя в этом качестве. На этот вопрос, доводивший меня почти до безумия долгими петербургскими ночами, ответа я не знал. А если бы в виду имелась красота, не осознающая себя, то о каком снисхождении могла идти речь? Чапаев был определенно не прост.

— Скажем так, Василий Иванович — не снисхождение чего-то к чему-то, а акт снисхождения, взятый сам в себе. Я бы даже сказал, онтологическое снисхождение.

— А енто логическое снисхождение где происходит? — спросил Чапаев, нагибаясь и доставая из-под стола еще один стакан.

— Я не готов говорить в таком тоне.

— Тогда давай еще выпьем, — сказал Чапаев.

Мы выпили. Несколько секунд я с сомнением смотрел на луковицу.

— Нет, — сказал Чапаев, отирая усы, — ты мне скажи, где оно происходит?

— Если вы, Василий Иванович, в состоянии говорить серьезно, скажу.

— Ну скажи, скажи.

— Правильнее сказать, что никакого снисхождения на самом деле нет. Просто такая любовь воспринимается как снисхождение.

— А где она воспринимается?

— В сознании, Василий Иванович, в сознании, — сказал я с сарказмом.

— То есть, по-простому говоря, в голове, да?

— Грубо говоря, да.

— А любовь где происходит?

— Там же, Василий Иванович. Грубо говоря.

— Вот, — сказал Чапаев удовлетворенно. — Ты, значит, спрашивал о том, как это... Всегда ли любовь — это снисхождение, так?

— Так.

— Любовь, значит, происходит у тебя в голове, да?

— Да.

— И это снисхождение тоже?

— Выходит, так, Василий Иванович. И что?

— Так как же ты, Петька, дошел до такой жизни, что спрашиваешь меня, своего боевого командира, всегда ли то, что происходит у тебя в голове, это то, что происходит у тебя в голове, или не всегда?

— Софистика, — сказал я и выпил. — Софистика чистой воды. Да и вообще, я не понимаю, зачем я мучаю себя? Ведь все это уже было со мной в Петербурге, и молодая прекрасная женщина в темно-бордовом бархатном платье так же ставила пустой бокал на скатерть, и я точно так же лез за платком в карман...

Чапаев громко прокашлялся, заглушив мой голос. Я тихо договорил, обращаясь непонятно к кому:

— Чего же я хочу от этой девушки? Разве я не знаю, что в прошлое нельзя возвратиться? Можно мастерски подделать все его внешние обстоятельства, но никак нельзя вернуть себя прежнего, никак...

— Ой, и здоров ты брехать, Петька, — сказал Чапаев и ухмыльнулся. — Бокал, платье.

— Вы что, Василий Иванович, — спросил я, с трудом сдерживаясь, — Толстого перечитывали недавно? Опроститься решили?

— Нам Толстых перечитывать незачем, — сказал Чапаев. — А если ты из-за Анки горюешь, так я тебе

скажу, что ко всякой бабе свой подход нужен. По Анке сохнешь, да? Угадал?

Его глаза превратились в две узких хитрых щелочки. Потом он вдруг стукнул кулаком по столу.

— Да ты отвечай, когда тебя комдив спрашивает!

Мне определенно было не перешибить его сегодняшнего настроения.

— Неважно, — сказал я, — давайте, Василий Иванович, еще выпьем.

Чапаев тихо засмеялся и налил оба стакана.

Дальнейшие несколько часов я помню смутно. Я сильно опьянел. Кажется, разговор пошел о войне — Чапаев вспоминал первую мировую. Получалось у него довольно правдоподобно: он говорил о немецкой кавалерии, о каких-то позициях над рекой, о газовых атаках и мельницах, на которых сидят пулеметчики. В одном месте он даже пришел в сильное возбуждение и закричал, сверкая на меня глазами:

— Эх, Петька! Да ты знаешь хоть, как я воюю? Ты этого знать не можешь! Всего есть три чапаевских удара, понял?

Я механически кивал, но слушал невнимательно.

— Первый удар — где!

Он сильно стукнул кулаком по столу, так, что бутылка чуть не опрокинулась.

— Второй — когда!

Он опять с силой опустил кулак на доски стола.

— И третий — кто!

В другой ситуации я оценил бы его спектакль, но жара и самогон до того разморили меня, что, несмотря на его выкрики и удары по столу, я скоро заснул прямо на лавке, а когда проснулся, за окном было уже темно, и слышно было, как где-то вдалеке блеют овцы.

Подняв голову со стола, я оглядел комнату. У меня было ощущение, что я нахожусь в каком-то

питерском трактире для кучеров. На столе появилась керосиновая лампа. Чапаев все так же сидел напротив со стаканом в руке, что-то напевал себе под нос и глядел в стену. Его глаза были почти так же мутны, как самогон в бутылке, которая уже опустела наполовину. Поговорить с ним в его тоне, что ли, подумал я и с преувеличенной развязностью стукнул кулаком по столу.

— А вот вы скажите, Василий Иванович, только как на духу. Вы красный или белый?

— Я? — спросил Чапаев, переводя на меня взгляд. — Сказать?

Он взял со стола две луковицы и принялся молча чистить их. Одну он ободрал до белизны, а со второй снял только верхний слой шелухи, обнажив красно-фиолетовую кожицу.

— Гляди, Петька, — сказал он, кладя их на стол перед собой. — Вот перед тобой две луковицы. Одна белая, а другая красная.

— Ну, — сказал я.

— Посмотри на белую.

— Посмотрел.

— А теперь на красную.

— И чего?

— А теперь на обе.

— Смотрю, — сказал я.

— Так какой ты сам — красный или белый?

— Я? То есть как?

— Когда ты на красную луковицу смотришь, ты красным становишься?

— Нет.

— А когда на белую, становишься белым?

— Нет, — сказал я, — не становлюсь.

— Идем дальше, — сказал Чапаев. — Бывают карты местности. А этот стол — упрощенная карта сознания. Вот красные. А вот белые. Но разве оттого,

что мы сознаем красных и белых, мы приобретаем цвета? И что это в нас, что может приобрести их?

— Во вы загнули, Василий Иванович. Значит, ни красные, ни белые. А кто тогда мы?

— Ты, Петька, прежде чем о сложных вещах говорить, разберись с простыми. Ведь „мы“ — это сложнее, чем „я“, правда?

— Правда, — сказал я.

— Что ты называешь „я“?

— Видимо, себя.

— Ты можешь мне сказать, кто ты?

— Петр Пустота.

— Это твое имя. А кто тот, кто это имя носит?

— Ну, — сказал я, — можно сказать, что я — это психическая личность. Совокупность привычек, опыта... Ну знаний там, вкусов.

— Чьи же это привычки, Петька? — проникновенно спросил Чапаев.

— Мои, — пожал я плечами.

— Так ты ж только что сказал, Петька, что ты и есть совокупность привычек. Раз эти привычки твои, то выходит, что это привычки совокупности привычек?

— Звучит забавно, — сказал я, — но в сущности, так и есть.

— А какие привычки бывают у привычек?

Я почувствовал раздражение.

— Весь этот разговор довольно примитивен. Мы ведь начали с того, кто я по своей природе. Если угодно, я полагаю себя... Ну скажем, монадой. В терминах Лейбница.

— А кто тогда тот, кто полагает себя этой мандой?

— Монада и полагает, — ответил я, твердо решив держать себя в руках.

— Хорошо, — сказал Чапаев, хитро прищуриваясь, — насчет „кто“ мы потом поговорим. А сейчас,

друг милый, давай с „где“ разберемся. Скажи-ка мне, где эта манда живет?

— В моем сознании.

— А сознание твое где?

— Вот здесь, — сказал я, постучав себя по голове.

— А голова твоя где?

— На плечах.

— А плечи где?

— В комнате.

— А где комната?

— В доме.

— А дом?

— В России.

— А Россия где?

— В беде, Василий Иванович.

— Ты это брось, — прикрикнул он строго. — Шутить будешь, когда командир прикажет. Говори.

— Ну как где. На Земле.

Мы чокнулись и выпили.

— А Земля где?

— Во Вселенной.

— А Вселенная где?

Я секунду подумал.

— Сама в себе.

— А где эта сама в себе?

— В моем сознании.

— Так что же, Петька, выходит, твое сознание — в твоём сознании?

— Выходит так.

— Так, — сказал Чапаев и расправил усы. — А теперь слушай меня внимательно. В каком оно находится месте?

— Не понимаю, Василий Иванович. Понятие места — и есть одна из категорий сознания, так что...

— Где это место? В каком месте находится понятие места?

— Ну, скажем, это вовсе не место. Можно сказать, что это ре...

Я осекся. Да, подумал я, вот куда он клонит. Если я воспользуюсь словом „реальность“, он снова сведет все к моим мыслям. А потом спросит, где они находятся. Я скажу, что у меня в голове, и... Гамбит. Можно, конечно, пуститься в цитаты, но ведь любая из систем, на которые я могу сослаться, подумал вдруг я с удивлением, или обходит эту смысловую брешь стороной, или затыкает ее парой сомнительных латинизмов. Да, Чапаев совсем не прост. Конечно, есть беспрюгрышный путь завершить любой спор, классифицировав собеседника, — ничего не стоит заявить, что все, к чему он клонит, прекрасно известно, называется так-то и так-то, а человеческая мысль уже давно ушла вперед. Но мне стыдно было уподобляться самодовольной курсистке, в промежутке между пистонами немного полиставшей философский учебник. Да и к тому же не я ли сам говорил недавно Бердяеву, заведшему пьяный разговор о греческих корнях русского коммунизма, что философию правильнее было бы называть софоложеством?

Чапаев хмыкнул.

— А куда это вперед может уйти человеческая мысль? — спросил он.

— А? — растерянно сказал я.

— Вперед чего? Где это „вперед“?

Я решил, что по рассеянности заговорил вслух.

— Давайте, Василий Иванович, по трезвянке поговорим. Я же не философ. Лучше выпьем.

— Был бы ты философ, — сказал Чапаев, — я б тебя выше, чем навоз в конюшне чистить, не поставил бы. А ты у меня эскадронком командуешь. Ты ж все-все под Лозовой понял. Чего это с тобой творится? От страха, что ли? Или от радости?

— Не помню ничего, — сказал я, ощутив вдруг странное напряжение всех нервов. — Не помню.

— Эх, Петька, — вздохнул Чапаев, разливая самогон по стаканам. — Не знаю даже, как с тобой быть. Сам себя пойми сначала.

Мы выпили. Механическим движением я взял со стола луковицу и откусил большой кусок.

— Не пойти ли нам подышать перед сном? — спросил Чапаев, закуривая папиросу.

— Можно, — ответил я, кладя луковицу на стол.

Пока я спал, прошел короткий дождь — склон оврага, который поднимался к зданию усадьбы, был сырым и скользким. Как выяснилось, я был совершенно пьян — уже почти добравшись до его конца, я поскользнулся и повалился в мокрую траву. Моя голова запрокинулась, и я увидел над собой небо, полное звезд. Это было до того красиво, что несколько секунд я молча лежал на спине, глядя вверх. Чапаев дал мне руку и помог встать. Когда мы выбрались на ровное место, я снова посмотрел вверх и вдруг подумал, что последний раз видел звездное небо черт знает когда, хотя все время оно было над головой — достаточно было просто поднять ее. Я засмеялся.

— Ты чего? — спросил Чапаев.

— Так, — сказал я и показал пальцем вверх. — Красота.

Чапаев поглядел вверх и покачнулся.

— Красота? — переспросил он задумчиво. — А что такое красота?

— Ну как, — сказал я. — Как что. Красота — это совершеннейшая объективация воли на высшей ступени ее познаваемости.

Чапаев еще несколько секунд глядел в небо, а потом перевел взгляд на большую лужу прямо у наших ног и выплюнул в нее окурок. Во вселенной, отраженной в ровной поверхности воды, произошла настоящая катастрофа — все созвездия содрогнулись и на миг превратились в размытое мерцание.

— Что меня всегда поражало, — сказал он, — так это звездное небо под ногами и Иммануил Кант внутри нас.

— Я, Василий Иванович, совершенно не понимаю, как это человеку, который путает Канта с Шопенгауэром, доверили командовать дивизией.

Чапаев тяжело посмотрел на меня и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут до нас донесся стук колес по мостовой и лошадиное ржание. Кто-то подъезжал к дому.

— Наверно, это Котовский с Анной, — сказал я. — Вашей пулеметчице, Василий Иванович, похоже, нравятся сильные личности в косоворотках.

— А что, Котовский в городе? Так что ж ты молчишь!

Он повернулся и быстро пошел вперед, совершенно про меня забыв. Я медленно поплелся следом, дошел до угла дома и остановился. У подъезда стояла коляска Котовского, а сам Котовский как раз помогал Анне сойти на землю. Увидев подходящего Чапаева, Котовский отдал честь, шагнул ему навстречу, и они обнялись. Последовало несколько громких восклицаний и шлепков, как бывает, когда встречаются два человека, каждый из которых хочет показать, что бредет сквозь пески этой жизни, не теряя бодрого мужества. Не теряя этого самого бодрого мужества, они побрели к дому, а Анна задержалась у коляски. Подчиняясь внезапно возникшему импульсу, я пошел к ней — по дороге я чуть не упал еще раз, споткнувшись о пустой снарядный ящик, и у меня мелькнула мысль, что я пожалею о своем порыве.

— Анна, прошу вас! Пойдите!

Она остановилась и повернула ко мне голову. Боже, как она была хороша в эту минуту!

— Анна, — сбивчиво заговорил я, прижав зачехотанные руки к груди, — поверьте, что мне... Мне тяжело даже вспоминать о том, как я вел себя в ресторане.

Но сознайтесь, что вы сами дали мне повод. Я понимаю, что этот постоянно самоутверждающийся суффражизм — вовсе не ваше настоящее качество, это просто следование определенной эстетической формуле, и то возникающее...

Она вдруг оттолкнула меня руками.

— Уйдите, Петр, ради Бога, — сказала она, наморщившись. — От вас луком пахнет. Я готова простить все, но не это.

Повернувшись, я кинулся в дом. От моих щек, вероятно, можно было прикуривать, и всю дорогу до своей комнаты — непонятно, как я ее нашел в темноте, — я последними словами проклинал Чапаева с его самогоном и луком. Кинувшись на кровать, я погрузился в состояние, близкое к коме — вероятно, подобное той, из которой я вышел утром.

Через некоторое время в комнату постучали.

— Петька! — позвал из-за двери голос Чапаева, — Ты где?

— Нигде! — пробормотал я в ответ.

— Во! — неожиданно заорал Чапаев, — Молодец! Завтра благодарность объявлю перед строем. Все ведь понимаешь! Так чего весь вечер дурнем прикидывался?

— Как вас понимать?

— А ты сам подумай. Ты что сейчас перед собой видишь?

— Подушку, — сказал я, — но плохо. И не надо мне опять объяснять, что она находится в моем сознании.

— Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде. Вспомнил?

— Чапаев, — сказал я, — мне лучше одному побыть.

— Ну как знаешь. Чтоб завтра был у меня, как огурец. В полдень выступаем.

Скрипя половицами, он ушел вдаль по коридору. Некоторое время я думал над его словами — сначала про это „нигде“, а после про непонятное выступление, которое он наметил на следующий полдень. Конечно, можно было бы выйти из комнаты и объяснить ему, что выступить я никуда не смогу, поскольку нахожусь „нигде“. Но делать этого не хотелось — на меня навалилась страшная сонливость, и все стало казаться неважным и скучным. Я заснул, и мне долго снились тонкие пальцы Анны, ласкающие ребристый ствол пулемета.

Проснулся я оттого, что в дверь снова постучали.

— Чапаев, я же просил меня не трогать! Дайте отдохнуть перед боем!

— Это не Чапаев, — сказал голос из-за двери. — Это Котовский.

Я приподнялся на локтях.

— Что вам угодно?

— Мне необходимо с вами поговорить.

Я вынул пистолет из кармана и положил его на кровать, накрыв одеялом. Черт знает, что ему нужно. У меня было предчувствие, что это как-то связано с Анной.

— Входите, прошу зас.

Открылась дверь, и вошел Котовский. Выглядел он совершенно по-иному, чем днем — теперь на нем был халат с кистями, из-под которого торчали полосатые пижамные штаны. В одной руке он держал подсвечник с тремя горящими свечами, а в другой у него была бутылка шампанского и два бокала — при взгляде на шампанское моя догадка, что Анна пожаловалась ему на меня, окрепла.

— Присаживайтесь.

Я указал ему на кресло.

Поставив шампанское и подсвечник на стол, он сел.

— У вас можно курить?

— Сделайте одолжение.

Закурив, Котовский сделал какой-то странный жест — провел растопыренной пятерней над своим черепом, словно откидывал невидимую прядь волос со лба. Я подумал, что где-то видел уже это движение, и сразу вспомнил, где — в бронепоезде Чапаева. Почти так же поправляла свои состриженные волосы Анна. У меня мелькнула мысль, что оба они принадлежат к какой-то странной секте, возглавляемой Чапаевым, и эта бритоголовость связана с их ритуалами, но в следующий же миг я понял, что все мы принадлежим к этой секте, все мы, кому довелось нахлебаться в очередной раз свалившейся на Россию свободы и непременно сопровождающих ее вшей. Я засмеялся.

— Что это вы? — спросил Котовский, подняв бровь.

— Да вот подумал о нашей нынешней жизни. Брежнев, чтобы не завшиветь. Кто бы мог себе это представить лет пять назад? Непостижимо.

— Удивительно, — сказал Котовский, — я как раз думал о том же самом. О том, что произошло с Россией. Поэтому к вам и зашел. Своего рода импульс. Хочу поговорить.

— О России?

— Именно, — сказал он.

— Что же тут говорить, — сказал я, — все предельно ясно.

— Нет, я имею в виду — кто виноват?

— Не знаю, — сказал я, — а вы что думаете?

— Интеллигенция. Кто же еще.

Он протянул мне наполненный бокал.

— У интеллигента, — сказал он с мрачной гримасой, — особенно у российского, который только и может жить на содержании, есть одна гнусная полудетская черта. Он никогда не боится нападать на то, что подсознательно кажется ему праведным и законным. Как ребенок, который не очень боится сделать зло своим родителям, потому что знает — дальше угла не поставят. Чужих людей он опасается больше. То же и с этим мерзким классом.

— Не вполне успеваю за вашей мыслью.

— Интеллигент, как бы он ни измывался над устоями империи, которая его породила, отлично знает, что в ней все-таки жив был нравственный закон.

— Вот как? Отчего?

— Да оттого, что если нравственный закон в ней был бы мертв, он никогда не посмел бы топтать ее устои ногами. Я вот перечитывал недавно Достоевского, и знаете, что подумал?

У меня произвольно дернулась щека.

— Что? — спросил я.

— Добро по своей природе всепрощающе. Подумайте, всех этих нынешних палачей раньше ссылали в сибирские села, где они целыми днями охотились на зайцев и рябчиков. Нет, интеллигент не боится топтать святыни. Интеллигент боится лишь одного — касаться темы зла и его корней, потому что справедливо полагает, что здесь его могут сразу вы...ть телеграфным столбом.

— Сильный образ.

— Со злом заигрывать приятно, — горячо продолжал Котовский, — риску никакого, а выгода очевидна. Вот откуда берется огромная армия добровольных подлецов, которые сознательно путают верх с низом и правое с левым, понимаете? Все эти расчетливые сутенеры духа, эти испытые Чернышевские, исколотые Рахметовы, растленные Перовские, накокаиненные Кибальчичи, все эти...

— Понимаю.

Котовский отхлебнул шампанского.

— Кстати, Петр, — сказал он небрежно, — раз уж у нас об этом речь зашла. Я слышал, у вас был кокаин.

— Да, — сказал я, — действительно. Раз уж он сам всплыл в разговоре.

Сунув руку в саквояж, я вынул из него банку и поставил на стол.

— Угощайтесь.

Котовского не надо было уговаривать. Белые дорожки, которые он насыпал на поверхность стола, скорее походили на два недостроенных шоссе. Совершив все необходимые манипуляции, он откинулся в кресле. Выждав из вежливости минуту, я спросил:

— И часто вы о России думаете?

— Когда в Одессе жил, каждый день думал не менее трех раз, — сказал он глухим голосом. — До того доходило, что кровь из носу шла. Потом бросил. Не хочу от чего-то зависеть.

— А что же сейчас? Достоевский попутал?

— Да нет, — сказал он. — Одна внутренняя драма. Мне в голову пришла неожиданная мысль.

— Скажите, Григорий, а вы очень дорожите своими рысаками?

— А что? — спросил он.

— Мы могли бы совершить обмен. Пол этой банки за вапу коляску.

Котовский вскинул на меня острый взгляд, потом поднял со стола банку, заглянул в нее и сказал:

— Право же, вы искустель. Зачем вам мои рысаки?

— Кататься. Зачем же еще.

— Ну что же, — сказал Котовский, — согласен. У меня в багаже случайно как раз есть аптечные весы...

— Берите на глаз, — сказал я, — он мне легко достался.

Вынув из кармана халата серебряный портсигар, он высыпал из него папиросы, затем достал перочинный нож и его лезвием, как небольшой лопаткой, переложил туда часть порошка.

— Не рассыплете?

— Не беспокойтесь, этот портсигар у меня с Одессы. Специальный. Рысаки ваши.

— Благодарю вас.

— Выпьем за нашу сделку?

— Охотно, — сказал я и поднял бокал.

Допив шампанское, Котовский встал, спрятал портсигар в карман и поднял подсвечник.

— Что же, спасибо за беседу. И, Бога ради, простите мне это ночное вторжение.

— Покойной ночи. А вы позволите задать вам вопрос? Раз уж вы про это упомянули сами — что это за внутренняя драма, от которой помогает кокаин?

— Перед драмой России она меркнет, — сказал Котовский, по-военному коротко кивнул и вышел за дверь.

Некоторое время я пытался заснуть, но мне это не удалось. Сначала я думал о Котовском — он, надо сказать, произвел на меня приятное впечатление. В нем чувствовался стиль. Потом мои мысли вернулись к разговору с Чапаевым. Я стал думать об этом его „нигде“ и о нашем разговоре. На первый взгляд все было несложно. Он предлагал мне ответить на вопрос, существую ли я благодаря этому миру или этот мир существует благодаря мне. Конечно, все сводилось к банальной диалектике, но была в этом одна пугающая сторона, на которую он мастерски указал своими на первый взгляд идиотскими вопросами о месте, где все это происходит. Если весь мир существует во мне, то где тогда существую я? А если я су-

ществую в этом мире, то где, в каком его месте находится мое сознание? Можно было бы сказать, думал я, что мир, с одной стороны, существует во мне, а, с другой стороны, я существую в этом мире, и это просто полюса одного смыслового магнита, но фокус был в том, что этот магнит, эту диалектическую диаду негде было повесить.

Ей негде было существовать!

Потому что для ее существования нужен был тот, в чьем сознании она могла бы возникнуть. А ему точно так же негде было существовать, потому что любое „где“ могло появиться только в сознании, для которого просто не было иного места, чем созданное им самим... Но где оно было до того, как создало для себя это место? Само в себе? Но где?

Мне вдруг стало страшно оставаться одному. Накинув на плечи китель, я вышел в коридор, увидел в голубоватом сиянии светившей из окна луны перила ведущей вниз лестницы и направился к выходу.

Распряженная коляска стояла недалеко от дверей. Я пару раз обошел вокруг, любуясь ее плавными линиями, — казалось, лунный свет придавал им дополнительное очарование. Недалеко от меня фыркнула лошадь. Я оглянулся и увидел Чапаева — он стоял возле лошади со щеткой в руке и расчесывал ей гриву. Подойдя к нему, я остановился рядом. Он посмотрел на меня. Интересно, подумал я, а если я спрошу его о том, где находится это его „нигде“, что он ответит? Ему неизбежно придется определить это слово само через себя, и его положение в разговоре окажется ничем не лучше моего.

— Не спится? — спросил Чапаев.

— Да, — сказал я. — Не по себе.

— Чего, пустоту раньше не видел?

Я понял, что словом „пустота“ он называет именно это „нигде“, которое я впервые в жизни осознал несколько минут назад.

— Нет, — ответил я. — Никогда.

— А что ж ты тогда, Петька, видел? — задумчиво спросил Чапаев.

— Давайте сменим тему, — сказал я. — Где мои рысаки?

— В конюшню, — сказал Чапаев. — А с каких это пор они твои, а не Котовского?

— Уже около четверти часа.

Чапаев хмыкнул.

— Ты с Гришей поосторожней, — сказал он. — Не так он прост, как кажется.

— Я уже понял, — ответил я. — Знаете, Василий Иванович, не идут у меня из головы ваши слова. Умете вы в тупик загнать.

— Верно, — сказал Чапаев, с силой проводя щеткой по спутанным конским волосам, — умею. А потом как дать из пулемета...

— Но мне кажется, — сказал я, — что и я могу.

— Попробуй.

— Хорошо, — сказал я. — Я тоже задам последовательность вопросов о местоположении.

— Задавай, задавай, — пробормотал Чапаев.

— Начнем по порядку. Вот вы расчесываете лошадь. А где находится эта лошадь?

Чапаев посмотрел на меня с изумлением.

— Ты что, Петька, совсем охренел?

— Прошу прощения?

— Вот она.

Несколько секунд я молчал. К такому повороту я совершенно не был готов. Чапаев недоверчиво покачал головой.

— Знаешь, Петька, — сказал он, — шел бы ты лучше спать.

Глупо улыбнувшись, я побрел назад в дом. Кое-как добравшись до кровати, я повалился на нее и стал медленно проваливаться в очередной кошмар, неизбежность которого я ощутил еще на лестнице.

Он не заставил себя долго ждать. Мне стал сниться голубоглазый светловолосый человек, привязанный петлями к странному креслу, похожему на зубоврачебное. Во сне я четко знал, что его фамилия — Сердюк, и то, что происходит с ним сейчас, вскоре должно произойти со мной самим. К рукам Сердюка шли разноцветные провода, подключенные к стоящей на полу динамо-машине угрожающего вида; у меня хватило трезвости догадаться, что эту машину достраивает мой ум. Ручку машины крутили два склоненных над ней человека в белых халатах. Сначала они вращали ее медленно, и человек в кресле только вздрагивал и покусывал губы, но постепенно их движения убыстрялись, и по телу примотанного к креслу одна за другой стали проходить волны крупной дрожи. Наконец он уже не в силах был молчать.

— Прекратите! — попросил он.

Но его мучители стали работать еще быстрее.

— Выключите динамо, — заорал он что было сил, — выключите динамо! Динамо! Ди-на-мо!! ДИ-НА-МО!!!

— Следующая станция — „Динамо“, — сказал голос в динамике.

Сидящий напротив пассажир — очень странного вида мужик с рябым и круглым лицом, в грязном ватном халате и чалме со следами зеленой краски — поймал бессмысленный взгляд Сердюка, уже несколько минут уставленный ему в глаза, почесал ухо, приложил два пальца к чалме и громко сказал:

— Хайль Гитлер!

— Гитлер хайль, — вежливо ответил Сердюк и отвел взгляд.

Совершенно непонятно было, что это за человек и почему он ездит в метро, имея харю, с которой можно кататься по меньшей мере в БМВ.

Прямо над головой человека в халате висел рекламный плакат, на котором когда-то было написано: „Хлеб — ваше богатство“. Буквы „х“ и „л“ были стерты, а в конце предложения был добавлен восклицательный знак. Сердюк сочувственно вздохнул, покосился вправо и стал читать книгу, лежащую на коленях у соседа по лавке. Это была затрепанная брошюра, обернутая в газету, на которой было написано шариковой ручкой: „Японский милитаризм“. Видимо, брошюра была каким-то полусекретным советским пособием. Бумага была желтой от старости, шрифт странным; в тексте присутствовало множество набранных курсивом японских слов.

„Социальный долг, — прочел Сердюк, — сплетается у них с чувством естественного человеческого долга, рождая пронзительную эмоциональность драмы. Такой долг выражен для японцев в понятиях „он“ и „гири“, вовсе не ушедших еще в прошлое. „Он“ — это „долг благодарности“ ребенка к родителям, вассала к сюзерену, гражданина к государству. „Гирь“ — „обязанность, обязательство“, требующие от каждого человека действовать в согласии с его положением и местом в обществе. Это также обязанность по отношению к себе самому: соблюдение чести и достоинства своей личности, своего имени. Должно быть готовым принести себя в жертву во имя „он“ и „гири“, своего рода социального, профессионального и человеческого кодекса поведения“.

Сосед, видимо, заметил, что Сердюк читает его книгу, и поднял ее к самому лицу, вдобавок полуприкрыв ее, так, что текст стал совершенно невидимым. Сердюк закрыл глаза.

„Потому и живут нормально, — подумал он, — что все время про долг помнят. А не бухают без конца, как у нас“.

Неизвестно, что происходило в его голове в течение следующих нескольких минут, но когда поезд остановился на „Пушкинской“, Сердюк вышел из вагона со сложившимся в душе желанием выпить, даже не выпить, а нажраться. Но это желание сначала было неоформленным и неосознанным и воспринималось в качестве смутной тоски по чему-то недостижимому и как бы утерянному, а свою настоящую форму обрело только тогда, когда Сердюк оказался перед длинной батареей бронированных киосков, из смотровых щелей которых без выражения глядели на вражескую территорию одинаковые кавказские лица.

Остановиться на каком-нибудь конкретном напитке было трудно. Ассортимент был большой, но

какой-то второсортный, как на выборах. Сердюк долго колебался, пока не увидел в одном из киосков бутылку портвейна под названием „Ливадия“.

При первом взгляде на эту бутылку Сердюк ясно вспомнил одно забытое утро из юности: заставленный какими-то ящиками закоулок во дворе института, солнце на желтых листьях и хохочущих однокурсников, передающих друг другу бутылку такого же портвейна (правда, с чуть другой этикеткой — тогда еще не были поставлены точки над „i“). Еще Сердюк вспомнил, что в этот закоулок, скрытый со всех сторон от наблюдателей, надо было пролезать между прутьев ржавой решетки, пачкавшей куртку. Но главным во всем этом был не портвейн и не решетка, а на секунду мелькнувшие в памяти и отозвавшиеся печалью в сердце необозримые возможности и маршруты, которые заключал в себе тогда мир, простиравшийся во все стороны вокруг отгороженного решеткой угла двора.

А вслед за этим воспоминанием пришла совершенно невыносимая мысль — о том, что мир сам по себе с тех пор совсем не изменился, просто увидеть его под тем углом, под которым это без всяких усилий удавалось тогда, нельзя: никак теперь не протиснуться между прутьев, никак, да и некуда больше протискиваться, потому что клочок пустоты за решеткой уже давно заполнен оцинкованными гробами с жизненным опытом.

Но если нельзя было увидеть мир под тем же углом, его, без сомнения, можно было увидеть под тем же градусом. Сунув в амбразуру киоска деньги, Сердюк подхватил выскочившую оттуда зеленую гранату, пересек улицу, осторожно прошел между луж, в которых отражалось предвечернее весеннее небо, сел на лавку напротив зеленого Пушкина и зубами сорвал с бутылки пластмассовую пробку. Портвейн оказался таким же точно на вкус, как и прежде, и

это было лишним доказательством того, что реформы не затронули глубинных основ русской жизни, пройдясь шумным ураганчиком только по самой ее поверхности.

В несколько длинных глотков прикончив бутылку, Сердюк аккуратно кинул ее в кусты за гранитным бордюром. Туда двинулась интеллигентная старушка, до этого делавшая вид, что читает газету. Сердюк откинулся на спинку лавки.

Опьянение по своей природе безлико и космополитично. В наступившем через несколько минут кайфе не присутствовало ничего из того, что обещала и подразумевала этикетка с кипарисами, античными арками и яркими звездами в темно-синем небе. Никак не ощущалось, что портвейн левобережный, и даже мелькнула в голове догадка, что, будь этот портвейн правобережным или вообще каким-нибудь молдавским, окружающий мир претерпел бы те же самые изменения.

А изменения с миром произошли, и довольно явные — он перестал казаться враждебным, и шедшие мимо люди постепенно превратились из adeptов мирового зла в его жертв, даже не догадывающихся о том, что они жертвы. Еще через минуту что-то случилось с самим мировым злом — оно то ли куда-то пропало, то ли просто перестало быть существенным. Опьянение достигло своего блаженного зенита, на несколько минут замерло в высшей точке, а потом обычный груз пьяных мыслей поволок Сердюка назад в реальность.

Мимо Сердюка прошли трое школьников, и долетели ломающиеся голоса, энергично повторяющие слово „базар“. Их уменьшающиеся спины двигались в сторону припаркованного у тротуара японского джипа-амфибии с большой лебедкой на носу. Прямо над джипом, на другой стороне Тверской, торчал знак „Макдональдса“, похожий на желтый зубец не-

видимой крепостной стены. Сердюк подумал, что все вместе — спины уходящих школьников, джип и желтая „М“ на красном фоне — чем-то напоминает картину Дейнеки „Будущие летчики“. Было даже понятно, чем именно — определенностью дальнейшей судьбы персонажей, которая была вполне ясна в обоих случаях. Будущие налетчики уже нырнули в подземный переход, а Сердюк все размышлял на эту тему: ему вспомнился американский фильм „Убить Голландца“ со снятым в нынешней Москве Нью-Йорком тридцатых годов — в фильме на стене одной из гангстерских квартир висела репродукция „Будущих летчиков“, что придавало фильму темную и страшноватую многозначность.

Впрочем, о политике Сердюк размышлял совсем недолго, и скоро его мысли вернулись к прочитанному в метро отрывку.

„Японцы, — подумал Сердюк, — великий народ! Только подумать — две атомных бомбы на них кинули, острова отняли, а вот выжили ведь... И почему у нас только на Америку смотрят? На фиг нам она вообще нужна, эта Америка? Надо за Японией идти — мы же соседи. Бог велел. И им тоже с нами дружить надо — вместе эту Америку и дождем... И атомную бомбу им вспомним, и Беловежскую пушу...“

Каким-то неуловимым, но непротиворечивым образом эти мысли перетекли в решение взять еще одну. Некоторое время Сердюк размышлял, что купить. Портвейна больше не хотелось. После игривого левобережного адажио уместным казалось долгое спокойное анданте — хотелось чего-то простого и безбрежного, как океан из „Клуба путешествий“ или пшеничное поле с акции, на которую Сердюк обменял свой ваучер. Несколько минут подумав, он решил взять голландского спирта и только по дороге к

ларьку понял, что остановил на нем свой выбор из-за вспомнившегося фильма.

Но это, конечно, было неважно. Вернувшись на ту же лавку, он открыл бутылку, налил половину пластмассового стаканчика, выпил и, ловя обожженным ртом воздух, разорвал газету, в которую был завернут купленный на закуску гамбургер. На глаза ему попала странная эмблема — красный цветок с несимметричными лепестками, вписанный в овал. Под эмблемой было объявление:

„Московское отделение японской фирмы „Тайра инкорпорейтед“ производит набор сотрудников на конкурсной основе. Необходимо знание английского языка и навыки работы с компьютером.“

Сердюк покрутил головой. На секунду ему показалось, что рядом с этим объявлением напечатано другое, украшенное похожим знаком. Он внимательно осмотрел газетный лист и понял, в чем дело. Действительно, овалов было два — рядом с окруженным линией цветком было кольцо лука, торчащий из-под хлебной корки край посеревшей мертвой плоти со следами ножа и кровавый потек кетчупа. Сердюк с удовлетворением отметил, что разные пласты реальности уже начали смешиваться, аккуратно выдрал объявление из газеты, слизнул с него каплю кетчупа, сложил вдвое и спрятал в карман.

Дальше все было, как обычно.

Проснулся Сердюк от тошноты и серого утреннего света. Главным раздражителем был, конечно, свет — как всегда, казалось, что к нему для дезинфекции подмешана хлорка. Оглядевшись, Сердюк понял, что находится у себя дома, а вчера вечером, по всей видимости, были гости (кто именно, он не помнил). С трудом встав с пола, он снял заляпанные грязью куртку и шапку, вышел в коридор и повесил их на крючок. После этого ему пришла в голову

мысль, что в холодильнике может оказаться пиво — несколько раз в жизни такое действительно случилось. Но когда до холодильника оставалось всего несколько метров, на стене зазвонил телефон. Сердюк снял трубку и попытался сказать „алло“, но даже попытка заговорить была связана с такими страданиями, что вместо этого он простонал в нее что-то вроде „ох-е-е-е“.

— Охэе дзеймас, — бодро повторила трубка. — Господин Сердюк?

— Да, — сказал Сердюк.

— Здравствуйте. Меня зовут Ода Нобунага, и я имел беседу с вами вчера вечером. Точнее, сегодня ночью. Вы были так любезны, что нанесли мне звонок.

— Да, — сказал Сердюк, свободной рукой хватаясь за голову.

— Я обсудил ваше предложение с господином Есицунэ Кавабатой, и он готов принять вас сегодня с целью интервью в три часа дня.

Голос в трубке был незнакомым. Сразу сделалось ясно, что это иностранец — хотя акцента не чувствовалось совершенно, собеседник делал паузы, словно перебирая весь свой лексикон в поисках подходящего слова.

— Весьма благодарен, — сказал Сердюк. — А какое предложение?

— Которое вы вчера сделали. Или сегодня, если точно.

— А-а! — сказал Сердюк, — а-а-а!

— Запишите адрес, — сказал Ода Нобунага.

— Сейчас, — сказал Сердюк, — секунду. Ручку возьму.

— А почему у вас блокнота с ручкой возле телефона нет? — с явным раздражением в голосе спросил Нобунага. — Деловому человеку надо иметь.

— Записываю.

— Метро „Нагорная“, выход направо, сразу будет железный забор. Там будет дом. Вход во дворе. Точный адрес — Пятихлебный переулок, дом пять. Там будет это... Табличка.

— Спасибо.

— У меня все. Как говорится, саенара, — сказал Нобунага и повесил трубку.

Пива в холодильнике не оказалось.

Поднявшись со станции „Нагорная“ на поверхность земли задолго до назначенного срока, Сердюк сразу же увидел обитый облупленной жестью забор, но не поверил, что это тот самый, о котором говорил господин Нобунага — слишком уж этот забор был неказист и грязен. Некоторое время он ходил по окрестностям и останавливал редких прохожих, спрашивая, где Пятихлебный переулок. Никто, похоже, этого не знал, а может — не говорил: попадались Сердюку в основном медленно плетущиеся куда-то старухи в темном.

Места вокруг были дикие, похожие на заросшие бурьяном остатки разбомбленного в далеком прошлом индустриального района. Из травы кое-где торчало ржавое железо, было много простора и неба, а на горизонте чернела полоса леса. Но несмотря на эти банальные черты, район был очень необычный. Стоило посмотреть на запад, туда, где зеленел забор, и перед глазами открывалась обычная городская панорама. Но стоило посмотреть на восток, и в поле зрения попадало только огромное голое поле, над которым торчало несколько похожих на виселицы фонарей — словно Сердюк попал прямо на секретную границу между постиндустриальной Россией и изначальной Русью.

Район был не из тех, где серьезные иностранные конторы открывают свои офисы, и Сердюк решил,

что это совсем маленькая фирмочка, где работает несколько не приспособленных к жизни японцев (почему-то ему вспомнились крестьяне из „Семи самураев“). Стало ясно, почему они проявили к его пьяному звонку такой интерес, и Сердюк даже ощутил прилив сочувствия и теплоты к этим недалеким людям, не сумевшим, как и он, удобно устроиться в жизни, — и уж, конечно, мучившие его всю дорогу мысли о том, что надо было все-таки побриться, пропали.

Под описание господина Нобунага „там будет дом“ подходило несколько десятков зданий в поле видимости. Сердюк почему-то решил, что ему нужна серая восьмизэтажка со стеклянным гастрономом на первом этаже. И действительно, походив минуты три по ее двору, он заметил на стене латунный квадратик с надписью „ТОРГОВЫЙ ДОМ ТАЙРА“ и крошечную кнопку звонка, с первого взгляда незаметную среди неровностей стены. Примерно в метре от таблички на огромных петлях висела грубая железная дверь, крашенная зеленой краской. Сердюк растерянно поглядел по сторонам. Кроме этой двери, табличка могла относиться разве что к чугунному люку в асфальте. Дождавшись, когда часы покажут без двух минут три, Сердюк позвонил.

Дверь открылась сразу же. За ней стоял неизбежный амбал в камуфляже с черной резиновой палкой в руках. Сердюк кивнул ему, открыл было рот, чтобы объяснить причину своего визита, и так и замер с открытым ртом.

За дверью был небольшой вестибюль, в котором стояли стол с телефоном и стул, а на стене этого вестибюля было огромное панно с изображением уходящего в бесконечность коридора. Вглядевшись в это панно как следует, Сердюк понял, что это никакое не панно, а настоящий коридор, начинающийся за стеклянной дверью. Коридор был очень стран-

ным — с висящими на стенах фонарями, сквозь тонкую рисовую бумагу которых просвечивали дрожащие огоньки, и полом, посыпанным толстым слоем желтого песка, поверх которого, одна к одной, лежали узкие циновки из расщепленного бамбука, соединяясь в нечто вроде ковровой дорожки. На фонарях ярко-красной краской был нарисован тот же знак, что и на объявлении в газете — цветок с четырьмя ромбическими лепестками (боковые были длинней), заключенными в овал. Вел коридор не в бесконечность, как показалось сначала, а просто плавно (Сердюк первый раз видел такую планировку в московском доме) поворачивал вправо, и его конец оставался невидимым.

— Чего надо? — нарушил тишину охранник.

— У меня встреча с господином Кавабатой, — придя в себя, сказал Сердюк, — в час.

— А. Ну так заходите скорее. А то они не любят, когда дверь открыта подолгу.

Сердюк шагнул внутрь, и охранник, закрыв дверь, повернул похожую на вентиль рукоять массивного замка.

— Разувайтесь, пожалуйста, — сказал он. — Вон гэта.

— Что? — не понял Сердюк.

— Гэта. Ну, тапки ихние. Внутри только в них ходят. Порядок такой.

Сердюк увидел на полу несколько пар деревянной обуви, на вид очень громоздкой и неудобной — это было что-то вроде высокой колодки с раздваивающейся веревочной лямкой, причем надеть такую колодку можно было только на босую ногу, потому что лямка вдевалась между большим и средним пальцами ноги. У него мелькнула мысль, что охранник шутит, но он заметил в углу несколько пар черных лаковых туфель, из которых торчали носки. Сев на невысокую лавку, он принялся разуваться. Когда

процедура была закончена, он поднялся и отметил, что гэта сделали его сантиметров на десять выше.

— Теперь можно? — спросил он.

— Можно. Берите фонарь и вперед по коридору. Комната номер три.

— Зачем фонарь? — удивился Сердюк.

— Принято так, — сказал охранник, снимая со стены один из фонарей и протягивая его Сердюку. — Вы ведь галстук тоже не от холода носите.

Сердюк, после многолетнего перерыва повязавший этим утром галстук, нашел этот аргумент достаточно убедительным. К тому же ему очень хотелось заглянуть внутрь фонаря, чтобы выяснить, настоящий там огонек или нет.

— Комната номер три, — повторил охранник, — только цифры там японские. Это где три черточки одна над другой. Ну, знаете — как триграмма „небо“.

— А, — сказал Сердюк, — понял.

— И ни в коем случае не стучите. Просто дайте понять, что вы за дверью — кашляните там, или скажите что-нибудь. И ждите, что вам скажут.

По-журавлиному высоко поднимая ноги и держа фонарь в вытянутой руке, Сердюк пошел вперед. Идти было очень неудобно, циновки негодуяще скрипели под ногами, и Сердюк даже покраснел, представив себе, как охранник тихо смеется, глядя ему вслед. За плавным поворотом оказалась небольшая полутемная зала с черными балками под потолком. Сначала Сердюк не увидел вокруг никаких дверей, а потом понял, что высокие стенные панели и есть двери, которые сдвигаются вбок. На одной из этих панелей висел листок бумаги. Сердюк поднес к нему фонарь, увидел три нарисованные тушью черточки и понял, что это и есть комната номер три.

Из-за двери доносилась тихая музыка. Играл незнакомый струнный инструмент — тембр звуков был необычным, а мелодия, построенная на странных и,

как отчего-то показалось Сердюку, древних созвучиях, была печальной и протяжной. Сердюк кашлянул. Никакого ответа из-за стены не последовало. Он кашлянул еще раз, громче, и подумал, что если ему придется кашлять еще раз, то его, скорее всего, вырвет.

— Войдите, — сказал голос из-за двери.

Сердюк двинул перегородку влево и увидел комнату, пол которой был застелен простыми темными циновками. В углу комнаты, поджав под себя ноги, сидел на россыпи разноцветных подушечек босой человек в темном костюме. Он играл на странном инструменте, похожем на длинную лютню с небольшим резонатором, и на появление Сердюка не отреагировал никак. Его лицо трудно было назвать монголоидным — скорее в его чертах было что-то южное (мысли Сердюка даже проехали по вполне конкретному маршруту — он вспомнил о своей прошлогодней поездке в Ростов-на-Дону). На полу комнаты стояли одноконфорочная электрическая плитка с объемистой кастрюлей и черный обтекаемый факс, провода от которого уходили в дыру в стене. Сердюк вошел в комнату, поставил фонарь на пол и закрыл за собой дверь.

Человек в костюме последний раз тронул струну, поднял вверх воспаленные глаза, провожая навсегда уходящую из мира ноту, и аккуратно положил свой инструмент на пол. Его движения были медленными и очень бережными, словно он боялся оскорбить не ловким или резким жестом кого-то, присутствующего в комнате, но невидимого Сердюку. Вынув из нагрудного кармана пиджака платок, он смахнул с глаз слезы и повернулся к Сердюку. Некоторое время они смотрели друг на друга.

— Здравствуйте. Моя фамилия Сердюк.

— Кавабата, — сказал человек.

Он вскочил на ноги, быстро подошел к Сердюку и взял его за руку. Его ладонь была холодной и сухой.

— Прошу вас, — сказал он и буквально потащил Сердюка к россыпи подушек. — Садитесь. Прошу вас, садитесь.

Сердюк сел.

— Я... — начал было он, но Кавабата перебил:

— Ничего не хочу слышать. У нас в Японии есть традиция, очень древняя традиция, которая до сих пор жива — если к вам в дом входит человек с фонарем в руках, а на ногах у него гэта, это значит, что на улице ночь и непогода, и первое, что вы должны сделать, это налить ему подогретого сакэ.

С этими словами Кавабата выдернул из кастрюли толстую бутылку с коротким горлышком. Она была закрыта герметичной пробкой, а к горлышку была привязана длинная нить, за которую Кавабата ее и достал. Откуда-то появились два маленьких фарфоровых стаканчика с неприличными рисунками — на них красавицы с неестественно высокими бровями замысловато отдавались серьезного вида мужчинам в маленьких синих шапочках. Кавабата наполнил их до краев.

— Прошу, — сказал он и протянул Сердюку один из стаканчиков.

Сердюк опрокинул содержимое в рот. Жидкость больше всего напоминала водку, разбавленную рисовым отваром. Кроме того, она была горячей — возможно, по этой причине Сердюка вырвало прямо на циновки сразу же после того, как он ее проглотил. Охватившие его стыд и отвращение к себе были такими, что он просто взял и закрыл глаза.

— О, — вежливо сказал Кавабата, — на улице, должно быть, настоящая буря.

Он хлопнул в ладоши.

Сердюк приоткрыл глаза. В комнате появились две девушки, одетые очень похоже на женщин, изображенных на стаканах. Больше того, у них были такие же высокие брови — приглядевшись, Сердюк

понял, что они нарисованы тушью на лбу. Словом, сходство было таким полным, что мысли Сердюка не приняли вольного оборота только из-за пережитого несколько секунд назад позора. Девушки быстро свернули испачканные циновки, постелили на их место свежие и исчезли за дверью — но не за той, через которую вошел Сердюк, а за другой; оказалось, что еще одна стенная панель сдвигается в сторону.

— Прошу, — сказал Кавабата.

Сердюк поднял взгляд. Японец протягивал ему новый стаканчик сакэ. Сердюк жалко улыбнулся и пожал плечами.

— На этот раз, — сказал Кавабата, — все будет хорошо.

Сердюк выпил. Действительно, на этот раз все вышло иначе — сакэ плавно проскользнуло внутрь и исцеляющим теплом растеклось по телу.

— Понимаете, в чем дело, — сказал он, — я...

— Сперва еще одну, — сказал Кавабата.

На полу звякнул факс, и из него полез густо покрытый нероглифами лист бумаги. Кавабата дождался, когда бумага остановится, вырвал лист из машины и погрузился в его изучение, совершенно забыв про Сердюка.

Сердюк огляделся по сторонам. Стены комнаты были обшиты одинаковыми деревянными панелями, и теперь, когда сакэ сняло последствия вчерашнего приступа ностальгии, каждая из них стала казаться дверью, ведущей в неизвестное. Впрочем, одна из панелей, на которой висела гравюра, дверью явно не была.

Как и все в офисе господина Кавабаты, гравюра была странной. Она представляла собой огромный лист бумаги, в центре которого постепенно как бы сгущалась картинка, состоящая из небрежно намеченных, но точных линий. Она изображала нагого мужчину (его фигура была сильно стилизована, но о

том, что это мужчина, можно было догадаться по реалистично воспроизведенному половому органу), стоящего на краю обрыва. На шее мужчины висело несколько тяжелых разнокалиберных гирь, а в руках было по мечу; его глаза были завязаны белой тряпкой, а под ногами начинался крутой обрыв. Было еще несколько мелких деталей — садящееся в туман солнце, птицы в небе и крыша далекой пагоды, но, несмотря на эти романтические отступления, главным, что оставалось в душе от взгляда на гравюру, была безысходность.

— Это наш национальный художник Акэти Мицухидэ, — сказал Кавабата, — тот самый, что отравился недавно рыбой фугу. Как бы вы определили тему этой гравюры?

Глаза Сердюка скользнули по изображенному на рисунке человеку, поднявшись от оголенного члена к висающим на груди гилям.

— Ну да, конечно, — сказал он неожиданно для себя. — Он и гири. То есть „он“ и „гири“.

Кавабата хлопнул в ладоши и рассмеялся.

— Еще сакэ, — сказал он.

— Вы знаете, — ответил Сердюк, — я бы с удовольствием, но, может быть, сначала все-таки интервью? Я быстро пьянею.

— Интервью уже закончилось, — сказал Кавабата, наливая в стаканчики. — Видите ли, в чем дело — наша фирма существует очень давно, так давно, что если я скажу вам, вы, боюсь, не поверите. Главное для нас — это традиции. К нам, если позволите мне выразиться фигурально, можно попасть только через очень узкую дверь, и вы только что сделали сквозь нее уверенный шаг. Поздравляю.

— Какая дверь? — спросил Сердюк.

Кавабата указал на гравюру.

— Вот эта, — сказал он. — Единственная, которая ведет в „Тайра Инкорпорейтед“.

— Не очень понимаю, — сказал Сердюк. — Насколько я себе представляю, вы занимаетесь торговлей, и для вас...

Кавабата поднял ладонь.

— Я часто с ужасом замечаю, — сказал он, — что пол-России успело заразиться отвратительным западным прагматизмом. Конечно, я не имею в виду вас, но у меня есть все основания для таких слов.

— А что плохого в прагматизме? — спросил Сердюк.

— В древние времена, — сказал Кавабата, — в нашей стране чиновников назначали на важные посты после экзаменов, на которых они писали сочинения о прекрасном. И это был очень мудрый принцип — ведь если человек понимает в том, что неизмеримо выше всех этих бюрократических манипуляций, то уж с ними-то он, без сомнения, справится. Если ваш ум с быстротой молнии проник в тайну зашифрованной в рисунке древней аллегии, то неужели для вас составляет какую-нибудь проблему все эти прайс-листы и накладные? Никогда. Больше того, после вашего ответа я почти за честь выпить с вами. Прошу вас, не отказывайтесь.

Выпив еще одну, Сердюк неожиданно для себя провалился в воспоминания о вчерашнем дне — оказывается, с Пушкинской площади он поехал на Чистые Пруды. Правда, было не очень ясно, зачем — в памяти остался только памятник Грибоедову, видный под каким-то странным ракурсом, словно он смотрел на него из-под лавки.

— Да, — задумчиво сказал Кавабата, — а ведь, в сущности, этот рисунок страшен. От животных нас отличают только те правила и ритуалы, о которых мы договорились друг с другом. Нарушить их — хуже, чем умереть, потому что только они отделяют нас от бездны хаоса, начинающейся прямо у наших ног — если, конечно, снять повязку с глаз.

Он указал пальцем на гравюру.

— Но у нас в Японии есть и такая традиция — иногда на секунду отступаться глубоко внутри себя от всех традиций, отречься, как говорят, от Будды и Мары, чтобы ощутить непередаваемый вкус реальности. И эта секунда иногда рождает удивительные творения искусства...

Кавабата еще раз посмотрел на человека с мечами, стоящего над обрывом, и вздохнул.

— Да, — сказал Сердюк. — У нас сейчас тоже такая жизнь, что человек от всего отстуется. А традиции... Ну как, некоторые ходят во всякие там церкви, но в основном человек, конечно, посмотрит телевизор, а потом о деньгах думает.

Он почувствовал, что сильно опустил планку разговора, и надо срочно сказать что-нибудь умное.

— Наверно, — продолжил он, протягивая Кавабате пустой стакан, — это происходит потому, что по своей природе российский человек не склонен к метафизическому поиску и довольствуется тем замешанным на алкоголизме безбожием, которое, если честно сказать, и есть наша главная духовная традиция.

Кавабата налил Сердюку и себе.

— Здесь я позволю себе не вполне согласиться с вами, — сказал он. — И вот почему. Недавно я приобрел для нашей коллекции русского религиозного искусства...

— Вы собираете? — спросил Сердюк.

— Да, — сказал Кавабата, вставая с пола и подходя к одному из стеллажей. — Это тоже один из принципов нашей фирмы. Мы всегда стараемся проникнуть глубоко в душу того народа, с которым ведем дела. Дело здесь не в том, что мы хотим извлечь благодаря этому какую-то дополнительную прибыль, поняв... Как это по-русски? Ментальность, да?

Сердюк кивнул.

— Нет, — продолжал Кавабата, открывая какую-то большую папку. — Дело здесь скорее в желании возвысить до искусства даже самую далекую от него деятельность. Понимаете ли, если вы продаете партию пулеметов, так сказать, в пустоту, из которой вам на счет поступают неизвестно как заработанные деньги, то вы мало чем отличаетесь от кассового аппарата. Но если вы продаете ту же партию пулеметов людям, про которых вам известно, что каждый раз, когда они убивают других, они должны каяться перед тремя ипостасями создателя этого мира, то простой акт продажи возвышается до искусства и приобретает совсем другое качество. Не для них, конечно — для вас. Вы в гармонии, вы в единстве со вселенной, в которой вы действуете, и ваша подпись под контрактом приобретает такой же экзистенциальный статус... Я правильно говорю это по-русски?

Сердюк кивнул.

— Такой же экзистенциальный статус, какой имеют восход солнца, морской прилив или колебание травинки под ветром... О чем это я говорил вначале?

— О вашей коллекции.

— А, ну да. Вот, не угодно ли взглянуть?

Он протянул Сердюку большой лист, покрытый тонким слоем защитной кальки.

— Только прошу вас, осторожнее.

Сердюк взял лист в руки. Это был кусок пыльного сероватого картона, судя по всему, довольно старого. На нем черной краской сквозь трафарет было косо отпечатано слово „Бог“.

— Что это?

— Это русская концептуальная икона начала века, — сказал Кавабата. — Работа Давида Бурлюка. Слышали про такого?

— Что-то слышал.

— Он, как ни странно, не очень известен в России, — сказал Кавабата. — Но это не важно. Вы только взгляните!

Сердюк еще раз посмотрел на лист. Буквы были рассечены белыми линиями, оставшимися, видимо, от скреплявших трафарет полосок бумаги. Слово было напечатано грубо, и вокруг него застыли пятна краски — все вместе странно напоминало след сапога.

Сердюк поймал взгляд Кавабаты и протянул что-то вроде „Да-аа“.

— Сколько здесь смыслов, — продолжал Кавабата. — Подождите, молчите — я попробую сказать о том, что вижу сам, а если упущу что-нибудь, вы добавите. Хорошо?

Сердюк кивнул.

— Во-первых, — сказал Кавабата, — сам факт того, что слово „Бог“ напечатано сквозь трафарет. Именно так оно и проникает в сознание человека в детстве — как трафаретный отпечаток, такой же, как и в мириадах других умов. Причем здесь многое зависит от поверхности, на которую оно ложится — если бумага неровная и шероховатая, то отпечаток на ней будет нечетким, а если там уже есть какие-то другие слова, то даже не ясно, что именно останется на бумаге в итоге. Поэтому и говорят, что Бог у каждого свой. Кроме того, поглядите на великолепную грубость этих букв — их углы просто царапают взгляд. Трудно поверить, что кому-то может прийти в голову, будто это трехбуквенное слово и есть источник вечной любви и милости, отблеск которых делает жизнь в этом мире отчасти возможной. Но, с другой стороны, этот отпечаток, больше всего похожий на тавро, которым метят скот, и есть то единственное, на что остается уповать человеку в жизни. Согласны?

— Да, — сказал Сердюк.

— Но если бы все ограничивалось только этим, то в работе, которую вы держите в руках, не было бы ничего особенно выдающегося — весь спектр этих идей можно встретить на любой атеистической лекции в сельском клубе. Но здесь есть одна маленькая деталь, которая делает эту икону действительно гениальной, которая ставит ее — я не боюсь этих слов — выше „Троицы“ Рублева. Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю, но, прошу вас, дайте мне высказать это самому.

Кавабата сделал торжественную паузу.

— Я, конечно, имею в виду полоски пустоты, оставшиеся от трафарета. Их не составило бы труда закрасить, но тогда эта работа не была бы тем, чем она является сейчас. Именно так. Человек начинает глядеть на это слово, от видимости смысла переходит к видимой форме и вдруг замечает пустоты, которые не заполнены ничем — и там-то, в этом нигде, единственно и можно встретить то, на что тщатся указать эти огромные уродливые буквы, потому что слово „Бог“ указывает на то, на что указать нельзя. Это почти по Экхарту или... Впрочем, неважно. Много кто пытался сказать об этом словами. Хотя бы Лао-цзы. Помните — про колесо и спицы? Или про сосуд, ценность которого определяется только его внутренней пустотой? А если я скажу, что любое слово — такой же сосуд, и все зависит от того, сколько пустоты оно может вместить? Неужели вы станете спорить?

— Нет, — сказал Сердюк.

Кавабата утер со лба капли благородного пота.

— Теперь поглядите еще раз на эту гравюру на стене, — сказал он.

— Да, — сказал Сердюк.

— Видите, как она построена? Сегмент реальности, где помещаются „он“ и „гири“, расположен в самом центре, а вокруг него — пустота, из которой он

возникает и в которую он уходит. Мы в Японии не беспокоим Вселенную ненужными мыслями по поводу причины ее возникновения. Мы не обременяем Бога понятием „Бог“. Но, несмотря на это, пустота на гравюре — та же самая, которую вы видите на иконе Бурлюка. Не правда ли, значимое совпадение?

— Конечно, — протягивая пустой стаканчик Кавабате, сказал Сердюк.

— Но вы не найдете этой пустоты в западной религиозной живописи, — наливая, сказал Кавабата. — Там все заполнено материальными объектами — какими-то портъерами, складками, тазиками с кровью и еще Бог знает чем. Уникальное виденье реальности, отраженное в этих двух произведениях искусства, объединяет только нас с вами. Поэтому я считаю, что то, что необходимо России на самом деле, — это алхимический брак с Востоком.

— Честное слово, — сказал Сердюк, — вчера вечером как раз об этом...

— Именно с Востоком, — перебил Кавабата, — а не с Западом. Понимаете? В глубине российской души зияет та же пустота, что и в глубине японской. И именно из этой пустоты и возникает мир, возникает каждую секунду. Ваше здоровье.

Кавабата выпил вслед за Сердюком и покрутил в руке пустую бутылку.

— Да, — сказал он, — ценность сосуда, конечно, в пустоте. Однако ценность этого сосуда в последние несколько минут чрезмерно выросла. Нарушается баланс между ценностью и отсутствием ценности, а это нестерпимо. Самое страшное — это когда падает баланс.

— Да, — сказал Сердюк. — Точно. А что, больше нет?

— Можем сходить, — ответил Кавабата и поглядел на часы. — Правда, футбол пропустим...

— Вы увлекаетесь?

— Болею за „Динамо“, — сказал Кавабата и очень по-свойски подмигнул.

В потертой куртке с капюшоном и резиновых сапогах Кавабата полностью потерял сходство с японцем. Теперь он окончательно стал похож на человека, приехавшего из Ростова-на-Дону, — причем мелькали даже догадки, зачем именно, и догадки эти были мрачны.

Впрочем, Сердюк давно знал, что большинство иностранцев, встречающихся на московских улицах, на самом деле никакие не иностранцы, а так, мелкая торговая шантрапа, укравшая немного денег и отоварившаяся в магазине „Калинка-Стокман“. Настоящие иностранцы, которых в Москве развелось невероятное количество, в целях безопасности уже много лет одевались так, чтобы ничем не отличаться от обычных прохожих. Представление о том, как выглядит обычный московский прохожий, большая их часть получала, понятное дело, из передач Си-Эн-Эн. А Си-Эн-Эн, стараясь показать москвичей, бредущих за призраком демократии по выжженной пустыне реформ, в девяноста случаях из ста давало крупные планы переодетых москвичами сотрудников американского посольства, поскольку выглядели они гораздо натуральнее переодетых иностранцами москвичей. Так что несмотря на сходство Кавабаты с приезжим из Ростова — а, точнее, именно благодаря этому сходству, и особенно тому, что он не особенно походил на японца лицом, сразу делалось ясно, что это чистокровный японец, вышедший на минуту из своего офиса в московский сумрак.

Кроме того, Кавабата вел Сердюка по одному из тех маршрутов, которыми пользуются только иностранцы — нырял в темные проходные дворы, сквозные подъезды и дыры в проволочных заборах, так

что Сердюк через несколько минут полностью потерял ориентацию и во всем стал полагаться на своего стремительного спутника. Довольно скоро они вышли на темную кривую улицу, где стояло несколько ларьков, и Сердюк понял, что они прибыли к месту назначения.

— Что будем брать? — спросил он.

— Я думаю, литр сакэ, — сказал Кавабата. — Будет в самый раз. Ну и чего-нибудь из еды.

— Сакэ? — удивленно спросил Сердюк. — Разве тут есть сакэ?

— Тут как раз есть, — сказал Кавабата. — В Москве всего три палатки, где можно взять нормальное сакэ. Почему, по-вашему, мы здесь офис сделали?

„Шутит“, — подумал Сердюк и поглядел на витрину. Набор был самым обычным, за исключением того, что среди бутылок стояло несколько незнакомого вида литрух с этикетками, густо покрытыми иероглифами.

— Черного сакэ, — сказал Кавабата в прорезь ларька. — Две. Да.

Сердюк получил одну бутылку и сунул ее в карман. Другую оставил у себя Кавабата.

— Теперь еще одно дело, — сказал Кавабата, — совсем ненадолго.

Они пошли вдоль линии ларьков и скоро оказались возле небольшого жестяного павильона с дверью, усеянной дырами, — не то от пуль, не то от гвоздей, не то, как это обычно бывает, от того и другого вместе. Оба окна павильона были забраны традиционными декоративными решетками, состоящими из согнутого полукругом прута в нижнем углу и расходящихся от него во все стороны ржавых лучей. Над дверью висела вывеска со словами „Товары для Дона“ или, может быть, „для дома“ — сомнительная буква была чем-то средним между „м“ и „н“.

Внутри павильон выглядел так же, как выглядят все подобные павильоны — на полках стояли банки с эмалью и олифой, висели образцы кафельных плиток, отдельный прилавок был завален сверкающими сейфовыми замками разных моделей. Но в углу, на перевернутой пластмассовой ванне, стояло нечто такое, чего Сердюк никогда раньше не видел.

Это была черная кираса, сверкающая лаком и мелкими золотыми инкрустациями. Рядом с ней лежал рогатый шлем, кончающийся веером закрывающих шею пластин, тоже покрытых черным лаком. А на лбу шлема сверкала серебряная пятиконечная звезда.

На стене возле кирасы висело несколько разной длины мечей и большой несимметричный лук.

Пока Сердюк разглядывал весь этот арсенал, Кавабата углубился в тихий разговор с продавцом. Говорили они, кажется, о каких-то стрелах. Потом Кавабата попросил снять со стены длинный меч в украшенных белыми ромбами ножнах. Вытянув его наполовину из ножен, он ногтем попробовал лезвие (Сердюк заметил, что Кавабата обращается с мечом очень осторожно и, даже проверяя острие, старается не коснуться лезвия пальцами). Сердюку показалось, что Кавабата совершенно забыл о его существовании, и он решил о себе напомнить.

— Скажите, — обратился он к Кавабате, — а что может значить эта звезда на шлеме? Я полагаю, это какой-то символ?

— О да, — сказал Кавабата. — Символ, и очень древний. Это одна из эмблем Ордена Октябрьской Звезды.

Сердюк хмыкнул.

— Что за орден? — спросил он. — Давали дояркам древности?

Кавабата посмотрел на него долгим взглядом, и угол его рта приподнялся в ответной усмешке.

— Нет, — сказал он. — Этот орден никому никогда не давали. Просто некоторые люди вдруг понимали, что уже могут его носить. Еще точнее, всегда могли.

— А за что он полагается?

— Нет ничего такого, за что он мог бы полагаться.

— Бывают же на свете идиоты, — с чувством сказал Сердюк.

Кавабата резко задвинул меч в ножны. В воздухе мгновенно сгустилась неловкость.

— А вы шутник, — сказал Сердюк, инстинктивно стараясь ее загладить. — Еще бы сказали — орден трудового красного знамени.

— Про такой орден я не слышал, — сказал Кавабата. — Орден желтого флага действительно существует, но это совсем из другой области. И почему вы считаете, что я шутник? Я редко шучу. А когда шучу, предупреждаю об этом тихим смехом.

— Простите, если я сказал что-то не то, — сказал Сердюк. — Я просто пьян.

Кавабата пожал плечами и отдал меч продавцу.

— Будете братъ? — спросил продавец.

— Не этот, — сказал Кавабата. — Заверните вон тот, малый.

Пока Кавабата расплачивался, Сердюк вышел на улицу. У него было отвратительное чувство, что он сделал какую-то непоправимую глупость, но, поглядев несколько раз на небо, в котором уже были видны влажные весенние звезды, он успокоился. Потом ему на глаза опять попались растопыренные прутья-лучи с решеток на окнах, и он с грустью подумал, что Россия, в сущности, тоже страна восходящего солнца — хотя бы потому, что оно над ней так ни разу по-настоящему и не взошло до конца. Он решил, что можно будет поделиться этим наблюдением с Кавабатой, но, когда тот вышел из павильона, дер-

жа под мышкой узкий сверток, эта мысль уже успела забыться, а ей на смену пришло всепоглощающее желание выпить.

Кавабата, казалось, понял все с полувзгляда. Отойдя на несколько метров от двери, он положил сверток рядом с мокрым черным деревом, росшим из дыры в асфальте, и сказал:

— Вы, конечно, знаете, что мы в Японии пьем сакэ разогретым. И, разумеется, никто никогда не будет пить его прямо из бутылки — это полностью противоречит ритуалу. А пить на улице — это просто позор. Но есть один древний способ, который позволяет это сделать, не теряя лица. Он называется „всадник на привале“. Еще можно перевести как „отдых всадника“.

Не отрывая глаз от Сердюка, Кавабата вынул из кармана бутылку.

— По преданию, — продолжал он, — великий поэт Аривару Нарихира был в свое время отправлен охотничьим посланцем в провинцию Исэ. Путь туда был неблизок, а ездили тогда верхом, и дорога занимала много дней. Было лето. Нарихира ехал в компании друзей, и его возвышенная душа была полна печали и любви. Когда всадники уставали, они слезали с коней и подкрепляли свои силы простой едой и несколькими глотками сакэ. Чтобы не привлечь разбойников, они не разводили огня и пили его холодным. И при этом они читали друг другу дивные стихи о том, что видели вокруг, и о том, что лежало у них на сердце. А потом они снова отправлялись в путь...

Кавабата открыл пробку.

— Оттуда и пошла эта традиция. Когда пьешь сакэ таким образом, полагается думать о мужах древности, а потом мысли эти должны постепенно перетечь в светлую печаль, которая рождается в вашем сердце, когда вы одновременно осознаете зыб-

кость этого мира и захвачены его красотой. Давайте же вместе...

— С удовольствием, — сказал Сердюк и протянул руку за бутылкой.

— Не так сразу, — сказал Кавабата, отдергивая бутылку. — Вы первый раз участвуете в этом ритуале, так что позвольте объяснить вам последовательность действий, из которых он состоит, и их значение. Делайте как я, а я буду объяснять вам символический смысл того, что происходит.

Кавабата поставил бутылку рядом со свертком.

— Сначала полагается привязать коня, — сказал он.

Он подергал нижнюю ветку дерева, проверяя ее на прочность, а потом покрутил вокруг нее руками, словно обматывая ее веревкой. Сердюк понял, что ему следует сделать то же самое. Подняв руки к ветке повыше, он примерно повторил манипуляции Кавабаты под его внимательным взглядом.

— Нет, — сказал Кавабата, — ему же неудобно.

— Кому? — спросил Сердюк.

— Вашему коню. Вы привязали его слишком высоко. Как же он будет щипать траву? Ведь это не только ваш отдых, но и отдых вашего верного спутника.

На лице Сердюка отразилось недоумение, и Кавабата вздохнул.

— Поймите, — терпеливо сказал он, — совершая этот ритуал, мы как бы переносимся в эпоху Хэйан. Сейчас мы едем в провинцию Исэ, и вокруг — лето. Умоляю вас, перевяжите узду.

Сердюк решил, что умнее будет не спорить. Покрутив руками над верхней веткой, он затем поводил ими над нижней.

— Совсем другое дело, — сказал Кавабата. — А теперь полагается сложить стихи о том, что вы видите вокруг.

Он закрыл глаза, несколько секунд помолчал, а потом произнес длинную гортанную фразу, в которой Сердюк не уловил ни ритма, ни рифмы.

— Это примерно о том, о чем мы говорили, — пояснил он. — О том, как невидимые кони щиплют невидимую траву, и еще о том, что это куда как реальней, чем этот асфальт, которого, по сути, нет. Но в целом все построено на игре слов. Теперь ваша очередь.

Сердюк почувствовал себя тягостно.

— Не знаю даже, что сказать, — сказал он извиняющимся тоном. — Я не пишу стихов и не люблю их. Да и к чему слова, когда на небе звезды?

— О, — воскликнул Кавабата, — великолепно! Великолепно! Как вы правы! Всего тридцать два слога, но стоят целой книги!

Он отошел на шаг и дважды поклонился.

— И как хорошо, что я первый прочел стихи! — сказал он. — После вас ни за что не решился бы! А где вы научились слагать танка?

— Так, — уклончиво сказал Сердюк.

Кавабата протянул ему бутылку. Сердюк сделал несколько больших глотков и вернул ее японцу. Кавабата тоже припал к горлышку — пил он мелкими глотками, отведя свободную руку за спину — видимо, в этом тоже был какой-то сакральный смысл, но Сердюк на всякий случай воздержался от вопросов. Пока Кавабата пил, он закурил сигарету. После двух или трех затяжек к нему вернулась уверенность в себе, и даже стало немного стыдно перед собой за ту робость, в которую он только что впал.

— И, кстати, насчет коня, — сказал он. — Я не то чтобы высоко его привязал. Просто в последнее время я стал быстро уставать и делаю привалы дня на три каждый. Потому у него длинная узда. А то объест всю траву за первый день...

Лицо Кавабаты изменилось. Еще раз поклонившись, он отошел в сторону и принялся расстегивать на животе свою куртку.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Сердюк.

— Мне очень стыдно, — сказал Кавабата. — Претерпев такой позор, я не могу жить дальше.

Он сел на асфальт, развернул сверток, вытащил оттуда меч и обнажил лезвие, по которому скользнул лиловый зайчик от горевшего над их головами неонового фонаря. Сердюк наконец понял, что Кавабата собирается сделать, и успел схватить его за руки.

— Прошу вас, перестаньте, — сказал он с совершенно искренним испугом. — Стоит ли придавать такое значение пустякам?

— Сумеете ли вы простить меня? — с чувством спросил Кавабата, вставая на ноги.

— Я умоляю вас забыть это глупое недоразумение. И, кроме того, любовь к животным — это благородное чувство. Стоит ли стыдиться его?

Кавабата минуту подумал, и морщины на его лбу разгладились.

— Вы правы, — сказал он. — Мною, действительно, двигало не желание показать, что я в чем-то разбираюсь лучше вас, а сострадание к усталому животному. Здесь и правда нет ничего постыдного — если мне и случилось сказать глупость, я не потерял лица.

Он спрятал меч обратно в ножны, покачнулся и снова припал к бутылке.

— Если между двумя благородными мужами и возникает какое-нибудь мелкое недоразумение, разве ж оно не рассыпется в прах, если оба они направят на него острия своих умов? — спросил он, передавая бутылку Сердюку.

Сердюк допил остаток.

— Конечно рассыпется, — сказал он. — Ясное дело.

Кавабата поднял голову и мечтательно поглядел в небо.

— К чему слова, когда на небе звезды? — продекламировал он. — Ах, как хорошо. Вы знаете, мне очень хочется отметить этот удивительный момент каким-нибудь жестом. Не отпустить ли нам наших коней? Пусть они пасутся на этой прекрасной равнине, а по ночам уходят в горы. Ведь они заслужили свободу?

— Вы очень сердечный человек, — сказал Сердюк.

Нетвердо шагая, Кавабата подошел к дереву, выхватил меч и почти невидимым движением рубанул по нижней ветке. Она повалилась на асфальт. Кавабата замахал руками и громко закричал что-то нечленораздельное — Сердюк понял, что он отгонит коней. Потом Кавабата вернулся, поднял бутылку и разочарованно вылил из нее на асфальт несколько оставшихся капель.

— Становится холодно, — заметил Сердюк, оглядываясь по сторонам и чувствуя инстинктом, что еще чуть-чуть, и из сырого московского воздуха сойдет милицейский патруль. — Не вернуться ли нам в офис?

— Конечно, — сказал Кавабата, — конечно. Там и пожрем.

Обратная дорога не запомнилась Сердюку совершенно. Он пришел в себя только в той самой комнате, откуда началось их путешествие. Они с Кавабатою сидели на полу и ели лапшу из глубоких чашек. Несмотря на то что новая бутылка уже была наполовину пуста, Сердюк заметил, что совершенно трезв и находится в приподнятом расположении духа. Видимо, у Кавабаты тоже было хорошее настроение, потому что он негромко напевал:

— А маладо-ва тюнагона несут с разбитой головой...

При этом он помахивал в такт палочками для еды, отчего тонкие вермишельные змейки разлетались во все стороны по комнате. Некоторые из них падали на Сердюка, но обидным это не казалось.

Доев, Кавабата отодвинул чашку и повернулся к Сердюку.

— А вот скажите, — заговорил он, — чего хочет человек, вернувшийся домой из опасного путешествия, после того, как он утолит жажду и голод?

— Не знаю, — сказал Сердюк. — У нас обычно телевизор включают.

— Не-е-е, — сказал Кавабата. — Мы в Японии производим лучшие телевизоры в мире, но это не мешает нам осознавать, что телевизор — это просто маленькое прозрачное окошко в трубе духовного мусоропровода. Я не имел в виду тех несчастных, которые всю жизнь загипнотизированно смотрят на бесконечный поток помоев, ощущая себя живыми только тогда, когда узнают банку от знакомых консервов. Речь идет о тех людях, которые достойны упоминания в нашей беседе.

Сердюк пожал плечами.

— Ничего в голову не приходит, — сказал он.

Кавабата сузил глаза, подвинулся к Сердюку, улыбнулся и на секунду действительно стал похож на хитрого японца.

— А помните, совсем недавно, когда мы отпустили коней, переправились через реку Тэндзин и побрели к воротам Расемон, вы говорили о тепле другого тела, лежащего рядом? Разве это не то, к чему устремлялась в тот миг ваша душа?

Сердюк вздрогнул.

„Голубой, — подумал он. — Как я только сразу не понял?“

Кавабата пододвинулся еще ближе.

— Ведь это одно из тех немногих естественных чувств, которые до сих пор может испытать человек. И потом, мы же согласились, что России необходим алхимический брак с Востоком, разве не так? А?

— Необходим, — внутренне поджимаясь, сказал Сердюк. — Конечно. Как раз вчера про это думал.

— Хорошо, — сказал Кавабата. — Но ведь не бывает ничего, происходящего с народами и странами, что не повторялось бы в форме символа в жизни каждого из людей, живущих в этих странах и составляющих эти народы. Россия — это ведь и есть вы. Так что если ваши слова искренни, а иного я, разумеется, допустить не могу, то давайте совершим этот ритуал немедленно. Подкрепим, так сказать, наши слова и мысли символическим слиянием начал...

Кавабата наклонился и подмигнул.

— Кроме того, нам ведь придется работать вместе, а ничто так не сближает мужчин, как...

Он еще раз подмигнул и улыбнулся. Сердюк механически осклабился в ответ и отметил, что во рту у Кавабаты не хватает одного зуба. Впрочем, гораздо более существенным казалось другое: во-первых, Сердюк вспомнил об угрозе СПИДа, а, во-вторых, подумал, что на нем не очень свежее белье. Кавабата встал, подошел к шкафу, порылся в нем и кинул Сердюку какую-то тряпку. Это была синяя шапочка, точно такая же, как на головах у нарисованных на стаканчиках для сакэ мужчин. Надев вторую шапочку себе на голову, Кавабата жестом пригласил Сердюка сделать то же самое и хлопнул в ладоши.

Тотчас одна из панелей в стене отъехала в сторону, и Сердюк услышал звуки довольно дикой музыки. За панелью, в небольшой комнате, скорее похожей на чулан, стояли четыре или пять девушек в длинных разноцветных кимоно, с музыкальными ин-

струментами в руках. В первый момент Сердюк подумал, что на них не кимоно, а скорее какие-то длинные, плохо скроенные халаты, перемотанные в талии полотенцами и подвернутые таким образом, чтобы походить на кимоно — но потом решил, что такие халаты, в сущности, и есть кимоно. Покачивая головами из стороны в сторону и улыбаясь, девушки играли — у одной была балалайка, еще одна постукивала расписными ложками из Палеха, а у двух других в руках были маленькие пластмассовые гармошки, издававшие пронзительный жуткий звук — что было совершенно естественно, потому что такие гармошки выпускают вовсе не с той целью, чтобы на них кто-то играл, а исключительно для того, чтобы рождать ощущение счастья на детских утренниках.

Улыбались девушки немного замученно, и слой румян на их щеках был, пожалуй, слишком толстым. В их чертах тоже не было ничего японского — это были обычные русские лица, не особенно даже красивые. Одна из девушек была похожа на бывшую сокурсницу Сердюка по имени Маша.

— Женщина, Семен, — задумчиво сказал Кавабата, — вовсе не создана нам на погибель. В тот дивный миг, когда она обволакивает нас своим телом, мы как бы переносимся в ту счастливую страну, откуда пришли сюда и куда уйдем после смерти. Я люблю женщин и не стыжусь в этом признаться. И каждый раз, когда я сливаюсь с одной из них, я как бы...

Не договорив, он опять хлопнул в ладоши, и девушки, приплясывая и глядя в пустоту перед собой, пошли сомкнутым строем прямо на Сердюка.

— Шестая линия, пятая линия, четвертая линия, и вот наши кони поворачивают влево, и выплывает из тумана вождеденный дворец Судзаку, — говорил Кавабата, застегивая штаны и внимательно глядя на Сердюка.

Сердюк поднял голову с подстилки. Кажется, на несколько минут он впал в сон — Кавабата явно продолжал какой-то рассказ, начала которого Сердюк не помнил. Он поглядел на себя — на нем была только старая застиранная майка с олимпийской символикой; остальные части его одежды были разбросаны вокруг. Девушки, растрепанные, полуголые и бесстрастные, суетились возле кипящего в углу электрочайника. Сердюк принялся быстро одеваться.

— Дальше, у левого крыла дворца, — продолжал Кавабата, — мы делаем поворот вправо, и вот нам навстречу уже несутся ворота, Одаривающие светом... И здесь все зависит от того, какой именно поэтический лад созвучен в это мгновение вашей душе больше всего. Если ваша внутренняя нота проста и радостна, вы скачете прямо. Если мысли ваши далеки от брэнного, то вы поворачиваете влево, и перед вами — ворота Вечного покоя. И, наконец, если вы юны и сумасбродны и душа ваша жаждет наслаждений, вы сворачиваете вправо и проезжаете сквозь ворота Долгой радости.

Ежась под пристальным взглядом Кавабаты, Сердюк натянул штаны, рубашку и пиджак, принялся было заворачивать вокруг шеи галстук, но потом запутался в его узлах, плюнул и спрятал его в карман.

— Но потом, — продолжал Кавабата, торжественно поднимая палец (он казался настолько поглощенным своей речью, что Сердюк понял — стесняться или торопиться нет причины), — потом, через какие бы ворота вы ни въехали в императорский дворец, вы оказываетесь в одном и том же дворе! Только вдумайтесь, какое это откровение для человека, привыкшего читать язык уподоблений! Ведь каким бы путем ни шло ваше сердце, какой бы маршрут ни наметила ваша душа, вы всегда возвращаетесь к одному! Помните, как это сказано — все вещи возвращаются к одному, а к чему возвращается одно? А?

Сердюк поднял глаза от пола.

— Так куда возвращается одно? — переспросил Кавабата, и его глаза сделались двумя щелочками.

— Сюда, сюда, — устало ответил Сердюк.

— О, — сказал Кавабата, — как всегда, глубоко и точно. И вот именно для тех редких всадников, которые поднялись до понимания этой истины, в первом дворе императорского дворца и растут померанец в паре с... С чем бы в паре вы посадили померанец?

Сердюк вздохнул. Из японских растений он знал только одно.

— Как это... Сакура, — сказал он. — Сакура в цвету.

Кавабата шагнул назад и Бог знает в какой раз за этот вечер поклонился. Кажется, на его глазах опять блеснули слезы.

— Да-да, — сказал Кавабата. — Именно так. Померанец и вишня в первом дворе, а дальше, у покоев Летящих ароматов — глициния, у покоев Застывших цветов — слива, у покоев Отраженного света — груша. О, как мне стыдно, что я подвергал вас этому унижительному допросу! Но поверьте, вина тут не моя. Таковы...

Он оглянулся на девушек, сидящих вокруг чайника, и два раза хлопнул в ладоши. Подхватив чайник и свои разбросанные по полу тряпки, девушки быстро исчезли в чулане, откуда появились; перегородка за ними задвинулась, и, кроме, может быть, нескольких белых капель на факсе, ничего уже не напоминало о том костре страсти, который пылал в комнате несколько минут назад.

— Таковы правила нашей фирмы, — закончил Кавабата. — Я уже говорил, что, произнося слово „фирма“, я даю не совсем точный перевод. На самом деле правильное было бы говорить — клан. Но этот термин, если употребить его сразу, способен вызвать

подозрения и страх. Поэтому мы и предпочитаем сначала выяснить, что за человек перед нами, а потом уже углубляемся в детали. И хоть в вашем случае ответ был ясен мне с того самого момента, когда вы прочли это волшебное стихотворение...

Кавабата замер, прикрыл глаза и несколько секунд шевелил губами. Сердюк догадался, что тот повторяет фразу про звезды на небе, которой он сам уже толком не помнил.

— Замечательные слова. Да, так вот с того самого момента мне все уже стало окончательно ясно. Но существуют правила, строгие правила, и я обязан был задать вам положенные вопросы. Теперь я должен сказать вам следующее, — продолжал Кавабата. — Поскольку я уже упомянул, что наша фирма на самом деле скорее клан, наши сотрудники — скорее не сотрудники, а члены клана. И обязательства, которые они берут на себя, тоже отличаются от обычных обязательств, которые берет на себя наемный работник. Попросту сказать, мы принимаем вас в члены нашего клана, одного из самых древних в Японии. Вакантная должность, которую вы займете, называется „помощник менеджера по делам северных варваров“. Разумеется, такое название может показаться вам обидным, но такова традиция, которой больше лет, чем городу Москве. Кстати, красивый город, особенно летом. Эта должность самурая, и ее не может занимать простолюдин. Поэтому, если вы готовы выполнять ее, я произведу вас в самураи.

— А в чем заключается эта работа?

— О, ничего сложного, — сказал Кавабата. — Бумаги, клиенты. Внешне все, как в других фирмах, за исключением того, что ваше внутреннее отношение к происходящему должно соответствовать гармонии космоса.

— А сколько платят? — спросил Сердюк.

— Вы будете получать двести пятьдесят коку риса в год, — сказал Кавабата и на секунду зажмурился, что-то считая. — В ваших долларах это что-то вроде сорока тысяч.

— Долларами?

— Как пожелаете, — сказал Кавабата, пожав плечами.

— Согласен, — сказал Сердюк.

— Другого я и не ждал. Теперь скажите мне — готовы ли вы признать себя самураем клана Тайра?

— Еще бы.

— Готовы ли вы связать с нашим кланом свою жизнь и смерть?

„Ну и ритуалы у них, — подумал Сердюк. — Когда ж они время находят телевизоры делать?“

— Готов, — сказал он.

— Готовы ли вы будете, как настоящий мужчина, бросить эфемерный цветок этой жизни в пустоту за краем обрыва, если к этому вас призовет ваша гири? — спросил Кавабата и кивнул на гравюру.

Сердюк еще раз посмотрел на нее.

— Готов, — сказал он. — Конечно. Цветок с обрыва — запросто.

— Клянетесь?

— Клянусь.

— Превосходно, — сказал Кавабата, — превосходно. Теперь осталась только одна маленькая формальность, и все. Нужно получить подтверждение из Японии. Но это займет всего несколько минут.

Он сел за факс, нашарил в стопке бумаг чистый лист, а потом в его руке откуда-то появилась кисточка.

Сердюк переменял позу. От долгого сидения на полу у него затекли ноги, и он подумал, что надо будет выяснить у Кавабаты, нельзя ли приносить с собой на работу маленький-маленький табурет. По-

том он поглядел вокруг в поисках остатков сакэ, но бутылка, в которой еще оставалось немного, куда-то исчезла. Кавабата возился над листом, и Сердюк поостерегся спрашивать — никакой уверенности, что он при этом не нарушит ритуала, у него не было. Ему вспомнилась только что данная им цветистая клятва. „Господи, — подумал он, — сколько же всяких клятв я давал в жизни! За дело коммунистической партии бороться обещал? Раз пять, наверно, если с самого детства посчитать. Жениться на Маше обещал? Обещал. А вчера, после Чистых прудов, когда с этими идиотами пили, тоже ведь обещал, что потом на мои деньги еще одну возьмем. А сейчас вон до чего дошло. Цветок с обрыва“.

Кавабата между тем закончил водить кисточкой по листу, подул на него и показал Сердюку. На листе черной тушью была нарисована большая хризантема.

— Что это? — спросил Сердюк.

— О, — сказал Кавабата. — Это хризантема. Понимаете ли, когда наша семья пополняется новым членом, это такая радость для всего клана Тайра, что неуместно доверять ее значкам на бумаге. В таких случаях, чтобы послать сообщение руководству, мы обычно рисуем на бумаге цветок. Это, кроме того, тот самый цветок, о котором мы говорили только что. Он символизирует вашу жизнь, принадлежащую теперь клану Тайра, и одновременно как бы удостоверяет ваше окончательное осознание ее быстротечной эфемерности...

— Понял, — сказал Сердюк.

Кавабата еще раз подул на лист, затем вложил его в щель факса и принялся набирать какой-то чрезвычайно длинный номер.

Получилось у него только с третьего раза. Факс зажужжал, в его углу замигала зеленая лампочка, и лист медленно уполз в черную щель.

Кавабата сосредоточенно смотрел на аппарат, не шевелясь и не меняя позы. Прошло несколько томительно долгих минут, а потом факс зажужжал снова, и откуда-то из-под его черного дна полез другой лист бумаги. Сердюк сразу понял, что это ответ.

Дождавшись, пока лист вылезет на всю длину, Кавабата выдернул его из машины, глянул на него и медленно перевел глаза на Сердюка.

— Поздравляю, — сказал он, — искренне вас поздравляю! Ответ самый благоприятный.

Он протянул лист Сердюку. Сердюк взял его в руку и увидел другой рисунок — на этот раз это была длинная полусогнутая палка с какими-то узорами и торчащими возле одного края выступами.

— Что это? — спросил он.

— Это меч, — торжественно сказал Кавабата, — символ вашего нового статуса в жизни. А поскольку никаких сомнений в таком исходе переговоров у меня не было, позвольте вручить вам ваше, так сказать, удостоверение.

С этими словами Кавабата протянул Сердюку тот самый короткий меч, который он купил в жестяном павильоне.

То ли из-за пристального и немигающего взгляда Кавабаты, то ли вследствие какой-то химической реакции в перенасыщенном алкоголем организме, Сердюк вдруг осознал всю важность и торжественность момента. Он хотел было встать на колени, но вовремя вспомнил, что так делали не японцы, а средневековые европейские рыцари, да и то, если вдуматься, не они сами, а изображавшие их в каком-то невыносимо советском фильме актеры с Одесской киностудии. Поэтому он просто протянул руки вперед и осторожно взял в них холодный инструмент смерти. На ножнах был рисунок, которого он не заметил раньше. Это были три летящих журавля — золотая проволока, вдавленная в черный лак ножен, образо-

вывала легкий и стремительный контур необычайной красоты.

— В этих ножнах — ваша душа, — сказал Кавабата, по-прежнему глядя Сердюку прямо в глаза.

— Какой красивый рисунок, — сказал Сердюк. — Даже, знаете, песню одну вспомнил, про журавлей. Как там было-то... „И в их строю есть промежуток малый — быть может, это место для меня...“

— Да-да, — подхватил Кавабата. — А и нужен ли человеку больший промежуток? Господи Шакьямуне, весь этот мир со всеми его проблемами легко поместится между двумя журавлями, что там — он затеряется между перьями на крыле любого из них... Как поэтичен этот вечер! Не выпить ли нам еще? За то место в журавлином строю, которое вы наконец обрели?

От слов Кавабаты на Сердюка повеяло чем-то мрачным, но он не придал этому значения, подумав, что Кавабата вряд ли знает о том, что песня эта — о душах убитых солдат.

— С удовольствием, — сказал Сердюк, — только чуть позже. Я...

Вдруг раздался громкий стук в дверь. Обернувшись, Кавабата крикнул что-то по-японски, панель отъехала в сторону, и из проема выглянуло мужское лицо, тоже южного типа. Лицо что-то сказала, и Кавабата кивнул головой.

— Мне придется оставить вас на несколько минут, — сказал он Сердюку. — Кажется, приходят важные вести. Если желаете, полистайте пока какой-нибудь из этих альбомов, — он кивнул на полку, — или просто побудьте сами с собой.

Сердюк кивнул. Кавабата быстро вышел и задвинул за собой панель. Сердюк подошел к стеллажам и поглядел на длинный ряд разноцветных корешков, а потом отошел в угол и сел на циновку, прислонясь головой к стене. Никакого интереса ко всем этим гравюрам у него не осталось.

В здании было тихо. Было слышно, как где-то наверху долбят стену — верно, там ставили железную дверь. За раздвижной панелью еле слышным шепотом матерились друг на друга девушки — они были совсем рядом, но почти ничего из их ругани нельзя было разобрать, и заглушенные звуки нескольких голосов, накладываясь друг на друга, сливались в тихий успокаивающий шелест, словно за стеной был сад, и шумели на ветру листья зацветающих вишен.

Проснулся Сердюк от тихого мычания. Сколько он спал, было не ясно, но, судя по всему, прошло порядочно времени — Кавабата, который сидел в центре комнаты, успел переодеться и побриться. Теперь на нем была белая рубаха, а волосы, еще недавно всклокоченные, были аккуратно зачесаны назад. Он и издавал разбудившее Сердюка мычание — это была какая-то унылая мелодия, больше похожая на долгий стон. В руках Кавабаты был длинный меч, который он протирал белой тряпочкой. Сердюк заметил, что рубаха Кавабаты не застегнута, и под ней видны безволосая грудь и живот.

Заметив, что Сердюк проснулся, Кавабата повернул к нему лицо и широко улыбнулся.

— Как спалось? — спросил он.

— Да я не то чтобы спал, — сказал Сердюк, — я так...

— Вздремнули, — сказал Кавабата, — понятно. Все мы в этой жизни дремлем. А просыпаемся лишь с ее концом. Вот помните, когда мы назад в офис шли, через ручей переправлялись?

— Да, — сказал Сердюк, — это из трубы речка выходит.

— Труба не труба, неважно. Так вот, помните пузыри на этом ручье?

— Помню. Большие пузыри были.

— Поистине, — сказал Кавабата, поднимая лезвие на уровень глаз и внимательно в него вглядываясь, — поистине мир этот подобен пузырям на воде. Не так ли?

Сердюк подумал, что Кавабата прав, и ему очень захотелось сказать японцу что-нибудь такое, чтобы тот ощутил, до какой степени его чувства поняты и разделены.

— Какое там, — сказал он, приподнимаясь на локте. — Он подобен... сейчас... Он подобен фотографии этих пузырей, завалившейся за комод и съеденной крысами.

Кавабата еще раз улыбнулся.

— Вы настоящий поэт, — сказал он. — Тут у меня нет никаких сомнений.

— Причем, — воодушевленно продолжал Сердюк, — вполне может статься, что крысы съели ее до того, как она была проявлена.

— Прекрасно, — сказал Кавабата, — прекрасно. Но это поэзия слов, а есть поэзия поступка. Надеюсь, что ваше последнее стихотворение без слов окажется под стать тем стихам, которыми вы радуете меня весь сегодняшний день.

— О чем это вы? — спросил Сердюк.

Кавабата аккуратно положил меч на циновки.

— Жизнь переменчива, — задумчиво сказал он. — Рано утром никто не может знать, что ждет его вечером.

— Что-нибудь произошло?

— О да. Вы ведь знаете, что бизнес подобен войне. Так вот, у клана Тайра есть враг, могущественный враг. Это Минамото.

— Минамото? — холодея, спросил Сердюк. — И что?

— Сегодня пришла весть, что в результате коварного предательства на токийской фондовой бир-

же „Минамото групп“ скупила контрольный пакет акций „Тайра инкорпорейтед“. Тут замешан один английский банк и сингапурская мафия, но это неважно. Мы разбиты. А враг торжествует.

Сердюк некоторое время молчал, соображая, что это значит. Ясно было только одно — это не значило ничего хорошего.

— Но мы с вами, — сказал Кавабата, — мы, два самурая клана Тайра, — мы ведь не допустим, чтобы переменчивые тени, которые отбрасывают все эти ничтожные пузыри бытия, омрачили наш дух?

— Н-нет, — сказал Сердюк.

Кавабата свирепо захохотал, и его глаза сверкнули.

— Нет, — сказал он, — Минамото не увидят нашего унижения и позора. Уходить из жизни надо так, как исчезают за облаком белые журавли. И пусть ни одного мелкого чувства не останется в эту прекрасную минуту в наших сердцах.

Он порывисто развернулся на полу вместе с циновкой, на которой сидел, и поклонился Сердюку.

— Прошу вас об одолжении, — сказал он. — Когда я в спору себе живот, отрубите мне голову!

— Что?

— Голову, голову отрубите. У нас это называют последней услугой. И самурай, которого об этом просят, не может отказать, не покрыв себя позором.

— Но я никогда... В смысле раньше...

— Да это просто. Раз, и все. Ш-пш-шу!

Кавабата быстро махнул руками.

— Но я боюсь, что у меня не выйдет, — сказал Сердюк. — У меня совсем нет опыта в этой области.

Кавабата задумался. Вдруг лицо его помрачнело, словно в голову ему припла какая-то крайне тяжелая мысль. Он хлопнул ладонью по татами.

— Хорошо, что я скоро уйду из жизни, — сказал

он, поднимая виноватый взгляд на Сердюка. — До чего же я все-таки невежествен и груб!

Он закрыл лицо ладонями и принялся раскачиваться из стороны в сторону.

Сердюк тихо встал, на цыпочках подошел к перегородке, неслышно сдвинул ее в сторону и вышел в коридор. Бетон неприятно холодил босые ноги, и Сердюк вдруг с ужасом понял, что пока они с Кавабатой бродили по каким-то подозрительным темным переулкам в поисках сакэ, его ботинки с носками стояли в коридоре возле входа, там же, где он оставил их днем. А что было у него на ногах, он не мог вспомнить совершенно; точно так же он не мог вспомнить ни того, как они с Кавабатой вышли на улицу, ни того, как вернулись.

„Мотать, мотать отсюда немедленно, — подумал он, заворачивая за угол. — Главное смотаться, а уже потом думать будем“.

Навстречу Сердюку с табуретки поднялся охранник.

— Куда идем-то в такое время? — зевая, спросил он. — Полчетвертого утра.

— Да вот засиделись, — сказал Сердюк. — Собеседование.

— Ну ладно, — сказал охранник. — Пропуск.

— Какой пропуск?

— На выход.

— Так вы ж меня без всякого пропуска впустили.

— Правильно, — сказал охранник, — а чтоб выйти, пропуск нужен.

Горящая на столе лампа бросала тусклый луч на ботинки Сердюка, стоящие у стены. В метре от них была дверь, а за дверью — свобода. Сердюк сделал к ботинкам маленький шаг. Потом еще один. Охранник равнодушно поглядел на его босые ноги.

— Да и потом, — сказал он, поигрывая резиновой

палкой, — у нас ведь режим. Сигнализация. До восьми дверь залерта. А открыть — так сразу менты приедут. Базар, протоколы. Так что открыть не могу. Только в случае пожара. Или наводнения.

— Так ведь мир этот, — заискивающе сказал Сердюк, — подобен пузырям на воде.

Охранник усмехнулся и качнул головой.

— Что ж, — сказал он. — Понимаем, где работаем. Но ты и меня пойми. Вот представь, что вместе с этими пузырями по воде еще и инструкция плывет. И пока она в одном из пузырей отражается — в одиннадцать запираем, в восемь отпираем. И все.

Сердюк почувствовал в голосе охранника какую-то нерешительность и попробовал надавить еще чуть-чуть в том же направлении.

— Господин Кавабата будет очень удивлен вашим поведением, — сказал он. — Казалось бы, охрана в серьезной фирме, а такие простые вещи надо объяснять. Ведь ясно, что если вокруг мираж...

— Мираж, мираж, — сказал охранник задумчиво и посмотрел в какую-то точку, явно находящуюся далеко за стеной. — Знаем. Не первый день на посту. Инструктаж у нас каждую неделю. Но я же не говорю, что эта дверь реальна. Сказать, что я про нее думаю?

— Ну скажи.

— Я так считаю, что никакой субстанциональной двери нет, а есть совокупность пустотных по природе элементов восприятия.

— Именно! — обрадованно сказал Сердюк и сделал еще один шагок к своим ботинкам.

— Но раньше восьми я эту совокупность не отопру, — сказал охранник и стукнул себя по ладони резиновой палкой.

— Почему? — спросил Сердюк.

Охранник пожал плечами.

— Для тебя карма, — сказал он, — для меня дхарма, а на самом деле один хрен. Пустота. Да и ее на самом деле нету.

— Н-да, — сказал Сердюк. — Серьезный у вас ин-структаж.

— А ты что думал. Японская служба безопасности проводит.

— И что же мне делать? — спросил Сердюк.

— Как чего? Ждать до восьми. И попроси, чтоб пропуск выписали.

Сердюк еще раз поглядел на круглые плечи охранника, на дубинку в его руках и, медленно повернувшись, побрел назад. У него осталось невыносимое чувство, что слова, которые заставили бы охранника открыть дверь, все же существовали, но он не сумел их найти. „Читал бы сутры, знал бы прикуп“, — угрюмо подумал он.

— Слышь, — сказал за спиной охранник, — ты без гэта не ходи. Тут пол бетонный. Почки простудишь.

Вернувшись в кабинет Кавабаты, Сердюк бесшумно задвинул панель и заметил, что в комнате сильно пахнет перегаром и женским потом. Кавабата все так же сидел на полу, закрыв лицо руками, и раскачивался из стороны в сторону. Похоже, он и не заметил, что Сердюк куда-то выходил.

— Господин Кавабата, — тихо позвал Сердюк.

Кавабата опустил руки.

— Вам плохо?

— Мне очень плохо, — сказал Кавабата. — Мне ужасно плохо. Если бы у меня была сотня животов, я разрезал бы их все, не медля ни секунды. Я никогда в жизни не испытывал такого стыда, как сейчас.

— Да в чем же дело? — спросил Сердюк, участливо приседая на колени напротив японца.

— Я осмелился просить вас о последней услуге и совершенно не подумал, что никто не окажет ее вам, если я совершу сэппуку первым. Чудовищный позор.

— Мне? — спросил Сердюк, поднимаясь на ноги, — мне??

— Ну да, — сказал Кавабата, тоже вставая и устремляя в глаза Сердюку горящий взгляд. — Кто ж вам-то голову отрубит? Гриша, что ли?

— Какой Гриша?

— Да охранник. Вы ж с ним только сейчас говорили. Он только череп проломить может своей дубиной. А по правилам отрубить надо, и не просто отрубить, а так, чтобы на лоскуте кожи повисла. Представляете, если покатится, как некрасиво будет? Да вы присядьте, присядьте.

Во взгляде Кавабаты была такая гипнотическая сила, что Сердюк непроизвольно сел на циновку — его сил хватило только на то, чтобы отвести глаза от лица Кавабаты.

— И вообще, мне кажется, вы не знаете, что говорит о сэппуку учение о прямом и бесстрашном возвращении в вечность, — сказал Кавабата.

— Чего?

— Как живот распарывать, представляете?

— Нет, — тупо глядя в стену, сказал Сердюк.

— Разные способы есть. Самый простой — горизонтальный надрез. Но это так себе. Как у нас говорят, пять минут позора, и видишь будду Амида. Все равно что въехать в Чистую Землю на „Запорожце“. Вертикальный разрез чуть получше, но это стиль *lower-middle class*, к тому же провинциально. Напоследок можно позволить себе что-нибудь изысканнее. Можно еще крест-накрест. Тут два способа — прямой крест и диагональный. Этого я бы тоже не советовал — знаете, если вверх-вниз разрежете, христианские аллюзии увидят, а если по диагонали — ан-

древесный флаг. Еще решат, что вы из-за черноморского флота. А вы ведь не морской офицер, верно?

— Верно, — без выражения подтвердил Сердюк.

— Вот я и говорю — ни к чему. Года два назад в большой моде был двойной параллельный надрез, но это вещь сложная. Так что я бы советовал длинный косой разрез снизу вверх слева направо с небольшим поворотом к центру в конце. С чисто эстетической точки зрения вещь безупречная, и вслед за вами я, скорей всего, поступлю так же.

Сердюк сделал попытку встать на ноги, но Кавабата положил ему на плечо руку и усадил на место.

— К сожалению, все приходится делать второпях, — сказал он со вздохом. — Нет ни белых ширм, ни подходящих курений. Нет воинов с обнаженным оружием, ждущих на краю площадки... Хотя Гриша есть, но какой он воин. Да и потом, они не нужны на самом деле. Это только на тот случай, если самурай изменит своей клятве и откажется делать сэппуку. Тогда его забивают как собаку. На моей памяти таких случаев не было, но все-таки это очень красиво — когда вокруг огороженного квадрата ждут люди с обнаженным оружием, и солнце сверкает на стали. Вообще-то... Хотите, я Гришу позову? И еще Семена со второго этажа? Чтобы было ближе к изначальному ритуалу?

— Не надо, — сказал Сердюк.

— Правильно, — сказал Кавабата. — И правильно. Вы, конечно, понимаете, что главное в любом ритуале не его внешнее оформление, а то, чем он наполнен изнутри.

— Понимаю, понимаю. Все понимаю, — сказал Сердюк, с ненавистью глядя на Кавабату.

— Поэтому я абсолютно уверен, что все пройдет отлично.

Кавабата поднял с пола короткий меч, купленный в магазинчике, вынул его из ножен и пару раз рубанул им воздух.

— Сойдет, — сказал он. — Теперь вот что. Всегда есть две проблемы — не упасть после разреза на спину — это очень некрасиво, очень, но здесь я вам помогу. А вторая — это не задеть позвоночник. Поэтому лезвие не должно погружаться уж слишком далеко. Давайте сделаем вот что...

Он взял несколько бумажек с факсами — среди них Сердюк заметил лист с нарисованной хризантемой — сбил их в стопку, сложил вдвое и аккуратно обернул лезвие, так что остался выступ сантиметров в семь—десять.

— Вот так. Значит, правой берете за рукоять, а левой — за это место. Втыкать надо несильно, а то, знаете, застрянет и... Ну а потом вверх и направо. А сейчас вы, наверно, хотите сосредоточиться. Времени у нас немного, но на это хватит.

Сердюк сидел в каком-то оцепенении и все глядел в стену. В его голове шевелились вялые мысли о том, что надо бы оттолкнуть Кавабату, выбежать в коридор и... Но там запертая дверь, и еще этот Гриша с дубинкой. И еще, говорят, есть какой-то Семен на втором этаже. В принципе можно было бы позвонить в милицию, но тут этот Кавабата с мечом... Да и не поедет милиция в такое время. Но самым неприятным было вот что — любой из этих способов поведения предполагал, что настанет такая секунда, когда на лице Кавабаты проступит удивление, которое сменится затем презрительной гримасой. А в сегодняшнем вечере все-таки было что-то такое, чего не хотелось предавать, и Сердюк даже знал, что — ту секунду, когда они, привязав лошадей к веткам дерева, читали друг другу стихи. И хоть, если вдуматься, ни лошадей, ни стихов на самом деле не было, все же эта секунда была настоящей, и ветер, прилетавший с юга и обещавший скорое лето, и звезды на небе — все это тоже было, без всяких сомнений, настоящим, то есть таким, каким

и должно быть. А вот тот мир, который ждал за отпираемой в восемь утра дверью...

В мыслях Сердюка возникла короткая пауза, и он сразу же стал слышать тихие звуки, прилетавшие со всех сторон. У сидящего с закрытыми глазами возле факса Кавабаты тихо урчало в животе, и Сердюк подумал, что тот уж точно совершит всю процедуру с легкостью и блеском. А ведь мир, который предстояло покинуть японцу — если понимать под этим словом все то, что человек мог почувствовать и испытать в жизни — уж точно был намного привлекательнее, чем вонючие московские улицы, которые под пение Филиппа Киркорова наплывали на Сердюка каждое утро.

Сердюк понял, почему он вдруг подумал о Киркорове — из-за стены, где сидели девушки, долетала какая-то из его песен. Потом послышались звуки короткого спора, приглушенный плач, и щелкнул переключатель программ. Невидимый телевизор стал передавать программу новостей, причем Сердюку показалось, что на самом деле канал не переключался, просто Киркоров перестал петь и начал тихо говорить. Потом донесся возбужденный шепот одной из девушек:

— Ну точно, смотри! Опять бухой! Смотри, как по трапу идет! Ну точно говорю, бухой в сиську!

Сердюк думал еще несколько секунд.

— Да катись оно все, — решительно сказал он. — Давай меч.

Кавабата быстро подошел к нему, встал на одно колено и рукоятью вперед протянул ему меч.

— Погоди, — сказал Сердюк и расстегнул рубашку под пиджаком. — Сквозь майку можно?

Кавабата задумался.

— Вообще такие случаи были. В тысяча четыреста пятьдесят четвертом году Такэда Кацуери, про-

играв битву при Окэхадзама, вспорол себе живот прямо сквозь охотничью одежду. Так что нормально.

Сердюк взял в руки меч.

— Не, — сказал Кавабата. — Я же говорю — правой за рукоять, а левой там, где обернуто. Вот так.

— Просто резать, и все?

— Секундочку, секундочку. Сейчас.

Кавабата пробежал по комнате, взял свой большой меч и вернулся к Сердюку, встав у него за спиной.

— Глубоко можно не резать. Вот мне придется глубоко, это да. У меня-то секунданта не будет. А вы везучий. Наверно, хорошо эту жизнь прожили.

Сердюк чуть улыбнулся.

— Обычно прожил, — сказал он. — Как все.

— Зато умираете, как воин, — сказал Кавабата. — Ну чего, у меня все готово. Давайте по счету „три“.

— Ладно, — сказал Сердюк.

— Глубокий вдох, — сказал Кавабата, — и поехали. Раз... Два...

Сердюк вдруг вспомнил, что так и не посмотрел, настоящий ли огонек был в фонаре, который ему дали у входа — но теперь, понятное дело, было уже поздно.

— Два с половиной... И-три!

Сердюк воткнул меч в живот.

Бумага уперлась в майку. Боли особой не было, но очень сильно ощущался холод от лезвия.

На полу зазвонила факс-машина.

— Вот, — сказал Кавабата. — А теперь вверх и вправо. Смелей, смелей... Вот так, правильно.

Сердюк заерзал ногами.

— Теперь быстрее поворот к центру, и на себя обеими руками. Вот так, так... Правильно... Ну еще сантиметрика два...

— Не могу, — еле выговорил Сердюк, — жжет все!

— А ты думал, — сказал Кавабата. — Сейчас. Он подскочил к факсу и снял трубку.

— Але! Да! Правильно, здесь. Да, девятая модель, две тысячи прошла.

Сердюк выронил меч на пол и зажал обеими руками кровоточащий живот.

— Быстрее! — прохрипел он, — быстрее!

Кавабата наморщил лицо и жестом велел Сердюку подождать.

— Что? — заорал он в трубку. — Да как это три с половиной дорого? Я за нее пять тысяч заплатил год назад!

Медленно, как в кинотеатре перед началом сеанса, свет в глазах Сердюка померк. Некоторое время он еще сидел на полу, а потом стал медленно заваливаться на бок — но до того, как его правое плечо коснулось пола, все ощущения от тела исчезли; осталась только всепоглощающая боль.

— Да где же битая? Где битая? — доносилось из красной пульсирующей темноты. — Две царапины на бампере — это тебе битая? Что? Что? Да ты сам козел! Говно, мудака! Что? Да пошел ты сам на х...й!

Трубка лязгнула о рычаг, и факс-машина сразу же зазвонила опять.

Сердюк заметил, что то пространство, откуда прилетают телефонные звонки и ругань Кавабаты и где вообще что-то происходит, находится от него очень далеко и представляет собой до такой степени ничтожный сегмент реальности, что нужно изо всех сил сосредотачиваться, чтобы следить за происходящим в этом сегменте. Между тем, никакого смысла в этом мучительном сосредоточении — а Сердюк уже знал, такое сосредоточение и есть жизнь, — не было. Оказалось, что все его долгое, полное тоски, надеж-

ды и страха человеческое существование было просто мимолетной мыслью, на секунду привлечшей его внимание. А теперь Сердюк (да и никакой на самом деле не Сердюк) плыл в бескачественной пустоте и чувствовал, что движется к чему-то огромному, излучающему нестерпимый жар. Самым ужасным было то, что это огромное и пышущее огнем приближалось к нему со спины, и никакой возможности увидеть, что же это такое на самом деле, не было. Ощущение было невыносимым, и Сердюк стал лихорадочно искать ту точку, где остался весь знакомый ему мир. Каким-то чудом это удалось, и в его голове колоколом ударил голос Кавабаты:

— На островах сначала не поверили, что вы справитесь. Но я это знал. А теперь позвольте оказать вам последнюю услугу. Ос-с-с!

Долгое время после этого не было ничего вообще — так что даже неверно говорить, что долгое время, потому что времени тоже не было. А потом послышался кашель, скрип каких-то половиц, и голос Тимура Тимуровича сказал:

— Да, Сеня. Вот так тебя и нашли у калорифера, с розочкой в руке. С кем пил-то на самом деле, помнишь?

Ответа не было.

— Татьяна Павловна, — сказал Тимур Тимурович, — пожалуйста, два кубика. Да.

— Тимур Тимурович, — неожиданно заговорил из угла Володин, — а ведь это духи были.

— Вот как? — вежливо спросил Тимур Тимурович. — Какие духи?

— А из дома Тайра. Клянусь. И вел он себя с ними так, как будто смерти искал. Да он, похоже, ее и искал.

— Почему же он тогда жив остался? — спросил Тимур Тимурович.

— Так на нем же майка была с олимпийской символикой. Ну, помните, Московская олимпиада, да? Много-много маленьких эмблемочек, да? А резал он через майку.

— И что?

— Можно считать, что это были магические иероглифы. Я в книге читал, в древности был такой случай, когда одного монаха всего расписали защитными знаками, только про уши забыли. И когда к нему пришли духи Тайра, они эти уши и забрали, потому что все остальное было для них просто невидимым.

— А зачем они к нему приходили? В смысле, к этому монаху?

— На флейте хорошо играл.

— Ах, на флейте, — сказал Тимур Тимурович. — Очень логично. А вас не удивило, что эти призраки болеют за „Динамо“?

— А что тут удивительного, — ответил Володин. — Одни призраки болеют за „Спартак“. Другие — за ЦСКА. Почему бы третьим не болеть за „Динамо“?

— Динама! Динама! Куда пошла, твою мать!

Я вскочил с кровати. Какой-то малый в рваном фраке, накинутом прямо на голое тело, бегал по двору за лошадьё и орал:

— Динама! Стой, дура! Куда пошла!

Под окном фыркали кони, и толпилось огромное количество солдат-красногвардейцев, которых еще вчера здесь не было. Собственно говоря, понять, что это красногвардейцы, можно было только по их расхристанному виду — они были одеты как попало, преимущественно в гражданское, из чего следовало, что экипироваться они предпочитали с помощью грабежей. В центре толпы стоял человек в буденновском шлеме с косо наклепленной красной звездой и махал руками, отдавая какие-то распоряжения. Он был удивительно похож на комиссара ивановских ткачей Фурманова, которого я видел на митинге у Ярославского вокзала, только через всю щеку у него проходил багровый сабельный шрам.

Но я недолго рассматривал эту пеструю публику — мое внимание привлек экипаж, стоявший в центре двора. В него как раз впрягали четверку вороных. Это было длинное открытое ландо на дутых шинах с рессорами и мягкими кожаными сиденьями, сделанное из дорогого дерева с сохранившимися следами позолоты. Что-то невыразимо ностальгическое

было в этой роскошной вещи, в этом осколке навсегда канувшего в небытие мира, обитатели которого наивно надеялись переехать в будущее на таких вот транспортных средствах. Вышло так, что поход в будущее удался только самим транспортным средствам, и то ценой превращения в подобие гуинских боевых колесниц. Именно такие ассоциации рождали три соединенных штангой пулемета „Льюис“, укрепленные в задней части ландо.

Я отошел от окна, сел на кровать и вдруг вспомнил, что такие колесницы называются у бойцов непонятным словом „тачанка“. Происхождение этого термина было загадочным и темным — натягивая сапоги, я перебрал в уме все варианты возможной этимологии и не нашел ни одного подходящего. Правда, мне пришел в голову забавный каламбур: „тачанка“ — „touch Anka“. Но после вчерашнего объяснения с Анной, одно воспоминание о котором заставило меня покраснеть и нахмуриться, поделиться этой шуткой мне было не с кем.

В таких примерно мыслях я сбежал вниз по лестнице и вышел во двор. Кто-то сказал мне, что Котовский просил меня зайти в штабной амбар, и я, не теряя времени, отправился туда. На часах у входа стояли двое бойцов в черной форме — когда я проходил мимо, они вытянулись по швам и отдали мне честь. По их напрягшимся лицам я понял, что они хорошо меня знают — к сожалению, контузия стерла их имена из моей памяти.

Котовский в глухо застегнутом коричневом френче сидел на столе. Он был в комнате один. Я отметил мертвенную бледность его лица — казалось, на него был наложен толстый слой пудры. Он явно сильно зарядился кокаином с самого утра. Рядом с ним на столе стоял прозрачный цилиндр, в котором клубились и медленно поднимались вверх маленькие облачка расплавленного белого вещества. Это была

лампа, состоящая из спиртовки и длинной стеклянной колбы, где в подкрашенной глицерине плавали комки воска. Лет пять назад такие лампы были весьма модны в Петербурге.

Котовский протянул мне руку. Я заметил, что его ладонь слегка подрагивает.

— Отчего-то с самого утра, — сказал он, поднимая на меня ясные глаза, — я думаю о том, что ждет нас за гробовой доской.

— Вы полагаете, что нас там что-то ждет? — спросил я.

— Может быть, я неудачно выразился, — сказал Котовский. — Сказать проще, я думаю о смерти и бессмертии.

— Отчего вас посетило такое настроение?

— О, — сказал Котовский с холодной улыбкой, — в сущности говоря, оно не покидает меня с одного памятного случая в Одессе... Впрочем, неважно.

Он сложил руки на груди и указал подбородком на лампу.

— Посмотрите на этот воск, — сказал он. — Проследите за тем, что с ним происходит. Он разогревается на спиртовке, и его капли, приняв причудливые очертания, поднимаются вверх. Поднимаясь, они остывают; чем они выше, тем медленнее их движение. И, наконец, в некой точке они останавливаются и начинают падать туда, откуда перед этим поднялись, часто так и не коснувшись поверхности.

— В этом есть какой-то платоновский трагизм, — сказал я задумчиво.

— Возможно. Но я не об этом. Представьте себе, что застывшие капли, поднимающиеся вверх по лампе, наделены сознанием. В этом случае у них сразу же возникнет проблема самоидентификации.

— Без сомнения.

— Здесь-то и начинается самое интересное. Если какой-нибудь из этих комочков воска считает, что

он — форма, которую он принял, то он смертен, потому что форма разрушится. Но если он понимает, что он — это воск, то что с ним может случиться?

— Ничего, — ответил я.

— Именно, — сказал Котовский. — Тогда он бессмертен. Но весь фокус в том, что воску очень сложно понять, что он воск. Осознать свою изначальную природу практически невозможно. Как заметить то, что с начала времен было перед самыми глазами? Даже тогда, когда еще не было никаких глаз? Поэтому единственное, что воск замечает, это свою временную форму. И он думает, что он и есть эта форма, понимаете? А форма произвольна — каждый раз она возникает под действием тысяч и тысяч обстоятельств.

— Великолепная аллегория. Но что из нее следует? — спросил я, вспомнив нашу вчерашнюю беседу о судьбах России и ту легкость, с какой он перевел ее на кокаин. Легко могло стать, что он просто хотел получить остаток порошка и постепенно подводил к этому разговор.

— А следует то, что единственный путь к бессмертию для капли воска, это перестать считать, что она капля, и понять, что она и есть воск. Но поскольку наша капля сама способна заметить только свою форму, она всю свою короткую жизнь молится Господу Воску о спасении этой формы, хотя эта форма, если вдуматься, не имеет к ней никакого отношения. При этом любая капелька воска обладает теми же свойствами, что и весь его объем. Понимаете? Капля великого океана бытия — это и есть весь этот океан, сжавшийся на миг до капли. Но как, скажите, как объяснить это кусочкам воска, больше всего боящимся за свою мимолетную форму? Как заронить в них эту мысль? Ведь именно мысли мчат к спасению или гибели, потому что и спасение, и гибель — это

тоже, в сущности, мысли. Кажется, Упанишады говорят, что ум — это лошадь, впряженная в коляску тела...

Тут он щелкнул пальцами, словно в голову ему пришла неожиданная мысль, и поднял на меня холодный взгляд:

— Кстати, раз уж речь у нас зашла о колясках и лошадях. Вы не находите, что полбанки кокаина за пару орловских рысаков...

Резкий грохот, ударивший мне в уши, заставил меня отшатнуться. Лампа, стоявшая рядом с Котовским, взорвалась, облив стол и карту водопадом глицерина. Котовский соскочил со стола, и в его руке из ниоткуда, словно у фокусника, появился наган.

В дверях стоял Чапаев с никелированным маузером в руке. На нем был серый китель, перетянутый портупеей, папаха с косой муаровой лентой и подшитые кожей черные галифе с тройным лампасом. На груди у него блестела серебряная пентаграмма (я вспомнил, что он называл ее „Орденом Октябрьской Звезды“), а рядом с ней висел маленький черный бинокль.

— Хорошо ты говорил, Гриша, про каплю воска, — сказал он хриловатым тенорком, — только что ты сейчас скажешь? И где теперь твой окиян бытия?

Котовский ошарашенно перевел взгляд на место, где только что стояла лампа. На карте расплывалось огромное жирное пятно. Слава Богу, фитиль спиртовки погас при взрыве — иначе в комнате уже полыхал бы пожар.

— Форма, воск — кто все это создал? — спросил Чапаев грозно. — Отвечай!

— Ум, — ответил Котовский.

— А где он? Покажи.

— Ум — это лампа, — сказал Котовский. — Была.

— Если ум — это лампа, куда ты пойдешь, когда она разбилась?

— Что же тогда ум? — спросил Котовский растерянно.

Чапаев еще раз выстрелил, и пуля превратила стоявшую на столе чернильницу в облако синих брызг.

Отчего-то я ощутил мгновенное головокружение.

На белых скулах Котовского выступили два ярко-красных пятна.

— Да, — сказал он, — вот теперь понял. Поправил ты меня, Василий Иванович. Крепко поправил.

— Эх, Гриша, — сказал Чапаев печально, — что ж ты? Ведь сам знаешь, нельзя тебе ошибаться сейчас. Нельзя. Потому что в такие места едешь, где тебя уже никто не поправит. А как скажешь, так все и будет.

Не поднимая глаз, Котовский повернулся и выбежал из амбара на улицу.

— Сейчас выступаем, — сказал Чапаев, убирая дымящийся маузер в кобуру. — Не поехать ли нам с тобой в коляске, которую ты вчера у Гришки отыграл? И поговорим заодно.

— С удовольствием, — сказал я.

— Вот я и велел запрячь, — сказал Чапаев. — А Гришка с Анкой на тачанке поедут.

Вероятно, по моему лицу пробежала тень, потому что Чапаев громко засмеялся и изо всех сил хлопнул меня ладонью по спине.

Мы вышли во двор, пробрались сквозь толпу красногвардейцев и оказались у конюшен. Там царил знакомая сердцу каждого кавалериста тревожно-веселая суета, которая всегда сопровождает сбор отряда, идущего в бой. Бойцы подтягивали седла, проверяли подковы и о чем-то весело переговаривались — но за этой их веселостью чувствовалась трез-

вая собранность и высшее напряжение всех струн души. Лошадям, казалось, передавались человеческие чувства — они переминались с ноги на ногу, изредка ржали и, норовя выплюнуть мундштук, косили темными магнетическими глазами, в которых сияла какая-то сумасшедшая радость.

Я почувствовал, что и на меня подействовал гипноз близкой опасности. Чапаев стал что-то объяснять двум бойцам, а я подошел к ближайшему коню, привязанному к вбитому в стену кольцу, и запустил пальцы в его гриву. Отлично помню эту секунду — густые волосы под моими пальцами, кислотоватый запах новенького кожаного седла, пятно солнечного света на стене перед моим лицом и удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение полноты, окончательной реальности этого мига. Наверно, это было то чувство, которое пытаются передать словами „вдохнуть полной грудью“, „жить полной жизнью“. И хоть оно длилось всего одну короткую секунду, я в очередной раз успел понять, что эта полная и настоящая жизнь никогда не длится дольше в силу самой своей природы.

— Петька! — закричал сзади Чапаев, — пора!

Я похлопал коня по шее и пошел к коляске, косясь на тачанку, где уже сидели Анна и Котовский. Анна была в белой фуражке с красным околышем и простой гимнастерке, перетянутой ремешком с маленькой замшевой кобурой. Синие рейтузы с узким красным лампасом были заправлены в высокие ботинки на шнуровке. В этом наряде она казалась нестерпимо юной и походила на гимназиста. Поймав мой взгляд, она отвернулась.

Чапаев был уже в коляске. Впереди сидел тот самый молчаливый башкир по прозвищу „Батый“, который когда-то разливал шампанское в поезде, а потом чуть не заколол меня штыком на своем нелепом посту возле стога сена. Как только я сел рядом

с Чапаевым, башкир натянул вожжи, чмокнул, и мы выехали за ворота.

Вслед за нами двинулась тачанка с Котовским и Анной, а затем уже конники. Мы повернули вправо и поехали вверх по улице. Собственно, это была уже не улица, а дорога, потому что последним домом на ней была наша усадьба. Круто поднимаясь вверх, она завернула вправо и уперлась в зеленую стену листвы.

Мы въехали в подобие туннеля, образованного сплетающимися над дорогой ветками деревьев — деревья эти были довольно странными и больше походили на чрезмерно разросшиеся кусты. Туннель оказался очень длинным, или, может быть, такое ощущение возникло потому, что ехали мы довольно медленно. Сквозь ветки деревьев просвечивало солнце, сверкающее на последних каплях утренней росы; зелень листвы была такой яркой и слепящей, что был момент, когда я даже потерял ориентацию — мне показалось, что мы медленно падаем в бесконечный зеленый колодец. Я прикрыл глаза, и это чувство прошло.

Заросли вокруг кончились так же внезапно, как и начались. Мы оказались на идущей в гору грунтовой дороге. С левого ее края начинался пологий обрыв, а справа вставала выветрившаяся каменная стена удивительно красивого бледно-лилового оттенка, в трещинах которой росли кое-где небольшие деревца. Мы поднимались по этой дороге еще около четверти часа.

Чапаев сидел на своем месте с закрытыми глазами, сложив ладони на рукояти упертой в пол пашки. Казалось, он о чем-то глубоко задумался, или впал в дрему. Вдруг он открыл глаза и повернул лицо ко мне.

— Тебя еще мучают эти кошмары, на которые ты жаловался?

— Как всегда, Василий Иванович, — ответил я.

— Что, и опять об этой лечебнице?

— О, если бы только о ней, — сказал я. — Знаете, как в любом сне, там все меняется с фантастической легкостью. Сегодня, например, мне снилась Япония. А вчера действительно снилась лечебница, и знаете, что произошло? Этот палач, который всем там управляет, попросил меня подробно изложить на бумаге то, что со мной происходит здесь. Он сказал, что ему это нужно для работы. Можете себе представить?

— Могу, — сказал Чапаев. — А почему бы тебе его не послушать?

Я изумленно посмотрел на него.

— Вы что, серьезно советуете мне это сделать?

Он кивнул.

— А зачем?

— Ты же сам сказал, что в твоих кошмарах все меняется с фантастической быстротой. А любая однообразная деятельность, к которой ты возвращаешься во сне, позволяет создать в нем нечто вроде фиксированного центра. Тогда сон становится более реальным. Ничего лучше, чем делать записи во сне, просто не придумаешь.

Я задумался.

— Но для чего мне фиксированный центр кошмаров, если на самом деле я хочу от них избавиться?

— Именно для того, чтобы от них избавиться. Потому что избавиться можно только от чего-то реального.

— Допустим. И что, я могу писать про все-все, что здесь происходит?

— Конечно.

— А как мне называть вас в этих записях?

Чапаев засмеялся.

— Нет, Петька, не зря тебе психбольница снится. Ну какая разница, как ты будешь называть меня в записках, которые ты делаешь во сне?

— Действительно, — сказал я, чувствуя себя полным идиотом. — Просто я опасался, что... Нет, у меня действительно что-то с головой.

— Называй меня любым именем, — сказал Чапаев. — Хоть Чапаевым.

— Чапаевым? — переспросил я.

— А почему нет. Можешь даже написать, — сказал он с ухмылкой, — что у меня были усы и после этих слов я их расправил.

Бережным движением пальцев он расправил усы.

— Но я полагаю, что совет, который тебе дали, в большей степени относится к реальности, — сказал он. — Тебе надо начать записывать свои сны, причем стараться делать это, пока ты их помнишь в подробностях.

— Забыть их невозможно, — сказал я. — В себя придешь, так понимаешь, что это просто кошмар был, но пока он снится... Даже и непонятно, что правда на самом деле. Коляска, в которой мы сейчас едем, или тот кафельный ад, где по ночам меня мучают бесы в белых халатах.

— Что правда на самом деле? — переспросил Чапаев и опять закрыл глаза. — На этот вопрос ты вряд ли найдешь ответ. Потому что на самом деле никакого „самого дела“ нет.

— Это как? — спросил я.

— Эх, Петька, Петька, — сказал Чапаев, — знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзе Чжуан. Ему часто снился один сон — что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он

порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзе Чжунана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что на самом деле он бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов. А он сказал, что она вовсе не за коммунистов. Тогда его спросили, почему в таком случае бабочка занимается подрывной деятельностью. А он ответил, что все, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы, на чьей ты стороне.

— И что с ним случилось?

— Ничего. Поставили его к стенке и разбудили.

— А он?

Чапаев пожал плечами.

— Дальше полетел, надо полагать.

— Понимаю, Василий Иванович, понимаю, — сказал я задумчиво.

Дорога сделала еще одну петлю, и слева открылся головокружительный вид на город. Я заметил желтую точку нашей усадьбы и ярко-зеленую полосу зарослей, сквозь которую мы так долго пробирались. Пологие горные склоны, сходящиеся со всех сторон, образовывали нечто вроде чашеобразного углубления, и в этой чаше, на самом ее дне, лежал Алтай-Виднянск.

Сильное впечатление производил не сам вид на город, а именно панорама образованной склонами гор чаши; город был неопрятен и больше всего напоминал кучу мусора, нанесенного дождевыми потоками в яму. Людей видно не было; дома были полускрыты еще не развеявшейся до конца утренней дымкой. Я вдруг с удивлением понял, что я — часть мира, расположенного на дне этой гигантской сточной канавы, где идет какая-то неясная гражданская война, где кто-то жадно делит крохотные уродливые

домики, косо нарезанные огороды, веревки с разноцветным бельем, чтобы крепче утвердиться на этом буквальном дне бытия. Я подумал о китайском сневидце, про которого рассказал Чапаев, и еще раз посмотрел вниз. Перед лицом неподвижно раскинувшегося вокруг мира, под спокойным взглядом изучающего мир неба делалось невыразимо ясно, что городишко на дне ямы в точности похож на все остальные города мира. Все они, думал я, лежат на дне таких же котловин, пусть даже невидимых глазу. Все они варятся в огромных адских котлах на огне, который, как говорят, бушует в центре Земли. И все они — просто разные варианты одного и того же кошмара, который никак нельзя изменить к лучшему. Кошмара, от которого можно только проснуться.

— Если от твоих кошмаров тебя разбудят таким же способом, как этого китайца, Петька, — сказал Чапаев, не открывая глаз, — ты всего-то навсегда попадешь из одного сна в другой. Так ты и мотался всю вечность. Но если ты поймешь, что абсолютно все, происходящее с тобой — это просто сон, тогда будет совершенно неважно, что тебе приснится. А когда после этого ты проснешься, ты проснешься уже по-настоящему. И навсегда. Если, конечно, захочешь.

— А почему все происходящее со мной — это сон?

— Да потому, Петька, — сказал Чапаев, — что ничего другого просто не бывает.

Подъем кончился — мы выехали на широкое плоскогорье. Далеко на горизонте, за линией пологих холмов, поднимались синие, сиреневые и лиловые выступы гор, а перед ними лежало огромное пространство, покрытое травой и цветами. Их краски были приглушенными и выцветшими, но цветов было так много, что общий тон степи казался не зеленым, а скорее каким-то палевым. И это было настолько красиво, что на несколько минут я забыл и о словах Чапаева, и обо всем на свете.

Кроме, как ни странно, этого китайца.

Глядя на бледные пятна цветов, плывущие мимо коляски, я представлял себе, как он порхает между ними, норовя иногда по старой памяти наклеить на узкий побег эфедры антиправительственную листовку, и каждый раз вздрагивает, вспоминая, что никаких листовок у него давно нет. Да и кто стал бы их читать, даже если бы они были?

Вскоре, однако, любоваться цветами стало невозможно.

Видимо, Чапаев дал нашему вознице какой-то знак. Мы начали разгоняться, и все вокруг коляски стало сливаться в цветные полосы. Башкир безжалостно стегал коней, привставая на козлах и выкрикивая гортанные слова на неизвестном языке.

Дорога, по которой мы ехали, была чисто символической. Может быть, на ней росло меньше цветов, чем в поле, да еще виднелись в ее центре следы какой-то древней колеи — но в целом догадаться о ее существовании было непросто. Несмотря на это, нас почти не трясло — поле было идеально ровным. Конники в черном, замыкавшие наш небольшой отряд, съехали с дороги, нагнали нашу коляску и образовали две группы по ее бокам. Теперь они неслись над травой вровень с нами, растянувшись в длинную дугу, словно два узких темных крыла, выросших у нашего экипажа.

Пулеметное ландо, в котором сидели Анна с Котовским, тоже прибавило ходу и почти нагнало нас. Я заметил, что Котовский тычет своего возницу тростью в спину и кивает на нашу коляску. Они явно пустились с нами наперегонки. В какой-то момент им почти удалось обогнать нас. Во всяком случае, они мчались совсем рядом, в нескольких метрах. Я заметил на борту тачанки эмблему — круг, разделенный волнистой линией на две части, черную и белую, в каждой из которых помещался маленький

кружок противоположного цвета. Кажется, это был какой-то восточный символ. Рядом была крупная надпись, грубо намалеванная белой краской:

СИЛА НОЧИ, СИЛА ДНЯ ОДИНАКОВА ХУИНЯ

Наш башкир стегнул лошадей, и тачанка отстала. Мне показалось непостижимым, что Анна соглашается ездить в экипаже, расписанном такой непопулярной. А через миг у меня появилась догадка, сразу же перешедшая в уверенность, что именно она и написала эти слова на борту ландо. Как мало, в сущности, я знал про эту женщину!

Под дикий свист и гиканье всадников наш отряд мчался по степи. Должно быть, мы покрыли таким манером пять или шесть верст — холмы, стоявшие на горизонте, приблизились настолько, что стали ясно различимы выступающие из них скалы и растущие на них деревья. Поверхность поля, по которому неслась наша коляска, сделалась куда менее ровной, чем в начале нашей скачки — иногда нас подбрасывало высоко в воздух вместе с коляской, и я уже стал опасаться, что для кого-то из наших это кончится сломанной шеей. Тут наконец Чапаев вытащил из кобуры свой маузер и выстрелил вверх.

— Ну хватит! — заорал он. — Шагом!

Наша коляска затормозила. Всадники, словно боясь пересечь невидимую черту, которая проходила сквозь ось ее задних колес, резко сбавили ход и стали по одному исчезать у нас за спиной. Ландо с Анной и Котовским тоже отстало, и через несколько минут мы оказались далеко впереди, как в самом начале поездки.

Я заметил вертикальный столб дыма, поднимающийся из-за холмов — он был белым и густым, какой бывает, когда в огонь охепками бросают траву

и сырые листья. Что самое странное, он почти не расширился, отчего казался похожим на высокую белую колонну, подпирающую небо. До этого столба было не больше версты; сам костер был скрыт холмами. Еще несколько минут мы ехали вперед, а потом остановились.

Дорога упиралась в два невысоких крутых бугра, между которыми пролегал узкий проход. Эти бугры образовывали подобие естественных ворот и были настолько симметричными, что казались какими-то древними башнями, ушедшими в землю много веков назад. Они словно отмечали границу, за которой местность меняла рельеф, — там начинались холмы, переходящие у горизонта в горы. Похоже, за этой границей менялся не только рельеф, — почувствовав на своем лице ощутимую волну ветра, я с недоумением поглядел на идеально прямой столб дыма, до невидимого источника которого было теперь совсем недалеко.

— Отчего мы стоим? — спросил я Чапаева.

— Ждем, — сказал он.

— Кого? Врагов? — спросил я.

Чапаев промолчал. Я вдруг заметил, что забыл дома пашку, и с собой у меня только браунинг, так что, если нам придется иметь дело с конницей, я окажусь в неприятном положении. Впрочем, судя по тому, что Чапаев продолжал спокойно сидеть в коляске, непосредственная опасность нам не угрожала. Я оглянулся. Ландо, в котором находились Котовский и Анна, стояло рядом. Я увидел белое лицо Котовского — сложив руки на груди, он неподвижно сидел на заднем сиденье. В нем было что-то от оперного певца перед выходом на сцену. Анна, которую я видел со спины, возилась с пулеметами — мне показалось, что она занялась этим не потому, что их надо было готовить к стрельбе, а потому, что ее тяготило соседство непомерно торжественного Котов-

ского. Сопровождавшие нас всадники, словно боясь приближаться к земляным воротам, держались совсем далеко — мне были видны только их темные силуэты.

— Так кого мы все-таки ждем? — повторил я свой вопрос.

— У нас встреча с Черным Бароном, — ответил Чапаев. — Я полагаю, Петр, что вам запомнится это знакомство.

— А что это за странная кличка? Я полагаю, у него есть имя?

— Да, — сказал Чапаев. — Его настоящая фамилия Юнггерн фон Штернберг.

— Юнггерн? — переспросил я. — Юнг-герн... Что-то я такое слышал... Он, случайно, с психиатрией никак не связан? Не занимался толкованием символов?

Чапаев смерил меня удивленным взглядом.

— Нет, — сказал он. — Насколько я могу судить, он презирает все символы, к чему бы они ни относились.

— А, — сказал я, — вот теперь вспомнил. Это тот, который расстрелял вашего китайца.

— Да, — сказал Чапаев. — Это защитник Внутренней Монголии. Про него говорят, что он инкарнация бога войны. Раньше он командовал Азиатской Конной Дивизией, а сейчас — Особым Полком Тибетских Казаков.

— Никогда о таких не слышал, — сказал я. — А почему его называют Черным Бароном?

Чапаев задумался.

— Действительно, — сказал он, — я даже не знаю. А почему бы вам не спросить у него самому? Он уже здесь.

Я вадрогнул и повернул голову.

В узком проходе между двумя холмами появился какой-то странный предмет. Приглядевшись, я по-

нял, что это паланкин, очень архаичный и странный, состоящий из кабинки с округлой крышей и четырех длинных ручек, на которых эту кабинку носили. Материал, из которого были сделаны крыша и ручки, казался позеленевшей от времени бронзой, покрытой множеством крохотных нефритовых бляшек, которые блестели загадочно, как кошачьи глаза в темноте. Вокруг не было видно никого, кто мог бы незаметно принести паланкин, — оставалось только думать, что неведомые носильщики, чьими ладонями до блеска были отполированы длинные ручки, успели спрятаться за земляными воротами.

Паланкин стоял на изогнутых ножках, которые делали его похожим не то на какой-то жертвенный сосуд, не то на крохотную хижину на четырех коротких сваях. Сходство с хижинкой, впрочем, было опутимее — его усиливали занавески из тонкой шелковой сетки зеленого цвета. За занавеской угадывался силуэт неподвижно сидящего человека.

Чапаев выпрыгнул из коляски и подошел к паланкину.

— Здравствуйте, барон, — сказал он.

— Добрый день, — ответил низкий голос из-за занавески.

— Я опять с просьбой, — сказал Чапаев.

— Полагаю, что вы и в этот раз просите не за себя.

— Да, — сказал Чапаев. — Вы помните Григория Котовского?

— Помню, — сказал голос из паланкина. — А что с ним случилось?

— Я никак не могу объяснить ему, что такое ум. Сегодня утром он до того меня довел, что я полез за пистолетом. Все, что можно сказать, я уже много раз ему говорил, так что нужна демонстрация, барон, нечто такое, чего он уже не смог бы игнорировать.

— Ваши проблемы, милый Чапаев, довольно однообразны. Где ваш протезе?

Чапаев повернулся к коляске, где сидел Котовский, и махнул рукой.

Занавеска паланкина откинулась, и я увидел человека лет сорока, блондина с высоким лбом и холодными бесцветными глазами. Несмотря на висячие татарские усы и многодневную щетину, его лицо было очень интеллигентным; одет он был в странного вида черную не то рясу, не то шинель, по фасону похожую на монгольский халат с длинным полукруглым вырезом. Я, собственно, и не подумал бы никогда, что это шинель, если бы не погоны с генеральскими зигзагами на плечах. На его боку висела точь-в-точь такая же пашка, как у Чапаева, только кисть, прикрепленная к ее рукоятки, была не лиловой, а черной. А на груди у него было целых три серебряных звезды, висящих в ряд. Он быстро вылез из паланкина (оказалось, что он почти на голову меня выше) и смерил меня взглядом.

— Кто это?

— Это мой комиссар Петр Пустота, — ответил Чапаев. — Отличился в бою на станции Лозовая.

— Что-то слышал, — сказал барон. — Он здесь по тому же делу?

Чапаев кивнул. Юнгern протянул мне руку.

— Приятно познакомиться, Петр.

— Взаимно, господин генерал, — ответил я, пожимая его сильную сухую ладонь.

— Зовите меня просто бароном, — сказал Юнгern и повернулся к подходящему Котовскому:

— Григорий, сколько лет...

— Здравствуйте, барон, — ответил Котовский. — Сердечно рад вас видеть.

— Судя по вашей бледности, вы так рады меня видеть, что вся ваша кровь прилила к сердцу.

— Да нет, барон. Это из-за мыслей о России.

— А, опять вы за старое. Не одобряю. Но, однако, не будем терять времени. Не пойти ли нам погулять?

Юнгери кивнул в сторону земляных ворот. Котовский сглотнул.

— Почту за честь, — ответил он.

Юнгери вопросительно повернулся к Чапаеву. Тот протянул ему какой-то бумажный сверток.

— Здесь две? — спросил барон.

— Да.

Юнгери спрятал сверток в широкий карман своего одеяния, обнял Котовского за плечи и буквально потащил к воротам; они исчезли в проеме, и я повернулся к Чапаеву.

— Что за этими воротами?

Чапаев улыбнулся.

— Не хочу портить вам впечатления.

За воротами глухо хлопнул револьверный выстрел. Через секунду в них выросла одинокая фигура барона.

— А теперь вы, Петр, — сказал он.

Я вопросительно посмотрел на Чапаева. Тот, сощурив глаза, утвердительно кивнул головой, причем каким-то необычайно сильным жестом, словно вжимая невидимый гвоздь себе в грудь подбородком.

Я медленно пошел к барону.

Признаться, мне стало страшно. Дело было не в том, что я ощутил нависшую над собой опасность. Точнее, это было именно ощущение опасности — но не такого рода, как бывает перед дуэлью или боем, когда знаешь, что если и случится самое страшное, то все же оно случится именно с тобой. Сейчас у меня было чувство, что опасность угрожает не мне самому, а моим представлениям о себе; ничего страшного я не ожидал, но вот тот я, который не ожидал ничего страшного, вдруг показался мне ка-

натоходцем над пропастью, заметившим первое дуновение усиливающегося ветра.

— Я покажу вам свой лагерь, — сказал барон, когда я приблизился.

— Послушайте, барон, если вы собираетесь меня разбудить, как этого китайца...

— Ну что вы, — сказал барон и улыбнулся. — Чапаев небось понарасказывал вам всяких ужасов. Я не такой.

Он взял меня под локоть и повернул к земляным воротам.

— Прогуляемся среди костров, — сказал он, — посмотрим, как наши ребята.

— Я не вижу никаких костров, — сказал я.

— Не видите? — сказал он. — А вы посмотрите внимательней.

Я опять поглядел в просвет между двумя оплывшими земляными буграми. И тут барон неожиданно толкнул меня в спину. Я полетел вперед и повалился на землю; его движение было настолько резким, что на секунду мне показалось, что я калитка, которую он сшиб с петель ударом ноги. В следующий момент какая-то зрительная судорога прошла по моим глазам; я зажмурился, и в темноте передо мной вспыхнули яркие пятна, как это бывает, если пальцами надавить на глаза или сделать резкое движение головой. Но когда я открыл глаза и поднялся на ноги, эти огни не исчезли.

Я не понимал, где мы находимся. Холмы, летний вечер — все это пропало; вокруг нас была густая тьма, и в ней, насколько хватало глаз, горели яркие пятна костров. Они располагались в иррегулярно-строгой последовательности, как бы в узлах невидимой решетки, разделившей мир на бесконечное число квадратов. Расстояние между кострами было где-то в пятьдесят шагов, так что от одного уже не было

видно тех, кто сидел у другого — можно было различить только смутные силуэты, но сколько там человек, и люди ли это вообще, сказать с уверенностью было нельзя. Но самым странным было то, что поле, на котором мы стояли, тоже неизмеримо изменилось — теперь у нас под ногами была идеально ровная плоскость, покрытая чем-то вроде короткой пожухшей травы, и нигде на ней не было ни выступа, ни впадины — это было ясно по идеально правильному узору горящих вокруг огней.

— Что же это такое? — спросил я растерянно.

— Ага, — сказал барон. — Теперь, я полагаю, видите.

— Вижу, — сказал я.

— Это один из филиалов загробного мира, — сказал Юнгерн, — тот, что по моей части. Сюда попадают главным образом лица, при жизни бывшие воинами. Может быть, вы слышали про Валгаллу?

— Слышал, — ответил я, чувствуя, как во мне растет несуразное детское желание вцепиться в край бароновой рясы.

— Вот это она и есть. К сожалению, сюда попадают не только воины, но и всякая шелупонь, которая много стреляла при жизни. Бандиты, убийцы — удивительная бывает мразь. Вот поэтому и приходится ходить и проверять. Иногда даже кажется, что работаешь здесь чем-то вроде лесника.

Барон вздохнул.

— Хотя, как я вспоминаю, — сказал он с легкой печалью в голосе, — в детстве мне и хотелось быть лесником... Вы, Петр, знаете что — возьмите-ка меня за рукав. А то ходить тут не так просто.

— Не вполне понимаю, — сказал я с облегчением, — но, впрочем, извольте.

Я вцепился в сукно его рукава, и мы пошли вперед. Сразу же я почувствовал одну странность —

шел барон не особо быстро, во всяком случае, не быстрее, чем ходил до этой жуткой трансформации мира, но огни, мимо которых мы шли, уносились назад с чудовищной быстротой. Казалось, что мы с ним неспешно идем по какой-то платформе, которую с невероятной скоростью тянет за собой невидимый поезд, а направление движения этого поезда определяется тем, в какую сторону поворачивает барон. Впереди возникла точка одного из костров, понеслась на нас и замерла на месте у наших ног, когда барон остановился.

Возле костра сидело два человека. Они были мокрыми, полуголыми и походили на римлян — единственной их одеждой были короткие простыни, обернутые вокруг тел. Оба были вооружены — один наганом, а второй двустволкой. И оба были покрыты отвратительными и обильными воронками огнестрельных ран. Увидев барона, они повалились на землю и буквально затряслись от нестерпимого, физически ощутимого ужаса.

— Кто такие? — низким голосом спросил барон.

— Сережи Монголоида бойцы, — сказал один из них, не разгибаясь.

— Как сюда попали? — спросил барон.

— Нас по ошибке завалили, командир.

— Я вам не командир, — сказал барон. — А по ошибке никого не валят.

— В натуре, по ошибке, — жалобно сказал второй. — В сауне. Думали, что там Монголоид договор подписывает.

— Какой договор? — спросил Юнгери, недоуменно поднимая брови.

— Да нам кредит надо было отдавать. „Нефтехимпром“ лэвэ на безотзывный аккредитив сбросил, а накладная не прошла. И, значит, приезжают два быка из „Ультима Туле“...

— Безотзывный аккредитив? — перебил барон. — Ультима Туле? Понятно.

Нагнувшись, он дунул на пламя, и оно сразу же уменьшилось в несколько раз, превратившись из ревущего жаркого факела в невысокий, в несколько сантиметров, язычок. Эффект, который это оказало на двоих полуголых мужчин, был поразителен — они сделались совершенно неподвижными, и на их спинах мгновенно выступил иней.

— Бойцы, а? — сказал барон. — Каково? Кто теперь только не попадает в Валгаллу. Сережа Монголоид... А все это идиотское правило насчет меча в руке.

— Что с ними случилось? — спросил я.

— Что положено, — сказал барон. — Не знаю. Но можно посмотреть.

Он еще раз дунул на еле заметный голубоватый огонек, и пламя вспыхнуло с прежней силой. Барон несколько секунд пристально глядел в него, сощурив глаза.

— Похоже, будут быками на мясокомбинате. Сейчас такое послабление часто бывает. Отчасти из-за бесконечного милосердия Будды, отчасти из-за того, что в России постоянно не хватает мяса.

Меня поразила костер, который я только сейчас разглядел в подробностях. На самом деле его нельзя было называть костром. В огне не было ни дров, ни веток — он возникал из оплавленного отверстия в земле, по форме похожего на ровную пятиконечную звезду с узкими лучами.

— Скажите, барон, а почему этот огонь горит над пентаграммой?

— Как почему, — сказал барон. — Это ведь вечный огонь милосердия Будды. А то, что вы называете пентаграммой, на самом деле эмблема Ордена Октябрьской Звезды. Где ж тогда гореть вечному огню милосердия, как не над этой эмблемой?

— А что это за Орден Октябрьской Звезды? — спросил я, покосившись на его грудь. — Я слышал это выражение при самых разных обстоятельствах, но никто из тех, кто употреблял эти слова, не потрудился объяснить мне, что они значат.

— Октябрьская звезда? — переспросил Юнгern. — Очень просто. Знаете, как с Рождеством. У католиков оно в декабре, у православных в январе, а празднуют один и тот же день рождения. Вот и здесь такой же случай. Реформы календаря, ошибки переписчиков — короче, хоть и считается, что это было в январе, на самом деле все было в октябре.

— А что было-то?

— Вы меня удивляете, Петр. Это же одна из самых известных историй на Земле. В свое время был один человек, который не мог жить так, как другие. Он пытался понять, что же это такое — то, что происходит с ним изо дня в день, и кто такой он сам — тот, с кем это происходит. И вот, однажды ночью в октябре, когда он сидел под кроной дерева, он поднял взгляд на небо и увидел на нем яркую звезду. В этот момент он понял все до такой степени, что этой далекой секунды до сих пор...

Барон замолк, подыскивая слова, но, видимо, не нашел ничего подходящего.

— Поговорите лучше с Чапаевым, — заключил он. — Он любит про это рассказывать. Главное, что существенно — с той самой секунды горит этот огонь милосердия ко всем живым существам, огонь, который даже по служебной необходимости и то нельзя загасить целиком.

Я поглядел по сторонам. Панорама вокруг нас была поистине величественной. Мне вдруг показалось, что я вижу одну из самых древних картин на Земле, — огромная орда, остановившаяся на ночь в поле, жжет костры, и у каждого из них сидят воины, с жадной мечтой глядящие в огонь, в игре которого

им чудится золото, скот и женщины из лежащих впереди земель. Вот только куда двигалась та орда, между костров которой шли мы с Юнгерном? И о чем могли мечтать люди, сидевшие у этих костров? Я повернулся к Юнгерну.

— Скажите, барон, а почему все сидят врозь и не ходят друг к другу в гости?

— А вы попробуйте сходите, — сказал Юнгерн.

До ближайшего костра было не больше пятидесяти шагов. Кажется, возле него грелось человек пять или шесть. Я вопросительно поглядел на Юнгерна.

— Сходите, — повторил он.

Пожав плечами, я пошел вперед. Ничего особенного или необычного я не ощущал. Я шагал, наверно, минуту или две и вдруг понял, что за все это время совершенно не приблизился к яркой точке, к которой начинал свой путь. Я оглянулся. Юнгерн стоял у огня, в трех или четырех шагах сзади, и насмешливо смотрел на меня.

— Из того, что это место похоже на тот мир, который вы знаете, — сказал он, — вовсе не следует, что это он и есть.

Я заметил, что двух застывших фигур у огня уже нет — вместо них на земле остались только два темных продолговатых пятна.

— Пойдемте отсюда, — сказал Юнгерн, — в конце концов, мы хотели навестить моих ребят.

Я вцепился в его рукав, и мимо нас опять понеслись огни — скорость нашего движения была такой, что они растягивались в зигзаги и ломаные линии. Впрочем, я был почти уверен, что это какая-то иллюзия: ветра, неизбежного при такой скорости, на своем лице я не ощущал — словно когда барон начинал двигаться, в движение приходили не мы, а мир вокруг нас. Я совершенно потерял ориентацию и не понимал, куда мы несемся. Иногда мы замирали на

несколько секунд, и тогда мне удавалось рассмотреть сидящих возле ближайшего костра. Большею частью это были заросшие бородами мужики с винтовками, очень похожие друг на друга — как только мы оказывались рядом, они валились на черную землю. Один раз, кажется, вместо винтовок у них в руках оказались копья, но наша остановка была слишком короткой, чтобы я мог сказать наверняка. Я понял, что мне напоминали наши перемещения — именно такими сумасшедшими и необъяснимыми зигзагами движется в ночной тьме летучая мышь.

— Вы, надеюсь, понимаете, Петр, — захохотал в моем ухе голос барона, — что мы с вами сейчас не в таком месте, где можно врать? Или даже быть не вполне честным?

— Понимаю, — сказал я, чувствуя, что от мелькания желто-белых полос и ломаных линий у меня начинает кружиться голова.

— Ответьте мне на один вопрос, — сказал барон. — Чего вы сильнее всего хотите в жизни?

— Я? — переспросил я и задумался.

Это был вопрос, на который трудно было ответить, не соврав. Я долго думал, что же мне сказать, и не мог остановиться ни на чем, как вдруг ответ пришел сам собой.

— Я хочу найти свою *золотую удачу*, — сказал.

Барон громко захохотал.

— Отлично, — произнес он. — Но что это для вас такое — *золотая удача*?

— *Золотая удача*, — ответил я, — это когда *особый взлет свободной мысли* дает возможность увидеть *красоту жизни*. Я понятно выражаюсь?

— О да, — сказал барон. — Если бы все выражались так понятно и по существу. Как это вы пришли к такой отточенности формулировок?

— Это из моего сна, — ответил я, — точнее сказать, из моего кошмара. Эти странные слова я запом-

нил совершенно точно. Они были записаны в большой тетради из дома умалишенных, которую я листал в этом сне — а листал я ее потому, что там должно было быть что-то очень важное обо мне.

— Да, — сказал барон, поворачивая вправо (при этом карусель огней вокруг нас совершила какое-то боковое сальто), — очень хорошо, что вы сами об этом заговорили. Вы здесь находитесь именно потому, что Чапаев просил меня объяснить вам одну вещь. Собственно, нельзя сказать, что он просил меня объяснить что-то особое, чего он не мог бы растолковать сам. Он вам все уже много раз говорил — последний раз по дороге сюда. Но вы до сих пор отчего-то думаете, что мир ваших снов менее реален, чем то пространство, где вы пьянствуете с Чапаевым в баньке.

— Вы правы, — сказал я.

Барон резко остановился, и сразу же замерла пляска огней вокруг. Я заметил, что огни костров приобрели какой-то тревожный красноватый оттенок.

— Но отчего вы так думаете? — спросил он.

— Да хотя бы оттого, что в конце концов я возвращаюсь в реальный мир, — сказал я. — Туда, где я, по вашему выражению, пьянствую с Чапаевым в баньке. Нет, на интеллектуальном уровне я хорошо понимаю, что вы имеете в виду. Больше того, я даже замечал — в тот момент, когда кошмар снится, он настолько реален, что нет никакой возможности понять, что это всего лишь сон. Можно так же трогать предметы, щипать себя...

— Но тогда каким образом вы отличаете сон от бодрствования? — спросил барон.

— А таким, что когда я бодрствую, у меня есть четкое и недвусмысленное ощущение реальности происходящего. Вот как сейчас.

— А сейчас, значит, оно у вас есть? — спросил барон.

— В общем да, — сказал я с некоторой растерянностью. — Хотя ситуация, надо признать, необычная.

— Чапаев попросил меня взять вас с собой, чтобы вы хоть раз оказались в месте, которое не имеет никакого отношения ни к вашим кошмарам о доме умышленных, ни к вашим кошмарам о Чапаеве, — сказал барон. — Внимательно поглядите вокруг. В этом месте оба ваших навязчивых сна одинаково иллюзорны. Стоит мне бросить вас у костра одного, и вы поймете, о чем я говорю.

Барон замолчал, словно давая мне время прочувствовать эту жуткую перспективу. Я медленно оглядел черноту с бесчисленными точками недостижимых огней. Он был прав. Где были Чапаев и Анна? Где был зыбкий ночной мир с кафельными стенами и рассыпающимися в прах бюстами Аристотеля? Сейчас их не было нигде, и, больше того, я знал, точно знал, что нет никакого места, где они могли бы существовать, потому что я, именно я, стоявший рядом с этим непонятым человеком (да и человеком ли?), и был той возможностью, тем единственным способом, которым все эти психбольницы и гражданские войны приходили в мир. И то же самое относилось к этому мрачному лимбо, к его перепуганным обитателям и к его высокому суровому часовому — все они существовали только потому, что существовал я.

— Мне кажется, — сказал я, — я понимаю.

Юнгери с сомнением посмотрел на меня.

— Что же именно вы понимаете?

Вдруг сзади до нас донесся дикий крик:

— Я! Я! Я! Я!

Мы одновременно обернулись.

Недалеко от нас — метрах в тридцати или сорока — горел костер. Но он выглядел совсем не так, как остальные. Во-первых, другим был цвет пламени — оно было тусклым, и от него шел дым. Во-вторых, в костре что-то трещало, и от него в разные стороны летели искры. И, в-третьих, этот костер выбивался из строгой линейной планировки остальных огней — он явно горел в неполюженном месте.

— А ну-ка пойдете посмотрим, — пробормотал Юнгери и рванул меня за рукав.

Люди, сидевшие у костра, совсем не походили на остальных подопечных барона. Их было четверо; самым беспокойным был жирный детина в ядовито-розовом пиджаке, с ежиком каштановых волос на голове, напоминавшей небольшое пушечное ядро. Он сидел на земле, обхватив себя руками так, словно собственное тело вызывало в нем непристойную страсть, и не переставая вопил:

— Я! Я! Я!

Интонация его криков менялась — когда мы с бароном только услышали их, в них звучало звериное торжество, а когда мы подошли ближе, это „Я“ стало как бы вопросительным. Рядом с крикуном сидел худой тип с коком, одетый во что-то вроде матросского бушлата, и парализовано смотрел в огонь — он был неподвижен, и, если бы его губы не начинали иногда шевелиться, можно было бы решить, что он без сознания. Похоже, только бритый наголо толстяк с аккуратной бородкой был полностью в себе — он изо всех сил пихал обоих своих спутников, словно пытаясь привести их в чувство. Отчасти ему это удалось — худой блондин с коком что-то запричитал и стал раскачиваться, как на молитве. Бритый толстяк принялся было расталкивать второго своего спутника и вдруг поднял глаза на нас. Мгновенно его лицо исказилось ужасом, — что-то крикнув своим спутникам, он вскочил на ноги.

Барон тихо выругался. В его руках появилась лимонка; сняв кольцо, он кинул ее в костер — она шлепнулась на землю метрах в пяти от наших ног. Я рефлекторно упал прыгнул на землю и закрыл голову руками, но прошло несколько секунд, а взрыва все не было.

— Вставайте, — сказал барон.

Открыв глаза, я увидел его склоненную надо мной фигуру. Я видел барона как бы в искаженной перспективе — протянутая мне ладонь была у самого моего лица, а внимательно глядящие на меня глаза, в которых сливались, отражаясь, огни множества костров, казались двумя единственными звездами на здешнем небе.

— Благодарю, — сказал я, поднимаясь, — я сам. Не сработала?

— Отчего же, — сказал барон, — все отлично сработало.

Посмотрев на то место, где только что горел костер, я с изумлением увидел, что ни костра, ни сидящих вокруг него людей, ни даже выжженного пятна на земле передо мной нет.

— Что это было? — спросил я.

— Так, — сказал барон, — хулиганье. Шаманских грибов наелись. Сами не знают, куда попали.

— И вы их...

— Да нет, — сказал барон. — Что вы. Просто привел в чувство.

— Я почти уверен, — сказал я, — что уже видел где-то этого толстяка с бородкой. То есть не то что почти, я абсолютно уверен.

— Может быть, вы его видели во сне.

— Может быть, — ответил я и подумал, что так и есть — этот бритый господин однозначно ассоциировался у меня с белыми кафельными стенами и холодным прикосновением иглы к коже, которые были

обычными атрибутами моих кошмаров. Несколько секунд мне казалось, что я даже могу вспомнить его имя, но потом мое внимание увлекли какие-то другие мысли. Юнгери между тем стоял рядом молча, словно взвешивая слова, которые он собирался сказать.

— Скажите, Петр, — заговорил он наконец, — кто вы по политическим взглядам? Я полагаю, монархист?

— Разумеется, — ответил я, — а что, я даю повод для каких-то других...

— Да нет, — перебил барон. — Просто я хочу привести пример, который вы должны хорошо понять. Представьте себе непрветренную комнату, в которую набилось ужасно много народу. И все они сидят на разных уродливых табуретах, на распатанных стульях, каких-то узлах и вообще на чем попало. А те, кто попроворней, норовят сесть на два стула сразу или согнать кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете. И одновременно у каждого из этих людей есть свой собственный трон, огромный, сверкающий, возвышающийся над всем этим миром и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский — нет ничего, что было бы не во власти того, кто на него взойдет. И, самое главное, трон абсолютно легитимный — он принадлежит любому человеку по праву. Но взойти на него почти невозможно. Потому что он стоит в месте, которого нет. Понимаете? Он находится нигде.

— Да, — сказал я задумчиво, — я как раз вчера об этом думал, господин барон. Я знаю, что значит „нигде“.

— Тогда подумайте вот о чем, — сказал барон. — Здесь, как я уже говорил, оба ваших навязчивых состояния — и с Чапаевым, и без — одинаково иллюзорны. Чтобы оказаться в нигде и взойти на этот трон бесконечной свободы и счастья, достаточно

убрать то единственное пространство, которое еще остается, то есть то, где вы видите меня и себя самого. Что и пытаются сделать мои подопечные. Но шансов у них мало, и через какое-то время им приходится повторять унылый круг существования. Так почему бы вам не оказаться в „нигде“ при жизни? Клянусь вам, это самое лучшее, что в ней можно сделать. Вы, наверно, любите метафоры — так вот, это то же самое, что взять и выписаться из дома умалишенных.

— Поверьте, барон, — прочувствованно начал я, прижав руку к груди, но он не дал мне договорить.

— И сделать это нужно до того, как Чапаев использует свой глиняный пулемет. Потом, как вы знаете, не останется вообще ничего, даже „нигде“.

— Глиняный пулемет? — переспросил я. — А что это такое?

— Чапаев ничего не говорил вам?

— Нет.

Юнгерн нахмурился.

— Тогда не будем углубляться в эту тему. Пусть в вашей памяти останется метафора — выйти из дома умалишенных на свободу. И тогда, может быть, в каком-нибудь из своих кошмаров вы вспомните наш разговор. А сейчас нам пора. Ребята заждались.

Барон взял меня за рукав, и вокруг нас опять замелькали беспорядочные полосы света. Я успел выкнуть к этому фантастическому зрелищу, и моя голова больше не кружилась. Барон шел вперед, пристально вглядываясь во тьму; посмотрев на его скошенный назад подбородок, рыжие усы и горькую складку в углу рта, я подумал, что он меньше всего способен напугать кого-нибудь своим внешним видом.

— Скажите, барон, а отчего все вокруг так вас боятся? — не выдержал я. — Не хочу вас обидеть, но

в вашем облике, на мой взгляд, нет ничего страшного.

— Не все видят то же самое, что вы, — ответил барон. — Своим друзьям я обычно показываюсь в виде петербургского интеллигента, которым я действительно когда-то был. Но не следует делать выводов о том, что я действительно так выгляжу.

— А что тогда видят остальные?

— Не буду утомлять вас деталями, — сказал барон. — Скажу только, что во всех шести руках у меня острые сабли.

— Какой же из ваших обликов настоящий?

— Настоящего у меня, к сожалению, нет, — ответил барон.

Признаться, слова барона произвели на меня некоторое впечатление. Хотя, впрочем, чуть подумав, я мог бы обо всем догадаться и сам.

— Почти пришли, — сказал барон каким-то дачным тоном.

— Скажите, — заговорил я, покосившись на него, — а почему вас называют Черным Бароном?

— А, — улыбнулся Юнгern. — Наверно, дело в том, что когда я воевал в Монголии, живой Будда Богдо-Гэгэн Тутухту пожаловал мне право на черный паланкин.

— Почему же вы тогда ездите в зеленом?

— Потому что точно так же мне было пожаловано право ездить в зеленом паланкине.

— Хорошо, но почему вас тогда не называют Зеленым Бароном?

Юнгern нахмурился.

— Вам не кажется, что вы задаете многовато вопросов? — сказал он. — Лучше оглядитесь по сторонам, чтобы как следует запомнить это место. Вы его больше никогда не увидите. То есть вы, конечно, мо-

жете увидеть его снова, но я искренне надеюсь, что этого с вами не произойдет.

Я последовал совету барона.

Далеко впереди появился огонь, который казался больше других. Он не несся на нас с такой же скоростью, как остальные костры, а приближался постепенно, словно мы и правда шли к нему обычным шагом. Я догадался, что это и есть конечный пункт нашей прогулки.

— Ваши друзья у этого большого костра? — спросил я.

— Да, — ответил барон. — Я бы не стал называть их друзьями. Скорее, это мои бывшие однополчане. Когда-то я был их командиром.

— Что, вместе сражались?

— Да, — сказал барон, — и это тоже. Но важнее другое. В свое время нас вместе расстреляли в Иркутске, не скажу, что по моей вине, но все же... И поэтому я чувствую за них особую ответственность.

— Понимаю, — сказал я. — Если бы я вдруг оказался в таком темном и пустынном месте, мне бы, наверно, очень захотелось, чтобы кто-нибудь пришел мне на помощь.

— Знаете, — сказал барон, — не забывайте, что вы пока живы. Вся эта темнота и пустота вокруг вас — на самом деле самый яркий свет, который только бывает. А ну-ка по стойте.

Я машинально остановился, и барон, не дав мне времени сообразить, что он собирается сделать, резко толкнул меня в спину.

Но все же в этот раз он не застал меня врасплох. И, когда мое тело падало на землю, я словно бы успел осознать неуловимо короткий момент возвращения назад, в обычный мир — или, поскольку осознавать на самом деле было абсолютно нечего, успел по-

нять, в чем это возвращение заключается. Не знаю, как это описать. словно бы одну декорацию сдвинули, а другую не успели сразу установить на ее место, и целую секунду я глядел в просвет между ними. И этой секунды хватило, чтобы увидеть обман, стоявший за тем, что я всегда принимал за реальность, увидеть простое и глупое устройство вселенной, от знакомства с которым не оставалось ничего, кроме растерянности, досады и некоторого стыда за себя.

Толчок барона был так силен, что я успел выставить перед собой руки только в самый последний миг и ударился лбом о землю.

Когда я поднял голову, передо мной снова был обычный мир — степь, вечеряющее небо и близкая линия холмов. Спина барона покачивалась впереди — он шел к единственному во всей степи костру, над которым в небо поднимался вертикальный столб белого дыма.

Вскочив на ноги, я отряхнул испачканные на коленях брюки, но не решился пойти за ним следом. Барон подошел к костру; навстречу ему поднялись бородатые мужики в защитной форме и косматых желтых папах.

— Здорово, ребята! — зычно заорал Юнгern заливчатским командирским басом. — Как оно?

— Стараемся, ваше высокоблагородие! Ничего, живем! Слава Богу! — послышалась разноголосица в ответ. Барона обступили со всех сторон, и он совершенно скрылся из виду. Чувствовалось, что бойцы его любят.

Я заметил, что ко мне от костра идет казак в желтой папаше. У него было до того зверское лицо, что на секунду я испугался, но успокоился, заметив у него в руке граненый стакан сине-зеленого стекла.

— Чего, барин, — ощерился он, подойдя, — небось, перетрухнул?

— Да, — сказал я, — есть немного.

— Ну так поправься, — сказал казак и протянул мне стакан.

Я выпил. Это была водка. Почти сразу же мне действительно стало легче.

— Благодарю. Очень кстати.

— Что, — спросил казак, принимая пустой стакан, — с господином бароном дружитесь?

— Так, — уклончиво сказал я, — знакомы.

— Строгий он, — заметил казак. — Все по режиму. Сейчас петь будут, а потом на вопрос отвечать. То есть они отвечать будут. А я уже отстрелялся. Уезжаю сегодня. Навсегда.

Я поглядел на него — при ближайшем рассмотрении уже не казалось, что в этом лице есть что-то зверское, просто его черты были грубыми, обветренными и опаленными горным солнцем. Больше того, несмотря на всю грубость этого лица, ему было свойственно задумчивое и словно бы даже мечтательное выражение.

— Тебя как зовут-то? — спросил я казака.

— Игнатом, — ответил тот. — А тебя, значит, Петром?

— Да, — сказал я, — а откуда ты знаешь?

Игнат чуть улыбнулся:

— Сам я с Дону. А ты, видать, из столицы?

— Да, — ответил я, — питерский.

— Так ты, Петр, пока к костру не ходи. Господин барон не любят, когда петь мешают. А давай с тобой здесь посидим и послушаем. А чего не поймешь, так я объясню.

Я пожал плечами и сел на землю, скрестив по-турецки ноги.

Действительно, возле костра происходило что-то странное. Казаки в желтых папахах расселись полукругом, а барон, совсем как хормейстер, встал перед ними и поднял руки.

— Ой, то не вечер да не ве-е-ечер, — запели строгие мужские голоса, — мне да малым-мало спалось...

— Люблю эту песню, — сказал я.

— Как же ты ее, барин, любить можешь, если не слышал никогда? — спросил Игнат, присаживаясь рядом.

— Почему же не слышал? Это ведь старая казачья песня.

— Не, — сказал Игнат. — Путаешь. Эту песню господин барон специально для нас сочинили, чтоб мы пели и думали. А чтобы нам легче запомнить было, в ней и слова такие же, как в той песне, про которую ты говоришь, и музыка.

— В чем же тогда заключается его участие? — спросил я. — Я имею в виду, как тогда можно отличить ту песню, которая была раньше, от той, которую господин барон сочинил, если там и слова такие же, и музыка?

— А у той песни, которую господин барон сочинили, смысл совсем другой. Вот послушай, объясню. Слышь, поют: „Мне малым-мало спалось да во сне привиделось“. Это знаешь что значит? Что хоть и не спалось, а все равно привиделось как бы во сне, понимаешь? То есть разницы нету — что спи, что не спи, все одно, сон.

— Понимаю, — сказал я. — А дальше?

Игнат дождался следующего куплета.

— Вот, — сказал он. — Слушай. „Мне во сне привиделось, будто конь мой вороной разрезвился, расплясался, разыгрался подо мной“. А тут вообще мудрость скрыта. Ты человек образованный, знаешь, наверно, есть в Индии такал древняя книга — Ебанишада.

— Знаю, — сказал я, немедленно вспомнив о недавнем разговоре с Котовским.

— Так вот там написано, что у человека ум — это как у казака лошадь. Все время вперед нас движет. Только господин барон говорят, что нынче у людей совсем другой коленкор пошел. Никто с этой своей лошадью совладеть не может, и поэтому она, можно сказать, удила закусил, и не всадник теперь ей управляет, а она его куда хочет, туда и несет. Так что всадник и думать забыл, что он куда-то попасть хотел. Куда лошадь выбредет, там и едет. Господин барон даже книгу нам обещали принести специальную, называется „Всадник без головы“ — она вроде бы на специальном примере про это написана. Но забывают все время. Люди больно заняты. И то уж такое спасибо, что...

— А дальше что? — перебил я.

— Дальше? Что дальше. „А есаул-то наш догадлив был, он сумел сон мой разгадать... Ой да пропадет, он говорил мне, твоя буйна голова.“ Ну, про есаула понятно — это господин барон про себя так сложили, они у нас и правда догадливые. Да и насчет головы тоже понятно — это прямо по Ебанишаде. Раз ум так расплясался, что сам не знает, куда едет, то ему, понятное дело, только пропадать. И еще тут смысл один есть. Это мне недавно только господин барон сказали на ухо. Такой смысл, что всю эту мудрость людскую все одно здесь бросить придется. Но жалеть не надо, господин барон сказали, потому не надо, что самого главного все это не касается. Потому и поется, что не ты сам пропадешь, а только голова твоя буйная. А ей все равно туда и дорога.

Игнат задумчиво уперся руками в подбородок и замолчал, вслушиваясь в пение:

— Ой, да подули ветры злы-ы-е
Да-а с восточной стороны-ы
И сорвали желту шапку
С моей буйной головы...

Я некоторое время ожидал комментария, но его не последовало. Тогда я сам решился нарушить молчание.

— Насчет ветров с востока я еще понять могу, — сказал я, — как говорится, ex oriente lux. Но почему шапку-то срывает?

— А чтоб привязанностей не было.

— А почему шапка желтая?

— Так мы ж Гелугпа. Вот и шапки у нас желтые. Были бы Кармапа, так шапка была бы красная. А если бы были Бон-по, как на Дону, так она бы черная была. Но сущность за всем этим одна. Как голова пропадать будет, так какая ей тогда разница, какая на ней была шапка? А с другой стороны подойти — там, где воля начинается, никакие цвета уже ничего не значат.

— Да, — сказал я, — неплохо вас господин барон обучил. Только что же это за самое главное, что начинается, когда буйна голова пропадает?

Игнат тяжело вздохнул.

— Вот тут-то и фокус, — сказал он. — Господин барон об этом каждый вечер спрашивают. А сказать никто не может, хотя все и стараются. Ты хоть знаешь, что бывает, когда кто из ребят на такой вопрос отвечает?

— Откуда же мне знать, — сказал я.

— Господин барон его сразу же переводит в Особый Полк Тибетских Казаков. Это совсем особый род войск. Можно сказать, краса и слава всей Азиатской Конной Дивизии. Хотя, если подумать, не место такому полку в конной дивизии, потому что те, кто в нем служат, не на лошадях ездят, а на слонах.

Я подумал, что передо мной, скорее всего, один из тех вралей-самородков, которые, не задумываясь, сочинят историю любой степени неправдоподобия, но уснастят ее таким количеством реальных деталей, что хоть на секунду, но заставят в нее поверить.

— Как же со слона-то шашкой рубить? — спросил я. — Неудобно будет.

— Неудобно, так на то она и служба, — сказал с усмешкой Игнат и поднял на меня глаза. — Не веришь, барин? Ну и не верь. Я, пока на вопрос господина барона не ответил, тоже не верил. А сейчас уже и верить не надо, потому что знаю все.

— Так ты, значит, на этот вопрос ответил?

Игнат важно кивнул головой.

— Потому и хожу теперь, как человек, по полю. А не к огню жмусь.

— Что же ты сказал барону?

— А что я сказал, то тебе не поможет, — ответил Игнат. — Тут не изо рта надо отвечать. И не из головы.

Некоторое время мы молчали; Игнат, казалось, о чем-то задумался. Вдруг он поднял голову.

— А вон и господин барон идут. Так что пора нам с тобой попрощаться.

Я оглянулся и увидел высокую худую фигуру барона. Он приближался к месту, где сидели мы с Игнатом. Игнат встал; я на всякий случай последовал его примеру.

— Ну что, — спросил барон Игната, подойдя, — готов?

— Так точно, — ответил Игнат, — готов.

Барон сунул два пальца в рот и совершенно побандитски свистнул. После этого случилось нечто абсолютно неожиданное и невообразимое.

Из-за узкой полосы невысоких кустов, поднимавшейся за нашими спинами, неожиданно вышел огромный белый слон. Он появился именно из-за кустов, хотя по высоте был раз в десять их выше, и я совершенно не в силах объяснить, как это произошло. Не то чтобы он был маленьким в тот момент, когда появился, а потом, приближаясь к нам, вырос

в размерах в несколько раз. И не то чтобы он вышел из-за какой-то невидимой стены, совпадавшей по своему расположению с этими кустами. Выходя из-за кустов, слон уже был неправдоподобно огромным, и вместе с тем он вышел именно из-за крохотной полоски кустов, за которой вряд ли могла бы спрятаться и овца.

Со мной повторилось то же самое, что и несколько минут назад — мне показалось, что вот-вот я пойму что-то очень важное, что вот-вот станут видны спрятанные за покровом реальности рычаги и тяги, которые приводят в движение все вокруг. Но это чувство прошло, а огромный белый слон остался перед нами.

У него было шесть бивней — по три с каждой стороны. Я решил, что галлюцинирую, но потом сообразил, что если то, что я вижу — галлюцинация, то вряд ли она сильно отличается по своей природе от всего остального.

Игнат подошел к слону и бойко вскарабкался на него по расположенным друг под другом бивням, которые образовывали некое подобие лестницы. Вел он себя так, словно всю жизнь перед этим только и делал, что объезжал белых слонов с шестью бивнями на пригрезившихся кому-то плоскогорьях — повернувшись к костру, где молча сидели фигурки в хаки и желтых шапках, он помахал им рукой, повернулся и ударил слона пятками. Слон двинулся вперед, сделал несколько шагов, а затем я увидел ослепительную вспышку света, в которой он исчез. Вспышка была такой яркой, что почти с минуту я не видел вообще ничего, кроме ее желто-фиолетового отпечатка на сетчатке моих глаз.

— Забыл предупредить, что будет вспышка, — сказал Юнгern. — Это вообще-то вредно для зрения. У нас в Азиатской Конной Дивизии в таких случаях

было принято защищать глаза повязкой из черной материи.

— А что, такие случаи часто бывали?

— Раньше да, — сказал барон. — Бывало, что и по несколько раз в день. При такой частоте вообще ослепнуть можно. Это сейчас народ как-то измельчал. Ну что, прошло? Видите?

Я уже стал различать окружающие предметы.

— Вижу, — сказал я.

— Хотите, покажу вам, как это бывало когда-то?

— А как вы собираетесь это сделать?

Вместо ответа барон вытащил из ножен пашку.

— Смотрите на лезвие, — сказал он.

Я поглядел на лезвие и, как на киноэкране, увидел на ярко-белой полосе стали подвижное изображение. Это был песчаный бархан, на котором стояла группа офицеров. Их было около десяти человек; на некоторых была обыкновенная военная форма, а двое или трое были в папахах и маскировочных казачьих балахонах с чем-то вроде патронташей на месте нагрудных карманов. Все они были в черных повязках поверх глаз, и их головы были повернуты в одном направлении. Я вдруг узнал среди стоящих на холме Чапаева — несмотря на повязку, которая скрывала его глаза. Он казался намного моложе, и на его висках не было седины. Одной рукой он прижимал к повязке на глазах небольшой полевой бинокль, а другой похлопывал себя стеком по сапогу. Мне показалось, что человек в казачьей форме недалеко от Чапаева — барон Юнгерт, но я не успел его разглядеть, потому что лезвие повернулось, и стоящие на холме исчезли. Теперь я видел бесконечную гладь пустыни. Вдали, выделяясь на фоне яркого неба, двигались два силуэта. Приглядевшись, я сумел различить контуры двух слонов. Они были слишком далеко, чтобы можно было разглядеть

всадников, которые казались просто крошечными выступами на их спинах. Вдруг горизонт залило нестерпимо ярким светом, а когда он угас, остался только один слон. На холме зааплодировали. И сразу же я увидел вторую вспышку.

— Барон, я так без глаз останусь, — сказал я, отводя взгляд от лезвия.

Юнгерн убрал пашку в ножны.

— Что это там желтое на траве? — спросил я. — Или это у меня пятна перед глазами?

— Нет, не пятна, — сказал барон. — Это шапка Игната.

— А, буйны ветры сорвали? С восточной стороны?

— С вами положительно приятно беседовать, Петр, — сказал барон, — все понимаете. Хотите взять ее на память?

Я нагнулся и поднял ее с земли. Папаха приплась мне как раз впору. Некоторое время я размышлял, что мне делать со своей — не придумав ничего лучше, я просто бросил ее на землю.

— На самом деле я понимаю далеко не все, — сказал я. — Чего, например, я не понимаю совершенно, это где вы в такой глухомани раздобыли слона.

— Милый Петр, — сказал барон, — вокруг нас бродит невероятное количество невидимых слонов, поверьте мне на слово. Их в России больше, чем ворон. Но сейчас я хотел бы переменить тему. Видите ли, вам уже пора назад, так что позвольте сказать вам напоследок одну вещь. Может быть, самую главную.

— Какую?

— Насчет того, куда попадает человек, которому удалось взойти на трон, находящийся нигде. Мы называем это место „Внутренней Монголией“.

— Кто это „мы“?

— Считайте, что речь идет о Чапаеве и обо мне, — сказал барон с улыбкой. — Хотя я надеюсь, что в это „мы“ со временем можно будет включить и вас.

— А где оно, это место?

— В том-то и дело, что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположено в географическом смысле. Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово „внутри“ здесь совершенно не подходит. И никакая это на самом деле не Монголия, просто так говорят. Было бы глупей всего пытаться описать вам, что это такое. Поверьте мне на слово хотя бы в одном — очень стоит стремиться туда всю жизнь. И не бывает в жизни ничего лучше, чем оказаться там.

— А как увидеть пустоту?

— Увидьте самого себя, — сказал барон. — Извините за невольный каламбур.

Несколько секунд я размышлял.

— Могу я быть с вами откровенным?

— Конечно, — ответил Юнгern.

— Место, где мы только что побывали — я имею в виду эту черную степь с кострами — показалось мне довольно мрачным. Если Внутренняя Монголия, о которой вы говорите — что-то похожее, то я вряд ли захотел бы там оказаться.

— Знаете что, Петр, — сказал Юнгern с ухмылкой, — когда вы, например, устраиваете дебош в каком-нибудь кабаке вроде „Музыкальной Табакерки“, то можно предположить, что вы видите примерно то же самое, что и окружающие. Хотя это тоже большой вопрос. Но там, где мы только что были, все очень индивидуально. Там нет ничего, что существовало бы, что называется, на самом деле. Все зависит от того, кто на это смотрит. Для меня, например, все

вокруг залито ослепительно ярким светом. А для моих ребят, — Юнгери кивнул на фигурки в желтых папах,двигающиеся вокруг костра, — вокруг то же самое, что видите вы. Точнее, это для вас вокруг то же самое, что видят они.

— Почему?

— Знаете, что такое визуализация? — спросил барон. — Когда множество верующих начинает молиться какому-нибудь богу, он действительно возникает, причем именно в той форме, в которой его представляют.

— Я в курсе, — сказал я.

— Но то же самое относится ко всему остальному. Мир, где мы живем — просто коллективная визуализация, делать которую нас обучают с рождения. Собственно говоря, это то единственное, что одно поколение передает другому. Когда достаточное количество людей видит эту степь, траву и летний вечер, у нас появляется возможность видеть все это вместе с ними. Но какие бы формы ни были нам предписаны прошлым, на самом деле каждый из нас все равно видит в жизни только отражение своего собственного духа. И если вы обнаруживаете вокруг себя непроглядную темноту, то это значит только, что ваше собственное внутреннее пространство подобно ночи. Еще хорошо, что вы агностик. А то знаете, сколько в этой темноте шастало бы всяких богов и чертей.

— Господин барон... — начал было я, но Юнгери перебил:

— Только не думайте, что в этом есть что-то унижительное для вас. Очень мало кто готов признать, что он такой же в точности, как и другие люди. А разве это не обычное состояние человека — сидеть в темноте возле огня, зажженного чьим-то милосердием, и ждать, что придет помощь?

— Может быть, вы правы, — сказал я. — Но что же такое эта Внутренняя Монголия?

— Внутренняя Монголия — как раз и есть место, откуда приходит помощь.

— И что, — спросил я, — вы там бывали?

— Да, — сказал барон.

— Почему же вы тогда вернулись?

Барон молча кивнул в сторону костра, у которого жались молчаливые казаки.

— Да и потом, — сказал он, — я оттуда на самом деле не возвращался. Я и сейчас там. А вот вам, Петр, действительно пора возвращаться.

Я огляделся.

— А куда, собственно говоря?

— Я покажу, — сказал барон.

Я заметил в его руке тяжелый вороненый пистолет и вздрогнул. Барон засмеялся.

— Ну право же, Петр, что вы? Нельзя до такой степени не доверять людям.

Он сунул другую руку в карман шинели и вынул сверток, который дал ему Чапаев. Развернув его, он показал мне самую обыкновенную чернильницу с черной пробкой.

— Смотрите на нее внимательно, — сказал он, — и не отводите взгляда.

С этими словами он подбросил чернильницу вверх и, когда она отлетела от нас на два примерно метра, выстрелил.

Чернильница превратилась в облако синих брызг и осколков, которые, секунду провисев в воздухе, осыпались на стол.

Я пошатнулся и, чтобы не упасть от внезапного головокружения, оперся рукой о стену. Передо мной был стол, на котором была расстелена безнадежно испорченная карта, а рядом стоял раскрывший рот Котовский. Со стола на пол капал растекающийся из лопнувшей лампы глицерин.

— Ну что, — сказал Чапаев, поигрывая дымящимся маузером, — понял, что такое ум, а, Гриша?

Котовский, обхватив руками лицо, повернулся и выбежал на улицу. Видно было, что он пережил чрезвычайно сильное потрясение. Впрочем, то же можно было сказать и обо мне.

Чапаев повернулся ко мне и некоторое время внимательно на меня смотрел. Вдруг он наморщился и сказал:

— А ну дыхни!

Я подчинился.

— Ну и ну, — сказал Чапаев. — Секунды не прошло, а уже нажрался. И почему шапка желтая? Почему шапка желтая, а? Ты что, сукин кот, под трибунал захотел?

— Так я ж один стакан только...

— Малчать! Ма-алчать, тебе говорю! Тут полк ткачей прибыл, устраивать надо, а ты пьяный ходишь? Меня перед Фурмановым позоришь? А ну пошел отсыпаться! И еще раз тебя за таким замечу, сразу под трибунал! А трибунал у меня — хочешь узнать, что такое?

Чапаев поднял свой никелированный маузер.

— Нет, Василий Иванович, — сказал я, — не хочу.

— Спать! — повторил Чапаев. — И пока к койке идти будешь, не дыши ни на кого.

Я повернулся и пошел к двери. Дойдя до нее, я обернулся. Чапаев стоял у стола и грозно глядел мне вслед.

— У меня только один вопрос, — сказал я.

— Ну?

— Я хочу сказать... Я уже давно знаю, что единственное реальное мгновение времени — это „сейчас“. Но мне непонятно, как можно вместить в него такую длинную последовательность ощущений? Зна-

чит ли это, что этот момент, если находиться строго в нем и не сползать ни в прошлое, ни в будущее, можно растянуть до такой степени, что станут возможны феномены вроде того, что я только что испытал?

— А куда ты собираешься его растягивать?

— Я неправильно выразился. Значит ли это, что этот момент, эта граница между прошлым и будущим, и есть дверь в вечность?

Чапаев пошевелил стволом маузера, и я замолчал. Некоторое время он смотрел на меня с чувством, похожим на недоверие.

— Этот момент, Петька, и есть вечность. А никакая не дверь, — сказал он. — Поэтому как можно говорить, что он когда-то происходит? Когда ж ты только в себя придешь...

— Никогда, — ответил я.

Глаза Чапаева округлились.

— Ты смотри, Петька, — сказал он удивленно. — Неужто понял?

Оказавшись в своей комнате, я стал думать, чем себя занять, чтобы успокоиться. Мне вспомнился совет Чапаева записывать свои кошмары, и я подумал о своем недавнем сне на японскую тему. В нем было много непонятного и путаного, но все же я помнил его почти во всех деталях. Начинался он с того, что в странном подземном поезде объявляли название следующей станции — это название я помнил и даже знал, откуда оно взялось: несомненно, мое сознание, подчиненное сложному кодексу мира сновидений, за миг до пробуждения создало его из имени лошади, которое выкрикивал под моим окном какой-то боец, — причем этот выкрик отразился сразу в двух зеркалах, превратившись кроме станции в название футбольной команды, разговором о которой мой сон

кончался. Это означало, что сон, казавшийся мне очень подробным и длинным, на самом деле занял не больше секунды, но после сегодняшней встречи с бароном Юнгерном и разговора с Чапаевым ничего не казалось мне удивительным. Сев за стол, я придвинул к себе стопку бумаг, обмакнул перо в чернильницу и крупными буквами вывел в верхней части листа: „Осторожно, двери закрываются! Следующая станция „Динамо“!

Работал я долго, несколько часов, но не успел записать и половины того, что помнил. Из точки, где касалось бумаги мое перо, выплывали детали и подробности, мерцавшие таким декадансом, что под конец я перестал толком понимать — действительно ли я записываю свой сон или начинаю импровизировать на его тему. Мне захотелось курить; взяв со стола папиросы, я спустился во двор.

Внизу была суета; часть прибывших солдат строилась в колонну; воняло дегтем и лошадиным потом. Я заметил маленький полковой оркестр, стоявший позади колонны — несколько мятых труб и огромный барабан, который держал на ремне высокий парень, похожий на безусого Петра Первого. Не знаю, почему, но от вида этого оркестра я испытал невыразимую тоску.

Командовал построением тот самый человек с сабельным шрамом на щеке, которого я видел из окна. Перед моими глазами встали заснеженная площадь у вокзала, затянутая кумачом трибуна, Чапаев, рубящий воздух желтой крагой, и этот человек, стоящий у ограждения и вдумчиво кивающий головой в ответ на чудовищно бессмысленные фразы, которые Чапаев обрушивал на каре заснеженных бойцов. Это, несомненно, был Фурманов. Он повернул лицо в мою сторону, и, прежде чем он сумел меня узнать, я нырнул в дверь усадьбы.

Поднявшись к себе, я лег на кровать и уставился в потолок. Мне вспомнился сидевший у потустороннего костра бритоголовый толстяк с бородой, и я вспомнил его фамилию — Володин. Откуда-то из глубин моей памяти появилась кафельная зала с укрепленными на полу ваннами и этот Володин, голый и мокрый, по-жабьи сидящий на полу возле одной из них. Мне показалось, что я вот-вот вспомню что-то еще, но тут во дворе запели трубы, тяжело ухнул полковой барабан, и хор ткачей, памятный мне по давней железнодорожной ночи, грянул:

— Белая армия, черный барон
снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильнее!!!

— Идиоты, — прошептал я, поворачиваясь к стене и чувствуя, как мне на глаза наворачиваются слезы бессильной ненависти к этому миру, — Боже мой, какие идиоты... Даже не идиоты — тени идиотов... Тени во мгле...

— А почему, собственно говоря, вам показалось, что они похожи на тени? — спросил Тимур Тимурович.

Володин нервно дернулся, но ремни, прижимавшие его руки и ноги к гарроте, не дали ему сдвинуться с места. На его лбу блестели крупные капли пота.

— Не знаю, — сказал он. — Вы же спросили, что я думал в тот момент. Вот я и думал, что, если бы рядом оказался некий сторонний наблюдатель, он бы, наверно, решил, что мы нереальны, что мы просто игра теней и отблесков огня. Я же сказал, что там костер был. Хотя, Тимур Тимурович, тут уже все зависит от этого наблюдателя...

Костер на поляне только начинал разгораться и давал недостаточно света, чтобы рассеять мглу и осветить сидящих вокруг него людей. Они казались просто размытыми призрачными тенями, которые падали на невидимый экран от головешек и комьев земли, лежащих у огня. Может быть, в некотором высшем смысле так оно и было. Но, поскольку последний местный неоплатоник еще задолго до XX съезда партии перестал стыдиться, что у него есть тело, в радиусе ста километров от поляны прийти к такому выводу было некому.

Поэтому лучше сказать просто — в полутьме во-

круг костра сидело три лба. Причем такого вида, что, переживи наш неоплатоник XX съезд со всеми последующими прозрениями и выйди из леса на огонек поговорить с приезжими о неоплатонизме, он, скорее всего, получил бы тяжелые увечья сразу после того, как слово „неоплатонизм“ нарушило бы тишину ночи. Судить об этом можно было по множеству признаков.

Главным из них был стоящий недалеко от костра дорогой японский джип-амфибия „Харбор Пирл“. Другим признаком была огромная лебедка, помещавшаяся на носу джипа, — вещь совершенно бесполезная в повседневной жизни, но частая на бандитских машинах. (Антропологи, занимающиеся исследованием „новых русских“, считают, что на разборках такими лебедками пользуются как тараном, а некоторые ученые даже усматривают в их широком распространении косвенное свидетельство давно чуждого возрождения национальной духовности — с их точки зрения, лебедки выполняют мистическую функцию носовых фигур, украшавших когда-то славянские ладьи). Словом, было ясно, что люди на джипе приехали серьезные — такие, при которых лучше на всякий случай не произносить лишних слов. Они тихо переговаривались.

— По сколько штук надо, а, Володин? — спросил один из них.

— Кому сколько, — ответил Володин, разворачивая на коленях бумажный сверток. — Я, например, по сто уже ем. А тебе бы советовал штук с тридцати начать.

— А хватит?

— Хватит, Шурик, — сказал Володин, деля содержимое свертка, темную горку чего-то сухого и ломкого, на три неравных части. — Еще по всему лесу будешь бегать, искать, где бы спрятаться. И ты, Колян, бегать будешь.

— Я? — басом спросил третий из сидевших у костра. — Это от кого же я бегать буду?

— От себя, Колян. От себя самого, — ответил Володин.

— Да я ни от кого в жизни не бегал, — сказал Колян, принимая свою порцию в ладонь, похожую на кузов игрушечного самосвала. — Ты за базаром-то следи. Чего это я от себя побегу? Как это вообще быть может?

— Это только на примере объяснить можно, — сказал Володин.

— Давай на примере.

Володин немного подумал.

— Ну представь, что приходит к нам в офис какой-нибудь гад, делает пальцы веером и говорит, что делиться надо. Чего делать будешь?

— Завалю козла, — сказал Колян.

— Ты чего? Прямо в офисе валить? — спросил Шурик.

— Не колышет. За пальцовку отвечают.

Шурик похлопал Коляна по плечу, повернулся к Володину и успокаивающе сказал:

— Не в офисе, конечно. Стрелку назначим.

— Хорошо, — сказал Володин. — Значит, стрелку, да? А потом? Пусть Колян скажет.

— Ну как, — отозвался Колян. — Потом приедем. Когда козел этот подвалит, скажу — братишка, объявись, кто такой. Он тереть начнет, а я подожду минуту, головой покиваю, и шмальну... Ну а потом остальных.

Он поглядел на горку темной трухи на ладони и спросил:

— Чего, прямо так и глотать?

— Сначала прожуй, — сказал Володин.

Колян отправил содержимое ладони в рот.

— Грибным супом пахнет, — сообщил он.

— Глотай, — сказал Шурик. — Я съел, нормально.

— Значит, шмальнешь, — задумчиво сказал Володин. — А если они вас самих под волены поставят?

Колян несколько секунд размышлял, двигая челюстями, потом сглотнул и уверенно сказал:

— Не, не поставят.

— Хорошо, — сказал Володин, — а ты его как, прямо в машине валить будешь, издалека, или выйти дашь?

— Выйти дам, — сказал Колян. — В машине только лохи валят. Дырки, кровь. Зачем вещь портить. Лучший вариант — это чтоб он к нашей машине подошел.

— Ладно. Пусть лучший вариант будет. Представь, что он из своей машины вылез, подошел к твоей, и только ты шмалеть собрался, глядь...

Володин выдержал значительную паузу.

— Глядь, а это не он, а ты сам и есть. А тебе шмалеть надо. Теперь скажи, поедет от такого крыша?

— Поедет.

— А когда крыша едет, заднего врубить не запаadlo?

— Не запаadlo.

— Так ты врубишь, раз не запаadlo?

— Раз не запаadlo, конечно.

— Вот и выходит, что ты от себя побежишь. Понял?

— Нет, — после паузы сказал Колян, — не понял. Если это не он, а я, то я тогда где?

— Ты и есть он.

— А он?

— А он — это ты.

— Не пойму никак, — сказал Колян.

— Ну смотри, — сказал Володин. — Можешь себе

представить, что ничего вокруг нет, а есть только ты? Всюду?

— Могу, — сказал Колян. — У меня так пару раз от черной было. Или от кукнара, не помню.

— Так как ты в него тогда шмальнешь, если вокруг только ты? В любом раскладе себе блямбу и припаяешь. Крыша поехала? Поехала. И вместо того, чтобы шмалеть, ты ноги вставишь. Теперь подумай, что по понятиям выходит? Выходит, что ты от себя и побежишь.

Колян долго думал.

— Шурик шмальнет, — сказал наконец он.

— Так он же в тебя попадет. Ведь есть только ты.

— Почему, — вмешался Шурик. — У меня-то крыша не поехала. Я в кого надо шмальну.

На этот раз надолго задумался Володин.

— Не, — сказал он, — так не объяснишь. Пример неудачный. Сейчас, грибочки придут, тогда продолжим.

Следующие несколько минут прошли в тишине — сидящие у костра открыли несколько банок консервов, нарезали колбасы и выпили водки — это было сделано молча, как будто все обычно произносимые при этом слова были мелки и неуместны на фоне чего-то мрачно-невывыказанного, объединяющего присутствующих.

Выпив, сидящие так же молча выкурили по сигарете.

— А почему вообще у нас такой базар пошел? — вдруг спросил Шурик. — В смысле про стрелку, про крышу?

— А Володин говорил, что мы от себя по лесу бегать будем, когда грибы придут.

— А. Понял. Слушай, а почему так говорят — „придут“, „приход“? Откуда они вообще приходят?

— Это ты меня спрашиваешь? — спросил Володин.

— Да хоть тебя, — ответил Шурик.

— Я бы сказал, что изнутри приходят, — ответил Володин.

— То есть что, они там все время и сидят?

— Ну как бы да. Можно и так сказать. И не только они, кстати. У нас внутри — весь кайф в мире. Когда ты что-нибудь глотаешь или колешь, ты просто высвобождаешь какую-то его часть. В наркотике-то кайфа нет, это же просто порошок или вот грибочки... Это как ключик от сейфа. Понимаешь?

— Круто, — задумчиво сказал Шурик, отчего-то начав крутить головой по часовой стрелке.

— В натуре круто, — подтвердил Колян, и на несколько минут разговор стих.

— Слушай, — опять заговорил Шурик, — а вот там, внутри, этого кайфа много?

— Бесконечно много, — авторитетно сказал Володин. — Бесконечно и невообразимо много, и даже такой есть, какого ты никогда здесь не попробуешь.

— Бля... Значит, внутри типа сейф, а в этом сейфе кайф?

— Грубо говоря, да.

— А можно сейф этот взять? Так сделать, чтоб от этого кайфа, который внутри, потащило?

— Можно.

— А как?

— Этому всю жизнь надо посвятить. Для чего, по-твоему, люди в монастыри уходят и всю жизнь там живут? Думаешь, они там лбом о пол стучат? Они там прутся по-страшному, причем так, как ты здесь себе за тысячу грин не вмажешь. И всегда, понял? Утром, днем, вечером. Некоторые даже когда спят.

— А от чего они прутся? Как это называется? — спросил Колян.

— По-разному. Вообще можно сказать, что это милость. Или любовь.

— Чья любовь?

— Просто любовь. Ты, когда ее ощущаешь, уже не думаешь — чья она, зачем, почему. Ты вообще уже не думаешь.

— А ты ее ощущал?

— Да, — сказал Володин, — было дело.

— Ну и как она? На что похоже?

— Сложно сказать.

— Ну хоть примерно. Что, как черная?

— Да что ты, — поморщившись, сказал Володин. — Черная по сравнению с ней говно.

— Ну а что, типа как героин? Или винт?

— Да нет, Шурик. Нет. Даже и сравнивать не пробуй. Вот представь, ты винтом протрескался, и тебя поперло — ну, скажем, сутки будет переть. Бабу захочешь, все такое, да?

Шурик хихикнул.

— А потом сутки отходить будешь. И небось думать начнешь — да на фига мне все это надо было?

— Бывает, — сказал Шурик.

— А тут — как вставит, так уже не отпустит никогда. И никакой бабы не надо будет, ни на какую хавку не пробьет. Ни отходняка не будет, ни ломки. Только будешь молиться, чтоб перло и перло. Понял?

— И круче, чем черная?

— Намного.

Володин нагнулся над костром и пошевелил ветки. Сразу же вспыхнул огонь, причем так сильно, словно в костер плеснули бензина. Пламя было каким-то странным — от него летели разноцветные искры необычайной красоты, и свет, упавший на лица сидящих вокруг, тоже был необычным — радужным, мягким и удивительно глубоким.

Теперь сидящие у костра стали хорошо видны. Володин был полным, кругловатым человеком лет

сорока, с бритой наголо головой и небольшой аккуратной бородкой. В целом он был похож на цивилизованного басмача. Шурик был худым вертлявым блондином, делавшим очень много мелких бессмысленных движений. Он казался слабосильным, но в его постоянном нервном дерганье проглядывало что-то настолько пугающее, что перекачанный Колян рядом с ним казался щенком волкодава. Словом, если Шурик олицетворял элитный тип питерского бандита, то Колян был типичным московским лохотроном, появление которого было гениально предсказано футуристами начала века. Он весь как бы состоял из пересечения простых геометрических тел — шаров, кубов и пирамид, а его маленькая обтекаемая головка напоминала тот самый камень, который, по выражению евангелиста, выкинули строители, но который, тем не менее, стал краеугольным в новом здании российской государственности.

— Вот, — сказал Володин, — пришли грибочки.

— Ну, — подтвердил Колян. — Еще как. Я аж синий весь стал.

— Да, — сказал Шурик. — Мало не кажется. Слушай, Володин, а ты это серьезно?

— Что — „это“?

— Ну, насчет того, что можно такой пёр на всю жизнь устроить. Чтоб тащило все время.

— Я не говорил, что на всю жизнь. Там другие понятия.

— Ты же сам говорил, что все время переть будет.

— Такого тоже не говорил.

— Коль, говорил он?

— Не помню, — пробубнил Колян. Он, казалось, ушел из разговора и был занят чем-то другим.

— А что ты говорил? — спросил Шурик.

— Я не говорил, что все время, — сказал Володин. — Я сказал „всегда“. Следи за базаром.

— А какая разница?

— А такая, что там, где этот кайф начинается, никакого времени нет.

— А что там есть тогда?

— Милость.

— А что еще?

— Ничего.

— Не очень врублюсь что-то, — сказал Шурик. — Что она тогда, в пустоте висит, милость эта?

— Пустоты там тоже нет.

— Так что же есть?

— Я же сказал, милость.

— Опять не врубаюсь.

— Ты не расстраивайся, — сказал Володин. — Если б так просто врубиться можно было, сейчас бы пол-Москвы бесплатно перлось. Ты подумай — грамм кокаина две сотни стоит, а тут халява.

— Двести пятьдесят, — сказал Шурик. — Не, что-то тут не так. Даже если бы сложно врубиться было, все равно про это люди бы знали и перлись. Додумались же из солутана винт делать.

— Включи голову, Шурик, — сказал Володин. — Вот представь, что ты кокаином торгуешь, да? Грамм — двести пятьдесят баксов, и с каждого грамма ты десять грин имеешь. И в месяц, скажем, пятьсот грамм продал. Сколько будет?

— Пятьдесят штук, — сказал Шурик.

— А теперь представь, что какая-то падла так сделала, что вместо пятисот граммов ты пять продал. Что мы имеем?

Шурик пошевелил губами, проговаривая какие-то тихие цифры.

— Имеем босый х...й, — ответил он.

— Вот именно. В Макдональдс с блядью сходить хватит, а чтоб самому нюхнуть — уже нет. Что ты тогда с этой падлой сделаешь, которая тебе так устроила?

— Завалю, — сказал Шурик. — Ясное дело.

— Теперь понял, почему про это никто не знает?

— Думаешь, те, кто дурь пихает, следят?

— Тут не в наркотиках дело, — сказал Володин. — Тут бабки гораздо круче замазаны. Ведь если ты к вечному кайфу прорвешься, ни тачка тебе нужна не будет, ни бензин, ни реклама, ни порнуха, ни новости. И другим тоже. Что тогда будет?

— П...да всему придет, — сказал Шурик и огляделся по сторонам. — Всей культуре и цивилизации. Понятное дело.

— Вот поэтому и не знает никто про вечный кайф.

— А кто все это контролирует? — чуть подумав, спросил Шурик.

— Автоматически получается. Рынок.

— Вот только не надо мне этого базара про рынок, — сказал Шурик и наморщился. — Знаем. Автоматически. Когда надо, автоматически, а когда надо, одиночными. А еще скобу поднять — на предохранитель. Кто-то масть держит, и все. Потом может узнать, кто — лет так через сорок, не раньше.

— Никогда не узнаем, — не открывая глаз, сказал Колян. — Ты чего? Сам подумай. Когда у человека лимон грин есть, он уже сидит тихо, а если кто про него гундосить начнет, завалят сразу. А те, кто масть держат, или власть там, они же насколько круче! Мы чего, мы какого-нибудь лоха прибьем, или там офис сожжем, и все. Санитары джунглей. А эти могут танки подогнать, если не перетерли. А мало будет — самолет. Да хоть бомбу атомную. Вон посмотри — Дудаев отстегивать перестал, и как на него сразу наехали, а? Если бы в последний момент не спохватились, так он вообще никому отстегнуть уже не смог бы. Или про Белый дом вспомни. Мы на „Нефтехимпром“ так разве сможем наехать?

— Чего ты своим Белым домом грузишь, — сказал Шурик. — Проснулся. Мы политику не трогаем. У нас разговор о вечном кайфе... Слушай... А в натуре... Ведь говорили по ящику, что Хасбулатов все время обдолбанный ходит. Может, они там с Рудким про вечный кайф поняли? И хотели всем по телевизору рассказать, пошли Останкино брать, а их кокаиновая мафия не пустила... Не, это уже крыша едет.

Шурик охватил руками голову и затих.

Лес вокруг дрожал ровными радужными огнями непонятной природы, а в небе над поляной вспыхивали удивительной красоты мозаики, не похожие ни на что из того, что встречает человек в своей изнурительной повседневности. Мир вокруг изменился — он сделался гораздо более осмысленным и одушевленным, словно стало наконец понятно, зачем на поляне растет трава, зачем дует ветер и горят звезды в небе. Но метаморфоза произошла не только с миром, но и с сидящими у костра.

Колян как бы втянулся сам в себя, закрыл глаза, и его маленькое квадратное лицо, обычно выражавшее хмурую досаду, теперь не несло на себе отпечатка чувств и больше всего напоминало оплывший кусок несвежего мяса. Стандартный каштановый ежик на его голове тоже как-то смялся и стал похож на меховую оторочку нелепой шапочки. Его двубортный розовый пиджак в прыгающем свете костра казался каким-то древнетатарским боевым нарядом, а золотые пуговицы на нем походили на бляшки из кургана.

Шурик сделался еще тоньше, вертлявей и страшнее. Он походил на сколоченный из дрянных досок каркас, на который много лет назад повесили сушить какое-то тряпье и забыли, а в этом тряпье непостижимым образом затеплилась жизнь, да так утвердилась, что многому вокруг пришлось потесниться. В целом он мало походил на живое существо и

из-за своего кашемирового бушлата больше всего напоминал электрифицированное чучело матроса.

С Володиным никаких резких изменений не произошло. Невидимый резец словно бы стесал все острые углы и неровности его материальной оболочки, оставив только мягкие и плавные, переходящие друг в друга линии. Его лицо стало немного бледнее, а в стеклах очков отражалось чуть больше искр, чем летело от костра. Его движения тоже приобрели закругленную плавность и точность — словом, по многим признакам было видно, что человек ест грибы далеко не в первый раз.

— Уй, круто, — нарушил тишину Шурик, — ну круто! Коль, ты как?

— Никак, — сказал Колян, не открывая спекшихся глаз. — Огоньки какие-то.

Шурик повернулся к Володину и, после того, как вызванные его резким движением колебания эфира утихли, сказал:

— Слышь, Володин, а ты сам-то знаешь, как в этот вечный кайф попасть?

Володин промолчал.

— Не, я все понял, — сказал Шурик. — Типа я понял, почему не знает никто и почему базарить про это нельзя. Но мне-то скажи, а? Я же не лох. Буду себе тихо переться на даче, и все.

— Брось ты, — сказал Володин.

— Нет, ты мне что, в натуре не веришь? Думаешь, проблемы будут?

— Да нет, — сказал Володин, — не думаю. Только ничего хорошего из этого не выйдет.

— Ну давай, — сказал Шурик, — не мурыжь.

Володин снял очки, аккуратно протер их краем рубашки и опять надел.

— Тут самое главное понять надо, — сказал он, — а как объяснить, не знаю... Ну вот помнишь, мы про внутреннего прокурора говорили?

— Помню. Это который за беспредел повязать может. Как Раскольников, который бабку завалил. Думал, что его внутренний адвокат отмажет, а не вышло.

— Точно. А как ты считаешь, кто этот внутренний прокурор?

Шурик задумался.

— Не знаю... Наверно, я сам и есть. Какая-то моя часть. Кто ж еще.

— А внутренний адвокат, который тебя от него отмазывает?

— Наверно, тоже я сам. Хотя странно как-то выходит, что я сам на себя дело завожу и сам себя отмазываю.

— Ничего странного. Так всегда и бывает. Теперь представь, что этот твой внутренний прокурор тебя арестовал, все твои внутренние адвокаты облажались, и сел ты в свою собственную внутреннюю мушкетерню. Так вот вообрази, что при этом остается кто-то четвертый, которого никто никуда не тащит, кого нельзя назвать ни прокурором, ни тем, кому он дело шьет, ни адвокатом. Который ни по каким делам никогда не проходит — типа и не урка, и не мужик, и не мусор.

— Ну представил.

— Так вот этот четвертый и есть тот, кто от вечного кайфа прется. И объяснять ему ничего про этот кайф не надо, понял?

— А кто этот четвертый?

— Никто.

— Его как-нибудь увидеть-то можно?

— Нет.

— Ну может, не увидеть, а почувствовать хотя бы?

— Тоже нет.

— Так выходит, его и нет на самом деле?

— На самом деле, если хочешь знать, — сказал Володин, — этих прокуроров и адвокатов нет. Да и тебя, в сущности, тоже. Уж если кто-то и есть, так это он.

— Не въезжаю я в твой базар. Ты лучше объясни, что делать надо, чтобы в вечный кайф попасть?

— Ничего, — сказал Володин. — В том-то все и дело, что ничего делать не надо. Как только ты что-нибудь делать начинаешь, сразу дело заводится, верно? Так?

— По понятиям вроде так.

— Ну вот. А как дело завели, так сразу — прокуроры, адвокаты и все такое.

Шурик замолчал и сделался неподвижен. Одушеворявшая его энергия мгновенно перешла к Колян, который вдруг словно пробудился — открыв глаза, он пристально и недружелюбно посмотрел на Володина и оскалился, блеснув палладиевой коронкой.

— А ты, Володин, нас тогда нагрузил про внутреннего прокурора, — сказал он.

— Это почему? — удивленно спросил Володин.

— А потому. Мне потом Вовчик Малой книгу одну дал, где все про это растерто, хорошо растерто, в натуре. Ницше написал. Там, сука, витиевато написано, чтоб нормальный человек не понял, но все по уму. Вовчик специально одного профессора голодного нанял, посадил с ним пацана, который по-свойски кумекает, и они вдвоем за месяц ее до ума довели, так, чтоб вся братва прочесть могла. Перевели на нормальный язык. Короче, этого твоего внутреннего мента грохнуть надо, и все. И никто тогда не заберет, понял?

— Ты что, Колян? — ласково и даже как бы жалостливо спросил Володин. — Подумал, что говоришь? Знаешь, что за мента будет?

Колян расхохотался.

— От кого? От других внутренних ментов? Так в том-то и дело, что надо всех внутренних ментов грохнуть.

— Ну ладно, — сказал Володин, — допустим, ты всех внутренних ментов грохнул. Так ведь тогда тобой внутренний ОМОН займется.

— Я твой базар на километр вперед вижу, — сказал Колян. — Потом у тебя внутреннее ГБ будет, потом внутренняя группа „Альфа“, и так далее. А я тебе так скажу — всех их грохнуть надо, а потом самому своим внутренним президентом стать.

— Ладно, — сказал Володин. — Допустим, стал ты своим внутренним президентом. А если у тебя сомнения появятся, что делать будешь?

— А ничего, — сказал Колян. — Подавить и вперед.

— Значит, все-таки тебе внутренние менты нужны будут, чтобы сомнения подавлять? А если сомнения большие, то и внутреннее ГБ?

— Так они ж теперь на меня работать будут, — сказал Колян. — Я же свой собственный президент. Четыре сбоку, ваших нет.

— Да, хорошо тебя Вовчик Малой подковал. Ну ладно, допустим, стал ты своим внутренним президентом, и есть у тебя свои собственные внутренние менты и даже большая-большая служба внутренней безопасности со всякими там тибетскими астрологами.

— Вот именно, — сказал Колян. — Так, чтоб и близко никто не подошел.

— И что ты тогда делать будешь?

— А что захочу, — сказал Колян.

— Ну например?

— Ну например бабу возьму и на Канары поеду.

— А там что?

— Я же говорю, что захочу. Захочу — искупаюсь

пойду, захочу — бабу трахну, захочу — дури покурю.

— Ага, — сказал Володин, и в его очках блеснули красные языки огня, — покуришь дури. А тебя от дури на думку пробивает?

— Пробивает.

— Ну а если ты президент, то и мысли у тебя государственные должны быть?

— Ну да.

— Так вот я тебе скажу, что дальше будет. Как ты первый раз дури покуришь, так пробьет тебя на государственную думку и будет твоему внутреннему президенту внутренний импичмент.

— Прорвемся, — сказал Колян, — внутренние танки введу.

— Да как ты их введешь? Ведь кого на думку пробило? Тебя. Значит, этому внутреннему президенту ты сам импичмент и объявишь. Так кто тогда танки вводить будет?

Колян промолчал.

— Сразу новый президент будет, — сказал Володин. — А уж что тогда со старым эта самая служба внутренней безопасности сделает, чтобы перед новым выслужиться, даже подумать страшно.

Колян задумался.

— Ну и что, — сказал он неуверенно. — Новый президент так новый президент.

— Так ты же сам прошлым был, правда? Значит, кого тогда на внутренней Лубянке шлангом по почкам будут мочить? Молчишь? Тебя. Теперь подумай, что лучше — чтоб тебя внутренние менты за старуху забрали, или чтоб как бывшего внутреннего президента — во внутреннее ГБ?

Колян наморщился, выставил вперед растопыренные веером пальцы, собираясь что-то сказать, но, видимо, в голову ему неожиданно пришла непри-

ятная мысль, потому что он вдруг опустил лицо и сник.

— Ой, да... — сказал он. — Лучше, наверно, не соваться. Сложно все...

— Вот тебя внутренние менты и повязали, — констатировал Володин. — А ты говоришь — Ницше, Ницше... Да с самым твоим Ницше знаешь, что было?

Колян прочистил горло. От его губ отделился похожий на крохотного бультерьера плевок и шлепнулся в костер.

— Гад ты, Володин, — сказал он. — Опять, сука, замазал все. Я недавно кино посмотрел по видаку, „Палп фикшн“, про американскую братву. Так мне легко потом было! Словно понял, как жить надо дальше. А с тобой как ни поговоришь, так чернота одна впереди... Я тебе так скажу — я сам никогда твоих внутренних ментов не встречал. А встречу — или валить буду, или под психа закошу.

— А зачем этих внутренних ментов валить? — вмешался Шурик. — Зачем это надо, когда им отстегнуть можно?

— А что, внутренние менты тоже берут? — спросил Колян.

— Конечно, берут, — сказал Шурик. — Ты третьего „Крестного отца“ смотрел? Помнишь там дона Корлеоне? Он, чтобы от своих внутренних ментов отмазаться, шестьсот лимонов грин в Ватикан перевел. И со всей своей мокрухой на внутренний условняк отбился.

Он повернулся к Володину.

— Чего, может скажешь, внутренние менты не берут?

— Какая разница — берут, не берут.

— Верно, — сказал Шурик, — базар не об этом был. Это Колян ментов мочить начал. Сейчас вспом-

ним. Мы с тобой про вечный кайф говорили. Точно. Про какого-то четвертого, который от вечного кайфа прется, пока ты с внутренними прокурорами и адвокатами разбираешься.

— Вот именно. Дело ведь не в том, какой ты с этими внутренними ментами расклад сделаешь — замочишь их там, отстегивать начнешь или с повинной явишься. Ведь ни мент этот, ни тот, кто ему взятку дает или кается, они ведь не существуют на самом деле. Это ведь ты сам ими всеми по очереди притворяешься. Ты же это вроде понял.

— На самом деле не очень.

— Вспомни, как вы до демократии с Коляном у ГУМа работали. Когда он валюту продавал, а ты с ментовским удостоверением подходил и вроде забирал его вместе с клиентом. Помнишь? Ты же говорил, что, если на время сам не поверишь, что ты мент, клиент тоже не поверит и ног не сделает. Значит, ментом себя ощущал?

— Ну, ощущал.

— А может, ты им и в самом деле становился?

— Володин, — сказал Шурик, — ты мне друг, но в натуре прошу — следи за базаром.

— Я за весь базар отвечу, ты дальше слушай. Понимаешь, что мы имеем? Ты и сам можешь верить какое-то время, что ты мент. А теперь представь, что ты всю жизнь то же самое делаешь, только не клиента обманываешь, а сам себя, и все время в свой обман веришь. То ментом становишься, то тем, кого он забирает. То прокурором, то адвокатом. Ведь почему я сказал, что их нет на самом деле? Потому что когда ты прокурор, где тогда адвокат? А когда ты адвокат, то где тогда прокурор? Нигде. Вот и выходит, что они тебе типа снятся, въехал?

— Ну допустим, въехал.

— А кроме этих ментов у тебя там еще столько всяких хлебобрезов, ффраеров и сук своей очереди до-

жидается, что пока ты ими всеми становиться будешь, жизнь пройдет. На тебя внутри такая очередь, как при коммунистах за колбасой не было. А если ты хочешь вечный кайф понять, надо всю эту очередь оттереть, понял? Ни кем не становиться, и все. Ни прокурором, ни адвокатом.

— А как?

— Я же говорю, никак. Пока ты что-то как-то делаешь, ты все время или прокурор, или адвокат. А тут ничего и никак не надо делать, понял?

Шурик некоторое время размышлял.

— Да ну его, — сказал он наконец. — Лучше я кокаину пять грамм возьму, чем с ума сходить. Может, меня с этого вечного кайфа и не попрет — вот не прусь же со шмали.

— Поэтому и не знает никто про вечный кайф, — сказал Володин. — Именно поэтому.

Наступила тишина, на этот раз — надолго. Володин принялся ломать сучья и подбрасывать их в костер. Шурик вынул из кармана плоскую металлическую фляжку с выдавленным контуром статуи Свободы, сделал из нее несколько больших глотков и передал Коляну. Колян тоже отпил, отдал фляжку Шурику и принялся через равные интервалы времени плевать на угли.

Сучья в огне тихонько постреливали — то одиночными, то короткими очередями, и казалось, что костер — это целая маленькая вселенная, где какие-то крохотные корчащиеся существа, еле заметные тени которых мелькают между языков огня, борются за место возле падающих на угли плевков, чтобы хоть на несколько мгновений спастись от невыносимого жара. Печальна была судьба этих существ — даже если кто-нибудь и догадался бы об их призрачном существовании, разве он смог бы объяснить им, что на самом деле они живут не в этом огне, а в полном ночной прохлады лесу, и достаточно перестать

стремиться к пузырящимся на углях комкам бандитской слюны, чтобы все их страдания навсегда кончились? Наверно, кто-нибудь и смог бы. Может быть, это вышло бы у жившего когда-то неподалеку неоплатоника — но вот беда, умер, бедняга, так и не увидев XX съезда.

— Воистину, — печально сказал Володин, — мир этот подобен горящему дому.

— Какой там горящий дом, — с готовностью отзывался Шурик. — Пожар в бардаке во время наводнения.

— А что делать? Жить-то надо, — сказал Колян. — Скажи, Володин, а ты в конец света веришь?

— Это вещь строго индивидуальная, — сказал Володин. — Вот шмальнет в тебя чечен какой-нибудь, и будет тебе конец света.

— Еще кто в кого шмальнет, — сказал Колян. — А как ты полагаешь, правда, что всем православным амнистия будет?

— Когда?

— На страшном суде, — сказал Колян тихо и быстро.

— Ты чего, во все это фуффло веришь? — недоверчиво спросил Шурик.

— Не знаю даже, верю или нет, — сказал Колян. — Я раз с мокрухи шел, на душе тоска, сомнения всякие — короче, душевная слабость. А там ларек с иконками, книжечки всякие. Ну я одну и купил, „Загробная жизнь“ называется. Почитал, что после смерти бывает. В натуре, все знакомое. Сразу узнал. Кэпээ, суд, амнистия, срок, статья. Помереть — это как из тюрьмы на зону. Отправляют душу на такую небесную пересылку, мытарства называется. Все как положено, два конвойных, все дела, снизу карцер, сверху ништяк. А на этой пересылке тебе дела шьют — и твои, и чужие, а ты отмазываться должен по каждой статье. Главное кодекс

знать. Но если кум захочет, он тебя все равно в карцер засадит. Потому что у него кодекс такой, по которому ты прямо с рождения по половине статей проходишь. Там, например, такая статья есть — за базар ответишь. И не когда базарил где не надо, а вообще, за любое слово, которое в жизни сказал. Понял? Как на цырлах не ходи, а посадить тебя всегда есть за что. Была б душа, а мытарства найдутся. Но кум тебе срок скостить может, особенно если последним говном себя назовешь. Он это любит. А еще любит, чтоб боялись его. Боялись и говном себя чувствовали. А у него — сияние габаритное, крылья веером, охрана — все дела. Сверху так посмотрит — ну что, говно? Все понял? Я почитал, и вспоминаю — давно, еще когда я на штангиста учился, и перестройка была, что-то похожее в „Огоньке“ печатали. И вспомнил, а как вспомнил, так вспотел даже. Человек, значит, при Сталине жил, как теперь после смерти!

— Не въехал, — сказал Шурик.

— Смотри, при Сталине после смерти атеизм был, а теперь опять религия. А по ней после смерти все как при Сталине. Ты прикинь, как тогда было. Все знают, что по ночам в Кремле окошко горит, а за ним — Он. И он тебя любит как родного, а ты его и боишься до усеру, и тоже как бы любить должен всем сердцем. Как в религии. Я про Сталина почему вспомнил — стал думать, как так можно — бояться до усеру и одновременно любить всем сердцем.

— А если ты не боишься? — спросил Шурик.

— Значит, страха Божия не имеешь. А за это — карцер.

— Какой карцер?

— Там про это немного написано. Главное, тьма там и скрежет зубовой. Я как прочел, полчаса потом думал, какие у души зубы. Чуть крыша не съехала. Потом дальше стал читать. Так понял, что

если говном вовремя назовешься, даже не назовешься, а в натуре поймешь, что всегда говном был полным, тебе амнистия выйдет — в рай пустят, к нему. Главный кайф у них, как я понял, на кума все время смотреть, как он на трибуне парад принимает. И ничего им больше не надо, потому что там или это, или зубами у параша скрипеть, и все. И главное, сука, главное в этом деле то, что другого и быть ничего не может — или на верхние нары, или в карцер. Короче, всю систему просек. Только не въехал, кто так придумал круто? Володин, ты как думаешь?

— Ты Глобуса помнишь? — спросил Володин.

— Который банкиром стал? Помню, — ответил Колян.

— Я тоже помню, — сказал Шурик, отхлебывая освобождающей жидкости из своей фляжки с рельефом. — Сильно перед смертью поднялся. На „поршаке“ ездил, цепи на нем по пять кусков каждая были. По телевизору показывали — спонсор, хуё моё, все дела.

— Да, — сказал Володин, — а как в Париж приехал за кредитом, знаешь, что сделал? Пошел с их банкиром в ресторан, чтоб за столом по душам поговорить. А сам нажрался, как в „Славянском базаре“, и давай орать: „Официант, двух педерастов и ведро чифиря!“ Он сам голубым не был, просто на зоне...

— Мне-то объяснять не надо. Чего дальше было?

— Ничего. Принесли. И привели. Там ведь рынок.

— А кредит дали?

— Не в том дело, дали или не дали. Ты подумай, раз он в таких понятиях жизнь кончил, то он, выходит, с зоны никогда и не выходил на самом деле. Просто так поднялся, что на „поршаке“ по ней ездить стал и интервью давать. А потом на этой зоне даже свой Париж нашелся. Так вот если бы этот Глобус со

своим цифирем и педерастами о загробной жизни задумался, что бы ему в голову пришло?

— Да он о таком сроду не думал.

— Ну а если бы подумал? Если он ничего, кроме зоны не знает, а к высшему, к свету, как всякий человек, тянется, что бы он себе представил?

— Не пойму тебя, — сказал Колян, — куда ты клонишь. Какой высший свет? Пугачева, что ли, с Киркоровым? Никогда он не тянулся ни в какой высший свет, а вот вышка ему в натуре светила.

— А я понял, — сказал Шурик. — Если бы Глобус о загробной жизни думать стал, он точняк эту твою брошюру себе бы и представил. Да и не только Глобус. Ты, Коль, сам подумай — у нас же страна зоной отродясь была, зоной и будет. Поэтому и Бог такой, с мигалками. Кто тут в другого поверит?

— Тебе чего, страна наша не нравится? — строго спросил Колян.

— Почему, нравится. Местами.

Колян повернулся к Володину.

— Слышь, а Глобусу тогда в Париже кредит дали?

— Вроде дали, — сказал Володин. — Банкиру этому все понравилось очень. С педерастами у них там всегда нормально было, а вот цифиря не пробовали. Он там даже в моду вошел, называется чай а-ля рюсс нуво.

— Слушай, — сказал вдруг Шурик, — а я чего подумал... Ой... Ну дела...

— Чего? — спросил Колян.

— А может, все и не так на самом деле. Может, не потому Бог у нас вроде пахана с мигалками, что мы на зоне живем, а наоборот — потому на зоне живем, что Бога себе выбрали вроде кума с сиреной. Ведь всю эту фигню про зубы у души, про топку, в которой коммунык жгут, про конвой на небе — это же все сколько веков назад придумали! А у нас про-

сто решили рай на Земле построить. Так ведь и построили! В натуре, по чертежам и построили! А как рай построили, оказалось, что он без ада не работает, потому что какой же может быть рай без ада? Это не рай будет, а так, ху...та. Значит... Не, даже думать дальше боюсь.

— Может, там, где люди говна меньше делают, и Бог добрее. Типа в Штатах или там в Японии, — сказал Колян.

— Чего скажешь, Володин? — спросил Шурик.

— Чего скажу? Как вверху, так и внизу. А как внизу, так и вверху. А когда все вверх дном, как объяснить, что ни верха нет, ни низа? Вот и говорят на Руси — ночью жопа барынька.

— Во прется чувак, — сказал Колян. — Даже завидно. Ты сколько съел-то?

— Тебя самого не прет, что ли? — спросил Шурик. — По всему загробному миру только что проехал. И еще нас с собой прокатил. У тебя, оказывается, не только мент с адвокатом внутри, у тебя еще и целый синод.

Колян вытянул руку вперед и внимательно на нее поглядел.

— Во, — сказал он. — Опять синий стал. Почему я все время от грибов этих синим становлюсь?

— Портишься быстро, — сказал Шурик и повернулся к Володину. — Слушай, ну дела. Базар съезжает вслед за крышей. Мы же про вечный кайф говорить начали, а погляди, куда занесло.

— Куда занесло? — спросил Володин. — По-моему, как сидели, так и сидим. Костер вот горит, петухи поют.

— Какие петухи? Это пэйджер у Коляна.

— А... Ну ничего, запоют еще.

Шурик усмехнулся и отхлебнул из фляжки.

— Володин, — сказал он, — а я все-таки понять хочу, кто этот четвертый.

— Кто?

— Четвертый. Не помнишь, что ли? С чего разговор пошел — что есть внутренний прокурор, внутренний адвокат и тот, кто от внутреннего кайфа прется. Только непонятно, почему он четвертый? Он же тогда третий выходит.

— А про подсудимого забыл? — спросил Володин. — Про того, кого они судят? Ты же не можешь сразу из своего прокурора стать своим адвокатом. Хоть секундочку подсудимым надо побыть. Вот это и есть третий. А четвертый о всех этих раскладах и не подозревает даже. Ему, кроме вечного кайфа, вообще ничего не надо.

— А откуда он про вечный кайф знает?

— Кто тебе сказал, что он про него знает?

— Ты сам и сказал.

— Я такого не говорил. Я говорил, что ему про вечный кайф объяснять ничего не надо. Это не значит, что он про него что-то знает. Если бы он что-то знал, — Володин сильно выделил интонацией слово „знал“, — то он по твоему внутреннему делу как свидетель проходил бы.

— У меня, значит, еще и свидетели внутри есть? Ну-ка поясни.

— Вот представь, сделал ты какое говно. Внутренний прокурор говорит, что ты падла, подсудимый в стену глядит, а внутренний адвокат что-то лепит про тяжелое детство.

— Ну.

— Но ведь чтобы заседание началось, ты ведь про это говно, которое ты сделал, вспомнить должен?

— Понятное дело.

— Так вот когда ты про него вспоминаешь, ты свидетелем и становишься.

— Тебя послушать, — сказал Шурик, — так у меня внутри целый зал суда.

— А ты думал.

Шурик некоторое время молчал, а потом вдруг хлопнул себя по ляжкам.

— А! — резко выкрикнул он, — Все понял! Понял, как в вечный кайф попасть! Для этого надо этим четвертым стать, правильно? Типа как прокурором или адвокатом.

— Правильно. Но только как ты им станешь?

— Не знаю. Наверно, захотеть надо.

— Если ты захочешь стать четвертым, ты не им станешь, а тем, кто захотел им стать. А это большая разница. Ведь ты прокурором становишься не тогда, когда хочешь им стать, а тогда, когда говоришь себе в душе: „Шурик, ты говно“. А уже потом твой внутренний адвокат замечает, что только что был прокурором.

— Ладно, — сказал Шурик. — Тогда скажи, как можно стать этим четвертым, если ты этого не хочешь?

— Дело не в том, хочешь ты или не хочешь. Дело в том, что если ты чего-то хочешь, ты уже точно не этот четвертый, а кто-то другой. Потому что четвертый вообще ничего не хочет. Зачем ему чего-то хотеть, когда вокруг — вечный кайф?

— Слушай, чего ты все так темнишь и темнишь? Можешь по-нормальному сказать, кто этот четвертый?

— Сказать-то что угодно можно. Смысла нет.

— Ну ты попробуй все-таки.

— Можно, например, сказать, что это сын Божий.

Не успели стихнуть эти слова, как сидящие вокруг костра вдруг услышали доносящиеся со всех сторон петушиные крики. Если вдуматься, это было очень странно, потому что кур и петухов в округе не водилось со времен XX съезда. Тем не менее, кукареканье раздавалось вновь и вновь, и эти древние

звуки заставляли думать о страшном — не то о колдовстве и чертовщине, не то о прорвавшихся к Москве конных дудаевцах, мчащихся по степи со „Стингерами“ наперевес и орущих петухами, чтобы пустить военную разведку по ложному следу. В пользу последнего предположения говорило то, что крики всегда прилетали по три сразу, а потом наступала короткая пауза. Это было очень загадочно, очень. Некоторое время все зачарованно вслушивались в эту забытую музыку, а потом крики не то стихли, не то до такой степени слились с фоном, что перестали вызывать интерес. Сидящие вокруг костра, верно, подумали — мало ли чего не бывает под грибами? И разговор возник вновь.

— Ты мне все мозги компостируешь и компостируешь, — сказал Шурик. — Чего, не можешь прямо сказать, как им стать?

— Я же тебе объяснял, если бы им как-то стать можно было, все бы перлись давно. В том то и дело, что единственный способ стать этим четвертым, это перестать становиться всеми остальными.

— Это что, никем надо стать?

— Никем тоже надо перестать быть. Надо одновременно никем не становиться и перестать быть никем, понял? И сразу как вставит, как поперет! Только ойкнуть успеешь. И навсегда.

Колян тихо ойкнул. Шурик покосился на него. Колян сидел неподвижно, как окаменевший. Его рот превратился в треугольную дыру, а глаза, казалось, повернулись вовнутрь.

— Ну ты нагрузил, в натуре, — сказал Шурик. — Сейчас крыша поедет.

— А пусть поедет, пусть, — нежно сказал Володин. — Зачем тебе эта крыша нужна?

— Не, так нельзя, — сказал Шурик. — Если у меня крыша поедет, ты тогда тоже без крыши останешься.

— Это как? — спросил Володин.

— А ты вспомни, кто у тебя крыша. Это мы с Коляном и есть. Верно, Колян?

Колян не отвечал.

— Эй, Колян! — позвал Шурик.

Колян опять не ответил. Он сидел у костра, выпрямив спину и глядя прямо перед собой, но, несмотря на то, что прямо перед ним сидел Шурик, а чуть левее — Володин, было ясно, что смотрит он не на них, а именно в никуда. Но самым интересным было не это, а то, что над его головой появился уходящий далеко ввысь столб света.

При первом взгляде этот столб казался совсем тоненькой ниточкой, но как только Шурик с Володиным обратили на него внимание, он вдруг начал расширяться и становиться все более и более ярким, странным образом освещая при этом не поляну и сидящих вокруг костра, а только сам себя. Сначала он стал шириной с голову Коляна. Потом в него попал костер и все четверо сидевших вокруг. А потом вдруг оказалось, что вокруг — только этот свет, и ничего больше.

— Атас, — прилетел со всех сторон голос Шурика.

Собственно говоря, никаких сторон уже не было, и голосов тоже. Вместо голоса было некое присутствие, которое заявляло о себе таким образом, что делалось ясно — это Шурик. А смысл заявления о себе был таким, что наиболее точно ему соответствовало слово „Атас“.

— Ну атас в натуре. Володин, ты меня слышишь?

— Слышу, — отозвался отовсюду Володин.

— Это и есть вечный кайф?

— А чего ты меня спрашиваешь? Ты сам посмотри. Ты сейчас сам все знаешь и видишь.

— Да... А это вокруг что? А, ну да... Конечно. А куда остальное все делось?

— Никуда не делось. Все на месте. Ты получше приглядишься-то.

— Ах, ну да же. Колян, ты где? Ты как?

— Я! — отозвалось в сияющей пустоте. — Я!

— Эй, Колян! Откликнись!

— Я!!! Я!!!

— Вот ведь как все на самом деле, а? Ну кто бы мог подумать? — возбужденно и счастливо продолжал Шурик. — Никогда бы не подумал. Слышь, Володин, ты даже не отвечай ничего, я сам пойму... Никто не мог бы подумать... Я тебе сейчас скажу. Просто потому что об этом нельзя подумать! Никак нельзя подумать! Нельзя подумать никак!

— Я!!! — откликнулся Колян.

— И, оказывается, ничего страшного нет в мире, — продолжал Шурик. — Ну ничего совершенно. Все знаю, все вижу. Что хочешь увидеть могу и понять. Да вот хотя бы... Ну и ну... Слышь, Колян, зря мы Косого-то завалили тогда. Он в натуре бабок не брал. Это... Так это ж ты взял, Колян!

— Я!!! Я!!! Я!!! Я!!!

— Кончай базарить, — вмешался Володин, — а то выкинет всех.

— Так он же сука, — заорал Шурик, — он всех кинул!

— Говорю, кончай. Нашел время. На себя лучше посмотри.

— На какого еще себя?

— А кто сейчас говорит? Вот на него и посмотри.

— На себя? Ой... Да... Ой...

— Так-то. А говоришь, страшного ничего нет в мире.

— Да... Верно... Ой, бля-я-я! Слышь, Володин, и правда страшно. Очень страшно. На самом деле страшно. Володин, слышь, а где свет-то? Володин? Страшно!

— А говоришь, страшного ничего нет в мире, — сказал Володин, поднял голову и расширившимися глазами посмотрел в пустоту, будто что-то в ней увидел.

— Так, — сказал он изменившимся голосом, пихая Шурика и Коляна, — ноги делаем. Быстро!

— Володин! Не слышу тебя почти! — раскачиваясь из стороны в сторону, орал Шурик, — Володин, страшно! Эй, Колян! Отзовись, Колян!

— Я. Я. Я.

— Эй, Колян! Ты меня видишь? На себя только не смотри, а то темно станет. Ты меня видишь, Колян?

— Я? Я?

— В лес бежим, быстро! — повторил Володин и вскочил на ноги.

— Какой лес? Ведь никакого леса нет на самом деле!

— Ты главное беги, а лес образуется. Давай беги! И ты, Колян, ноги делай. Сбор у костра.

— Я?! Я?! Я?!!

— Головка от х...я. Говорю, все в лес бежим! Шухер!

Если даже допустить, что костер, горевший на поляне несколько часов назад, действительно был маленькой вселенной, то теперь эта вселенная прекратила свое существование, и все страдания ее обитателей угасли вместе с ними. Поляна была темна, пуста и безвидна, и только легкий дымок носился над угасшими углями.

Вдруг в машине зазвонил радиотелефон, и сразу же в кустах зашуршала какая-то испугнутая мелкая живность. Радиотелефон звонил долго, и примерно на двадцатом гудке эта настойчивость была вознаграждена. Из леса долетел хруст веток и быстро приближающиеся шаги, смутная тень метнулась через поляну к машине, и раздался голос:

— Алло! Акционерное общество „Ультима Туле“! Конечно узнал, конечно. Да! Да! Нет! Скажи Сереже Монголоиду, чтобы он меня не злил. Никаких перечислений. Налом без эндээс, а договор порвем. Завтра в десять в конторе... Не, не в десять, а в двенадцать. Все.

Это был Володин. Положив трубку, он открыл багажник машины, нашарил в нем канистру и плеснул из нее на остатки костра. Ничего не произошло — видимо, даже угли успели погаснуть. Тогда Володин чиркнул спичкой, бросил ее на землю, и вверх взвился яркий клуб красно-желтого огня.

Спрятав канистру в багажник, он несколько минут собирал по поляне сучья и ветки и кидал их в огонь, и, когда из леса на свет выбрали Шурик с Коляном, костер уже снова всю пылал на том же месте.

Появились они по очереди. Сначала появился Колян — перед тем, как выйти на поляну, он почему-то долго сидел в кустах на ее краю, вглядываясь из-под ладони в огонь. Затем он все же решился, подошел к костру и молча сел на свое прежнее место. Шурик подошел минут через десять — держа в руке „ТТ“ с длинным глушителем, он выбрал на поляну, оглядел Коляна с Володиным и спрятал пистолет под свой кашемировый бушлат.

— Чтоб я эти поганки когда-нибудь в жизни еще раз в рот взял, — сказал он глухим голосом, — ни за какие бабки. Две обоймы расстрелял, а в кого — не пойму.

— Не понравилось? — спросил Володин.

— Сначала-то ничего было, — ответил Шурик, — а вот потом... Слушай, а о чем мы перед самым взрывом говорили?

— Перед каким взрывом? — удивленно спросил Володин.

— Ну это... Или как назвать...

Шурик поднял глаза на Володина, словно надеясь, что тот подскажет ему нужные слова, но Володин сохранял молчание.

— Ну как, — сказал Шурик, — в самом начале мы о вечном кайфе говорили, это я помню. А потом базар куда-то съехал, тыр-пыр, а потом как огнем в глаза даст... Ты же еще сам орал, чтоб в лес бежали. Я, как в себя пришел, сначала подумал, что машина взорвалась. Что эти козлы из „Нефтехимпрома“ бомбу подложили. А потом думаю — вроде нет. Огонь был, это точно, а бензином не воняло. Значит, психика.

— Да, — сказал Володин, — факт. Психика.

— Это что, и был твой вечный кайф? — спросил Шурик.

— Можешь считать, что да, — ответил Володин.

— А как ты сделал, что мы его все увидели? — спросил Шурик.

— Это не я сделал, — ответил Володин, — это Колян. Это он нас туда затащил.

Шурик поглядел на Коляна. Тот недоуменно пожал плечами.

— Да, — продолжал Володин, собирая лежащие у костра вещи и кидая их в открытую дверь машины, — вот такие дела. Посмотри, Шурик, на своего кореша. По понятиям никогда не волок особо, а сподобился. Правильно базарят, блаженны нищие духом.

— Ты чего, ехать собираешься? — спросил Шурик.

— Собираюсь, — сказал Володин. — Пора. У нас в двенадцать с „Нефтехимпромом“ стрелка. А пока доедем, пока то да се...

— В общем, ничего не помню толком, — подвел Шурик итоги. — Только чувствую себя странно. Первый раз в жизни что-то хорошее сделать хочет-

ся. Помочь кому, что ли. Или от мук спасти. Всех-всех сразу взять и спасти...

Он на секунду поднял к звездному небу лицо, которое приобрело мечтательное и возвышенное выражение, и тихо вздохнул. Потом — видимо, придя в себя, — шагнул к костру, повернулся к двум своим спутникам спиной, повозился руками возле пояса, и языки огня почти мгновенно угасли под ударом тяжелой пенной струи.

Через несколько минут машина уже ехала по проселочной дороге, больше похожей на прорытый в лесу неглубокий окол. Колян похрапывал на заднем сиденье, сидевший за рулем Володин вглядывался в прорезанную лучами фар темноту, а Шурик о чем-то размышлял, нервно покусывая нижнюю губу.

— Слушай, — сказал он наконец. — Я еще вот чего не понял. Ты же говорил, что вечный кайф если раз вставит, то потом уже не кончится никогда.

— Так это не кончится никогда, — ответил Володин, морщась и резко выкручивая руль, — если ты сам туда по нормальному придешь, через дверь. А сейчас мы, можешь считать, через форточку лазим. Вот сигнализация и сработала.

— Крутая сигнализация, — сказал Шурик. — В натуре крутая.

— Это что, — сказал Володин. — Могли и повязать. Бывали случаи. Вот с Ницше этим, про которого Колян базарил, как раз такой случай и вышел.

— А если там забирают, то куда? — со странным почтением в голосе спросил Шурик.

— На физическом плане в дурдом, а куда на тонком — не знаю даже. Загадка.

— Слушай, — спросил Шурик, — а ты что, сам туда просто так можешь попадать? Когда захочешь?

— Не, — сказал Володин. — Я... Как бы тебе объяснить... Не пролезаю. Очень много духовных бо-

гатств за жизнь собрал. А от них потом избавиться — сложнее, чем говно из рифленой подошвы вычистить. Так что я обычно нищего духом вперед посылаю, чтоб он через игольное ушко пролез и дверь изнутри открыл. Как сейчас. Только кто ж знал, что если два нищих духом соберутся, то они из своей нищеты такой шухер устроят.

— Какой шухер?

Володин не ответил — он был занят сложным участком дороги. Машину тряхнуло, потом еще раз. Несколько секунд она напряженно урчала мотором, взбираясь на крутую горку, а потом повернула и дальше поехала уже по асфальту, быстро набирая скорость. Навстречу пронеслись старые „Жигули“, потом колонна из нескольких военных грузовиков. Володин включил радио, и через минуту вокруг четверых, сидящих в машине, сомкнулся прежний, знакомый и понятный во всех своих мелочах мир.

— Ты о каком шухере говорил? — повторил Шурик свой вопрос.

— Ладно, — сказал Володин, — потом перетрем. Работа для тебя будет на дому. А пока давай думать, что мы „Нефтехимпрому“ предъявим.

— Вот ты и думай, — сказал Шурик. — Мы что, мы крыша. А чердак-то ты.

Он помолчал еще несколько секунд.

— И все равно никак врубиться не могу, — сказал он, — кто же все-таки этот четвертый?

И действительно, кто же был этот четвертый? Кто его знает. Может быть, это был дьявол, поднявшийся из вечной тьмы, чтобы увлечь за собой еще несколько падших душ. Может быть, это был Бог, который, как говорят, после известных событий предпочитает появляться на земле инкогнито и старается, чтобы окружающие его особо не замечали, а общается, как обычно, в основном с мытарями и грешниками. А может быть — и скорее всего — это был некто совсем другой. Некто гораздо более реальный, чем все сидевшие у костра, потому что если никакой гарантии, что Володин, Колян и Шурик, все эти петухи, боги, дьяволы, неоплатоники и двадцатые съезды когда-нибудь существовали, нет и быть не может, то ты, ты, только что сам сидевший у костра, ты-то ведь существуешь на самом деле, и разве это не самое первое, что вообще есть и когда-нибудь было?”

Чапаев положил рукопись на крышку секретера и некоторое время смотрел в полукруглое окно своего кабинета.

— Мне кажется, Петька, в тебе слишком много места занимает литератор, — сказал он наконец. — Это обращение к читателю, которого на самом деле нет — довольно дешевый ход. Ведь если даже допустить, что кто-нибудь кроме меня прочтет эту невнятную историю, то я тебя уверяю, что подумает он вовсе не

о самоочевидном факте своего существования. Он скорее представит тебя, пишущего эти строки. И я боюсь...

— А я ничего не боюсь, — нервно перебил я; закуривая папиросу. — Мне давно наплевать. Я просто записал последний из своих кошмаров так, как умею. А этот абзац возник... Как бы сказать... По инерции. Вслед за разговором, который был у меня с господином бароном.

— А что тебе, кстати, сказал барон? — спросил Чапаев. — Судя по тому, что ты вернулся в желтой папаше, у вас с ним был довольно эмоциональный разговор.

— О да, — сказал я. — Если обобщить, он посоветовал мне выписаться из больницы. Он уподобил дому душевнобольных мир этих постоянных тревог и страстей, этих мыслей ни о чем, этого бега в никуда. А потом — если только я верно понял — он объяснил, что на самом деле нет ни дома душевнобольных, ни его самого, ни даже вас, мой милый Чапаев. А есть только я.

Чапаев хмыкнул.

— Вот, значит, как ты его понял. Интересно. Мы к этому еще вернемся, обещаю. А что касается его совета выписаться из сумасшедшего дома, то лучше, на мой взгляд, просто не скажешь. Не знаю, почему я не подумал об этом сам. Действительно — вместо того, чтобы приходить в ужас от каждого нового кошмара, который по ночам порождает твое воспаленное сознание...

— Простите, не понял, — сказал я, — что, мое воспаленное сознание порождает кошмар, или само сознание является порождением кошмара?

— Это одно и то же, — махнул рукой Чапаев. — Все эти построения нужны только для того, чтобы избавиться от них навсегда. Где бы ты ни оказался, живи по законам того мира, в который ты попал, и ис-

пользуй сами эти законы, чтобы освободиться от них. Выписывайся из больницы, Петька.

— Мне кажется, я понимаю метафору, — сказал я. — Но что произойдет потом? Увижу ли я вас снова?

Чапаев улыбнулся и скрестил руки на груди.

— Обещаю, — сказал он.

Вдруг раздался звон, и верхнее стекло окна осыпалось на пол. Пробивший его камень ударился о стену и упал возле бюро. Чапаев подошел к окну и осторожно выглянул во двор.

— Ткачи? — спросил я.

Чапаев кивнул.

— Они совсем перепились, — сказал он.

— Почему вы не поговорите с Фурмановым? — спросил я.

— Я не думаю, что он в состоянии ими управлять, — ответил Чапаев. — Он остается их командиром только потому, что постоянно отдает именно те приказы, которые они хотят услышать. Стоит ему хоть раз серьезно ошибиться, и у них быстро отыщется новый начальник.

— Признаюсь, я испытываю по их поводу сильную тревогу, — сказал я. — Мне кажется, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Не подумайте, что я ударяюсь в панику, но мы все в один прекрасный момент можем оказаться... вспомните, что творилось последние дни.

— Сегодня вечером все разрешится, — сказал Чапаев и пристально поглядел на меня. — Кстати, раз уж ты выражаешь обеспокоенность этой проблемой, действительно очень досадной, почему бы тебе не принять в ней участие? Помоги немного занять публику. Создай видимость того, что мы тоже вовлечены в эту вакханалию. У них должно сохраняться ощущение, что все здесь заодно.

— Каким образом?

— Сегодня будет своего рода концерт — знаешь, бойцы будут показывать друг другу всякие э-ээ... штуки, кто что умеет. Так вот, не мог бы ты выступить перед ними и прочесть что-нибудь революционное? Наподобие того, что ты сделал в „Музыкальной Табакерке“?

Я почувствовал себя уязвленным.

— Видите ли, я не уверен, что сумею вписаться в стилистику такого концерта. Боюсь, что...

— Ты только что сказал, что ничего не боишься, — перебил Чапаев. — И потом, смотри на вещи шире. В конце концов, ты ведь тоже один из моих бойцов, и все, что от тебя требуется, так это показать другим, какие штуки ты умеешь проделывать сам.

На миг мне почудилось, что в словах Чапаева была изрядная доля издевки; у меня мелькнула даже мысль, что это его реакция на прочитанный только что текст. Но потом я понял, что объяснение может быть другим. Он, возможно, просто хотел показать мне, что при взгляде из реальной перспективы исчезает всякая иерархия того, чем занимаются люди, и нет особой разницы между одним из известнейших поэтов Петербурга и какими-то полковыми дарованиями.

— Ну что же, — сказал я, — попробую.

— Отлично, — сказал Чапаев, — тогда до вечера.

Он повернулся к секретеру и углубился в изучение разложенной на нем карты. На карту наезжала кипа каких-то бумаг, среди которых виднелось несколько телеграмм и два или три пакета, запечатанных красным сургучом. Щелкнув каблуками (Чапаев не обратил никакого внимания на сарказм, который я вложил в это действие), я вышел из его кабинета, сбежал вниз по лестнице и в дверях налетел на входившую со двора Анну. На ней было платье из черного бархата, закрывающее грудь и шею, почти до пола длинной; ни один из ее нарядов не шел ей так.

Я действительно налетел на нее в прямом смысле слова; мои руки, инстинктивно выброшенные вперед, на секунду сжали ее в объятьях, неумышленных и неловких, но от этого ничуть не менее волнующих. В следующий миг, словно отброшенный ударом тока, я отскочил назад, споткнулся о ступеньку лестницы и повалился на спину; должно быть, все это выглядело чудовищно нелепо. Но Анна не засмеялась — наоборот, на ее лице отразился испуг.

— Вы не ударились головой? — спросила она, заботливо наклоняясь надо мной и протягивая мне руку.

— Нет, — сказал я, беря ее ладонь и поднимаясь, — благодарю.

Она не отняла руки, когда я встал; на секунду возникла неловкая пауза, и тут, неожиданно для себя самого, я проговорил:

— Неужели вы не понимаете, что это не я таков сам по себе, а это вы, вы, Анна, делаете меня самым смешным существом на свете?

— Я? Почему?

— Как будто вы не видите сами... Вы посланы Богом или дьяволом, не знаю кем, мне в наказание. До встречи с вами я и понятия не имел, насколько я безобразен. Нет, не сам по себе, а в сравнении с той высшей и недостижимой красотой, которую символизируете для меня вы... Вы словно бы зеркало, в котором я вдруг увидел, какой непроходимой пропастью я отделен от всего того, что я люблю в этом мире, от всего того, что мне дорого и вообще имеет для меня какое-то значение и смысл. И только вы, слышите, Анна, только вы можете вернуть в мою жизнь свет и смысл, который исчез после того, как я впервые увидел вас в поезде! Только вы одна способны меня спасти, — выговорил я на одном выдохе.

Я, конечно, наврал — никакого особого света и

смысла с появлением Анны из моей жизни не исчезло, потому что его там и не было, — но в ту минуту, когда я говорил это, каждое из произносимых мною слов казалось мне святою правдой. Анна молча слушала, и на ее лице постепенно проступало недоверие, смешанное с недоумением — казалось, она меньше всего ожидала услышать от меня что-нибудь подобное.

— Но как я могу вас спасти? — спросила она, нахмурив брови. — Поверьте, я была бы рада это сделать, но что именно от меня требуется?

Ее рука оставалась в моей, и я вдруг почувствовал, как у меня в груди плеснулась горячая волна сумасшедшей надежды.

— Знаете что, Анна, — сказал я быстро, — вы ведь обожаете кататься? Я отыграл у Котовского рысаков. Тут, в усадьбе, неловко — так что давайте сегодня вечером, как стемнеет, уедем за город!

— Как? — спросила она. — Зачем?

— Что значит „зачем“? Я полагал...

На ее лице проступили усталость и скука.

— Боже мой, — сказала она, отнимая свою руку. — Какая пошлость! Лучше бы от вас просто пахло луком, как в прошлый раз.

Пройдя мимо меня, она быстро взбежала вверх по лестнице и без стука вошла в кабинет Чапаева. Некоторое время я стоял на месте; как только ко мне вернулся контроль за мускулами лица, я вышел во двор. После недолгих поисков я разыскал Фурманова — он был в штабном бараке; похоже, он совсем там обжился. На столе, рядом с огромным чернильным пятном, теперь стоял самовар с водевильным сапогом на трубе — видимо, сапог служил этим людям чем-то вроде мехов для раздувания огня. Возле самовара на каких-то тряпках лежала разделанная селедка. Сказав Фурманову, что выступлю на сегодняшнем вечере с

революционными стихами, я оставил его пить чай (я был уверен, что под столом спрятана водка) в обществе двух ткачей. Выйдя за ворота, я медленно пошел в сторону леса.

Странно, но я почти не думал о только что произошедшем объяснении с Анной. У меня не было даже особой злобы на себя самого. Правда, у меня мелькнула мысль о том, что она каждый раз словно бы дразнит меня возможностью примирения, и затем каждый раз, как только я ловлю эту наживку, выставляет меня в чудовищно нелепом свете — но даже эта мысль исчезла без всяких моих усилий.

Я просто шел по улице вверх и глядел по сторонам. Вскоре мостовая кончилась; пройдя еще немного вперед, я сошел с дороги, спустился по обочине и уселся возле дерева, прислонясь к нему спиной.

Положив на колено сложенный вдвое листок, я довольно быстро написал текст, годящийся для ткачей — как и просил Чапаев, в духе „Музыкальной Табакерки“, то есть сонет с совершенно рваным, как бы разваленным шашками ритмом и ломающейся рифмовкой. Когда он был уже готов, я вдруг спохватился, что не вставил в него никакой революционной символики, и мне пришлось переделать последние несколько строк. Наконец, все было готово; я спрятал исписанный лист в карман гимнастерки и уже хотел отправиться назад, как вдруг ощутил, что то крохотное усилие, которое я сделал, чтобы написать этот стишок для ткачей, разбудило во мне давно уже спавшую творческую силу; невидимое крыло простерлось над моей головой, и все абсолютно сделалось неважным. Я вспомнил о смерти Государя (эту мрачную весть принес с собой Фурманов), и на белое пространство листа сам собой потек чистый, пронизанный сквозными рифмами анапест, который теперь казался мне невозможным эхом минувшего:

Два матроса в лесу
Обращаются к ветру и сумраку,
Рассекают листву
Темной кожей широких плечей.
Их сердца далеко,
Под ремнями, патронными сумками,
А их ноги, как сваи,
Спускаются в сточный ручей.
Император устал.
Ведь дорога от леса до города —
Это локтем поддых
И еще на колене ушиб,
Чьи-то лица в кустах,
Санитары, плюющие в бороду,
И другие плоды
Разложения русской души.
Он не слышит ни клятв,
Ни фальшивых советов зажмуриться,
Ни их „...б твою мать“,
Ни как бьется о землю приклад —
Император прощается
С лесом, закатом и улицей,
И ему наплевать
На все то, что о нем говорят.
Он им крикнет с пенька:
„In the midst of this stillness and sorrow,
In these days of distrust
May be all can be changed — who can tell?
Who can tell what will come
To replace our visions tomorrow
And to judge our past?“
Вот теперь я сказал, что хотел.

То, что император говорил по-английски, совершенно не казалось мне удивительным. Еще не хватало, чтобы перед смертью (или, может быть, чем-то еще — я так и не понял этого сам) он стал бы изъясняться на языке, оскверненном декретами Совнаркома. Куда более удивительными показались мне эти санитары — что они означали, я совершенно не

мог взять в толк. Впрочем, я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство — вещь сомнительная, и все, что требуется от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию, так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч.

Когда я вернулся в усадьбу, представление уже было в полном разгаре. В углу двора возвышалась импровизированная эстрада, наспех сколоченная ткачами из досок разобранного забора. Бойцы сидели на стаченных отовсюду лавках и стульях и внимательно следили за происходящим на сцене. Когда я подходил, с нее, под громкий хохот и шутки присутствующих, стаскивали за поводья коня — видимо, бедное животное обладало каким-то талантом, который его и заставили продемонстрировать. Потом на краю эстрады появился худой человек с саблей на поясе и лицом сельского атеиста — он, как я понял, выполнял функции конферансье. Дождавшись, когда шум голосов стихнет, он торжественно сказал:

— Конь с двумя х...ми — это еще что. Сейчас перед вами выступит рядовой Страминский, который умеет говорить слова русского языка своей жопой, и до освобождения народа работал артистом в цирке. Говорит он тихо, так что просьба молчать и не ржать.

На сцене появился совершенно лысый молодой человек в очках; я с удивлением отметил, что, в отличие от большинства людей Фурманова, черты его лица вполне интеллигентны и не несут в себе ничего звериного. Это был часто встречающийся тип вечного весельчака с лицом, морщинистым от частых гримас страдания. Он знаком велел подать ему табурет, оперся на него руками и встал к залу боком, повернув к зрителям лицо.

— Великий Настрадамус, — спросил он, — ответь, долго ли еще кровавая гидра врага будет сопротивляться Красной Армии?

Он четко выговаривал „а“ после „н“, из-за чего за этим именем как бы возникала тень некоего настрадавшегося героя темных пролетарских мифов. Невидимый Нострадамус ответил:

— Недолго.

— А почему же кровавая гидра врага еще сопротивляется? — спросил рот.

— Антанта, — ответил невидимый собеседник.

Во время ответов губы стоявшего на сцене не шевелились, зато он делал быстрые движения выпяченным задом. Разговор пошел о политике, о здоровье вождей (ходили слухи, что Ленина с очередным инсультом увезли в Горки, и к нему пускают только начальника охраны), и зал зачарованно затих.

Я сразу же понял, в чем дело. Когда-то давно во Флоренции я видел уличного чревоушателя, вызывавшего дух Данте. Стоящий на сцене разыгрывал нечто похожее, за исключением того, что ответы, даваемые „духом“, заставляли предположить в Нострадамусе первого марксиста Европы. То, что выступавший был чревоушателем, было ясно по особому звучанию ответов — низкому, как бы воркующему и не очень четкому. Непонятно было только, зачем ему понадобилось убеждать ткачей, что он производит эти звуки задом.

Это действительно был крайне интересный вопрос. Сперва я подумал, что нельзя было показывать красным ткачам разговор с духом, потому что, по их воззрениям, никаких духов не существует. Но потом меня поразила одна догадка — я вдруг понял, что дело не в этом. Дело было в том, что выступавший, этот Сраминский, или как его там, чутьем понял, что только что-то похабное способно вызвать к себе живой интерес этой публики. Само по себе его умение было в этом смысле вполне нейтральным (насколько я знаю, чревоушатели говорят даже не животом, а просто умеют издавать звуки речи, не размыкая губ),

поэтому и понадобилось выдать его за что-то непристойно-омерзительное.

О, как я пожалел в эту секунду, что рядом не было кого-нибудь из символистов, Сологуба, например! Или еще лучше Мережковского. Разве можно было бы найти символ глубже? Или, лучше сказать, шире? Такова, с горечью думал я, окажется судьба всех искусств в том тупиковом тоннеле, куда нас тащит локомотив истории. Если даже балаганному чревовещателю приходится прибегать к таким трюкам, чтобы поддержать интерес к себе, то что же ждет поэзию? Ей совсем не останется места в новом мире — или, точнее, место будет, но стихи станут интересны только в том случае, если будет известно и документально заверено, что у их автора два х...я, или что он, на худой конец, способен прочесть их жопой. Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам?

Между тем, чревовещатель предсказал близкое крушение царства капитала, затем рассказал избитейший анекдот, который в зале не поняли, и издал на прощание несколько долгих звуков физиологического характера, принятых аудиторией с благодарным смехом.

Появился конференсье и объявил мой выход. Поднявшись наверх по прогибающимся ступеням, я встал на краю сцены и молча посмотрел на собравшихся в зале. Зрелище это, надо сказать, было не из приятных. Бывает иногда, что в стеклянных глазах кабаньего или оленьего чучела живет некое подобие выражения, некое достраиваемое умом наблюдателя чувство, которое выражали бы глаза животного, если бы они выглядели точно так же, но были живыми, а не стеклянными. Здесь было нечто похожее, только наоборот — хоть во множестве глядящие на меня гла-

за и были живыми, а чувство, отраженное в них, казалось понятным, я знал, что они вовсе не выражают того, что мне мнится, и на деле я никогда в жизни не сумею расшифровать мерцающего в них смысла. Впрочем, вряд ли он того стоил.

Не все глядели на меня — Фурманов был пьян и переговаривался о чем-то со своими двумя адъютантами (этимология этой должности в их случае несомненно уводила в ад); в одном из дальних рядов я заметил Анну — она с презрительной улыбкой жевала соломинку. Не думаю, что улыбка относилась ко мне — она даже не глядела на сцену. На ней было то же самое длинное платье черного бархата, что и пару часов назад.

Я выставил ногу вперед, сложил на груди руки, но по-прежнему продолжал молчать, глядя куда-то в проход. Вскоре в зале поднялся ропот; за несколько секунд он разросся до довольно громкого шума, на фоне которого отчетливо слышались свистки и улюлюканье. Тогда, нарочито тихим голосом, я заговорил:

— Господа, прошу извинить меня за то, что обращаюсь к вам при помощи рта, но у меня не было ни времени, ни случая научиться принятым здесь формам общения...

Первых моих слов никто не услышал, но к концу этой фразы шум стих настолько, что стало слышно жужжание мух, в изобилии летавших над рядами.

— Товарищ Фурманов попросил меня прочесть вам стихи, что-нибудь революционное, — продолжил я. — Я, как комиссар, хотел бы в этой связи сделать одно замечание. Товарищ Ленин предостерегал нас от чрезмерного увлечения экспериментами в области формы. И пусть выступавший передо мной товарищ не обижается, да, да, вы, товарищ. Который жопой разговаривал. Ленин учил, что революционным искусство делает не внешняя необычность, а глубокая

внутренняя напоенность пролетарской идеей. И в качестве примера я прочту вам стихотворение, в котором пойдет речь о жизни всяких князей и графов, и которое, одновременно, является ярким образчиком пролетарской поэзии.

Тишина над рядами повисла окончательная и полная. Как бы отдавая салют невидимому цезарю, я поднял руку над головой и, в своей обычной манере, совершенно никак не интонируя, а только делая короткие паузы между катернами, прочел:

— У княгини Мещерской была одна изысканная
вещица —
Платье из бархата, черного, как испанская ночь.
Она вышла в нем к другу дома, вернувшемуся
из столицы,
И тот, увидя ее, задрожал и кинулся прочь.

О, какая боль, подумала княгиня, какая истома!
Пойду сыграю что-нибудь из Брамса — почему бы
и нет?
А за портьерой в это время прятался обнаженный
друг дома,
И страстно ласкал бублик, выкрашенный в черный
цвет.

Эта история не произведет впечатления были
На маленьких ребят, не знающих, что когда-то у нас
Кроме крестьян и рабочего класса жили
Эксплуататоры, сосавшие кровь из народных масс.

Зато теперь любой рабочий имеет право
Надевать на себя бублик, как раньше князя и графы!

Несколько секунд над рядами стояла тишина, а потом они вдруг взорвались таким аплодисментом, какого мне не доводилось срывать и в „Бродячей Собаке“. Краем глаза я заметил, что Анна встала со своего места и идет прочь по проходу — но в тот момент

меня это совершенно не волновало. Признаюсь честно, я был по-настоящему польщен и даже забыл все свои горькие мысли насчет этой публики. Погрозив кулаком кому-то невидимому, я сунул руку в карман, вынул браунинг и два раза выстрелил в воздух. Ответом была канонада из выросшей над рядами щетины стволов и рев восторга. Коротко поклонившись, я сошел со сцены и, обойдя группу все еще хлопавших ткачей, стоявших сбоку от эстрады, направился в усадьбу.

Успех в какой-то мере меня опьянил. Я думал о том, что настоящее искусство тем-то и отличается от подделок, что умеет найти путь к самому загрубевшему сердцу, и способно на секунду поднять в небеса, в мир полной и ничем не стесненной свободы безнадежнейшую из жертв всемирного inferнального транса. Впрочем, очень скоро я протрезвел — меня уколола чрезвычайно болезненная для самолюбия догадка, что хлопали мне просто потому, что мои стихи показали им чем-то вроде мандата, еще на несколько градусов расширившего область безнаказанной вседозволенности: к данному Лениным разрешению „грабить награбленное“ добавилось еще не очень понятное позволение надевать на себя бублик.

Вернувшись в свою комнату, я улегся на диван и устался в потолок, заложив за голову сложенные руки. Мне подумалось, что все то, что произошло со мной за последние два или три часа — это великолепное отражение вечной, неизменной судьбы русского интеллигента. Тайком писать стихи о красных знаменах, а зарабатывать одами на день ангела начальника полиции, или, наоборот, видеть внутренним взором последний выход Государя, а вслух говорить о развешивании графских бубликов на мозолистых гениталиях пролетариата — всегда, думал я, всегда это будет так. Даже если допустить, что власть в этой страшной стране достанется не какой-нибудь из сра-

жающихся за нее клик, а просто упадет в руки жулья и воров, вроде тех, что сидят по всяким „Музыкальным Табакеркам“, то и тогда русский интеллигент, как собачий парикмахер, побежит к ним за заказом.

Я думал все это уже в полусне, из которого меня вернул в реальность неожиданно раздавшийся стук в дверь.

— Да-да, — крикнул я, даже не потрудившись встать с кровати, — войдите!

Дверь раскрылась, но никто не вошел. Несколько секунд я выжидал, а потом не выдержал и поднял голову. В двери, все в том же глухом черном платье, стояла Анна.

— Позвольте войти? — спросила она.

— Да, конечно, — сказал я, поднимаясь, — прошу вас. Садитесь.

Анна села в кресло — той секунды, когда она повернулась ко мне спиной, как раз хватило, чтобы легким движением ноги отправить под кровать валявшуюся на полу дырявую портянку.

Сев в кресло, Анна сложила руки на коленях и несколько секунд смотрела на меня задумчивым взором, словно затуманенным какой-то еще не вполне ясной для нее мыслью.

— Хотите курить? — спросил я.

Она кивнула. Достав папиросы, я положил их на стол перед ней, поставил рядом блюдечко, служившее мне пепельницей, и зажег спичку.

— Благодарю, — сказала она, выпустила вверх узкую струйку дыма и опять замерла. Казалось, в ней происходила какая-то борьба. Я хотел было сказать что-нибудь банальное, просто чтобы завязать разговор, но вовремя сдержался, вспомнив, чем это обычно кончалось. Но Анна вдруг заговорила сама.

— Не могу сказать, что мне очень понравилось ваше стихотворение про эту княгиню, — сказала

она, — но на фоне остальных участников концерта вы выглядели довольно сильно.

— Благодарю, — сказал я.

— Кстати сказать, сегодня я всю ночь читала ваши стихи. В гарнизонной библиотеке нашлась книжка...

— А какая?

— Не знаю. Первых страниц не хватало — видимо, их выдрали на самокрутки.

— А как же вы узнали, что это моя книга?

— Неважно. Спросила у библиотекаря. Так вот, там было такое стихотворение, переделка из Пушкина. Насчет того, что когда открываешь глаза, вокруг только снег, пустыня и туман, и вот дальше, дальше было очень хорошо. Как же там было... Нет, я сама вспомню. Ага. „Но в нас горит еще желанье, к нему уходят поезда, и мчится бабочка сознания из ниоткуда в никуда“.

— А, припоминаю, — сказал я. — Эта книга называется „Песни царства Я“.

— Какое странное название. В нем есть какое-то самодовольство.

— Нет, — сказал я, — дело не в этом. Просто в Китае было такое царство с названием из одной буквы — У. Меня это всегда удивляло. Понимаете, иногда говорят — у леса, у дома, а тут просто — у. Как будто это указание на что-то такое, где уже кончаются слова, и можно только сказать — у, а у чего именно — нельзя.

— Чапаев бы немедленно спросил вас, можете ли вы сказать, что вы имеете в виду, говоря „я“.

— Он уже спрашивал. Что касается этой книги — кстати, у меня это одна из самых слабых, я вам как-нибудь другие дам — то я могу объяснить. Я раньше много путешествовал, и в какой-то момент вдруг понял, что куда бы я ни направлялся, на самом деле я

перемещаюсь только по одному пространству, и это пространство — я сам. Тогда я назвал его „Я“, но сейчас, может быть, я назвал бы его „У“. Но это неважно.

— А как же другие? — спросила Анна.

— Другие? — спросил я.

— Да. Вы ведь много пишете о других. Например, — она чуть наморщила брови, видимо, вспоминая, — вот это: „Они собрались в старой бане, недели запонки и гетры и застучали в стену лбами, считая дни и километры... Мне так не нравились их морды, что я не мог без их компаний — когда вокруг воняет моргом, ясней язык напоминаний, и я...“

— Достаточно, — сказал я, — я помню. Не сказал бы, что это мое лучшее стихотворение.

— А мне нравится. Вообще, Петр, мне ужасно понравилась ваша книга. Но вы не ответили на мой вопрос — как быть с другими?

— Я не очень понимаю, о чем вы.

— Если все, что вы можете увидеть, почувствовать и понять, находится в вас самих, в этом вашем царстве „Я“, то значит другие просто нереальны? Я, например?

— Поверьте, Анна, — сказал я горячо, — если есть для меня что-нибудь реальное в мире, так это вы. Я до такой степени переживал нашу... Не знаю как сказать, размолвку, что...

— Я сама виновата, — сказала Анна. — У меня действительно скверный характер.

— Что вы, Анна! Все дело только во мне. Вы с таким терпением переносили все нелепые...

— Давайте не будем состязаться в вежливости. Лучше скажите — правда ли я значу для вас так много, как можно было понять из некоторых оброненных вами фраз?

— Вы значите для меня все, — сказал я совершенно искренне.

— Хорошо же, — сказала Анна. — Вы, кажется,

предлагали мне прокатиться на коляске? За город? Так поедemте.

— Прямо сейчас?

— Почему нет?

Я придвинулся к ней.

— Анна, вы даже не можете...

— Умоляю вас, — сказала она, — не здесь.

Выехав за ворота, я повернул коляску налево. Анна сидела рядом, на ее щеках проступал румянец, и она избегала глядеть на меня; мне стало казаться, что она жалеет о происходящем. До леса мы доехали молча; как только над нашими головами сомкнулись зеленые арки ветвей и стало ясно, что мы скрыты от нескромных взглядов, я остановил лошадей.

— Послушайте, Анна, — сказал я, поворачиваясь к ней. — Поверьте, я ценю ваш порыв. Но если вы начали сожалеть о нем, то...

Она не дала мне закончить. Она обхватила меня руками за шею, и ее губы закрыли мне рот. Это произошло так быстро, что я еще продолжал говорить в тот момент, когда она уже целовала меня. Разумеется, я не настолько дорожил той фразой, которую собирался произнести, чтобы мешать ей.

Я всегда находил поцелуй чрезвычайно странной формой контакта между людьми. Насколько я знаю, это одно из тех нововведений, которые принесла с собой цивилизация — ведь известно, что дикари, живущие на южных островах, или жители Африки, еще не переступившие ту грань, за которой изначально предназначенный человеку рай оказывается навсегда потерян, не целуются никогда. Их любовь проста и незамысловата; возможно, что и само слово „любовь“ неприменимо к тому, что происходит между ними. Любовь, в сущности, возникает в одиночестве, когда рядом нет ее объекта, и направлена она не столько на того или ту, кого любишь, сколько на вы-

строенный умом образ, слабо связанный с оригиналом. Для того, чтобы она появилась по-настоящему, нужно обладать умением создавать химеры; целуя меня, Анна скорее целовала того никогда не существовавшего человека, который стоял за поразившими ее стихами; откуда ей было знать, что и сам я, когда писал эту книгу, тоже мучительно искал его, с каждым новым стихотворением убеждаясь, что найти его невозможно, потому что его нет нигде. Слова, оставляемые им, были просто подделкой и походили на выбитые рабами в граните следы ступней, которыми жители Вавилона доказывали реальность сошествия на землю какого-то древнего божества. Но, в сущности, разве не именно так божество и сходит на землю?

Последняя мысль относилась уже к Анне. Я чувствовал нежное касание ее подрагивающего языка; ее глаза между полусомкнутыми ресницами были так близко, что я, казалось, мог нырнуть в их влажный блеск и раствориться в нем навсегда. Наконец, стало не хватать дыхания, и наш первый поцелуй прервался; ее лицо повернулось в сторону, и теперь я видел его в профиль; она закрыла глаза и провела языком по губам, словно они пересохли — все эти маленькие мимические движения, в другой ситуации не имевшие бы никакого значения или смысла, невероятно волновали. Я вдруг понял, что нас уже ничего не разделяет, что уже все возможно, и моя рука, лежавшая на ее плече, простое прикосновение к которому минуту назад казалось почти кощунством, просто и естественно легла ей на грудь. Она чуть отстранилась — но, как я сразу понял, только для того, чтобы моя ладонь не встречала никаких препятствий на своем пути.

— О чем вы сейчас думаете? — спросила она. — Только честно.

— О чем я думаю? — сказал я, заводя свои руки

ей за шею. — О том, что движение к высшей точке счастья в буквальном смысле подобно восхождению на гору...

— Да не так же. Крючок расцепите. Да нет. Оставьте, я сама. Простите, я вас перебила.

— Да, оно похоже на рискованное и сложное восхождение. Пока самое желанное еще впереди, все чувства поглощает сам процесс подъема. Следующий камень, на который должна ступить нога, куст бурьяна, за который можно ухватиться рукой... Как вы прекрасны, Анна... О чем бишь я... Да, цель придает всему этому смысл, но начисто отсутствует в любой из точек движения. В сущности, приближение к цели само по себе выше, чем цель. Был, кажется, такой оппортунист Берштайн, который сказал, что движение — это все, а цель — ничто...

— Не Берштайн, а Бернштейн. Как это у вас растегивается... Где вы только нашли такой ремень?

— О Боже, Анна, вы хотите, чтобы я сошел с ума...

— Говорите дальше, — сказала она, подняв на секунду взгляд, — но не обижайтесь, если некоторое время я не смогу поддерживать беседу.

— Да, — продолжал я, откидывая голову и закрывая глаза, — но самое главное здесь то, что как только вы поднялись на вершину, как только цель достигнута, она в тот же момент исчезает. В сущности, как и все созданные умом объекты, она неуловима. Подумайте сами, Анна, когда мечтаешь о прекраснейшей из женщин, она присутствует в воображении во всем совершенстве своей красоты, но, когда она оказывается в объятиях, все это пропадает. То, с чем имеешь дело, сводится к набору простейших и часто довольно грубых ощущений, которые к тому же обычно испытываешь в темноте... О-о-о... Но как бы они ни волновали кровь, красота, которая звала к себе минутой назад, исчезает — ее подменяет нечто такое, к

чему и стремиться—то было смешно. А это значит, что красота недостижима. Точнее, она достижима, но только сама в себе, а то, чего ищет за ней опьяненный страстью разум, просто не существует. Изначально красота даже... Нет, я больше не могу. Идите сюда... вот так. Да. Да. Так удобно? О мой Бог... Как, вы сказали, правильно зовут этого человека, который говорил о движении и цели?

— Бернштейн, — прошептала Анна мне в ухо.

— Вам не кажется, что его слова вполне можно отнести к любви?

— Да, — прошептала она, слегка кусая меня за мочку. — Цель ничто, а движение — все.

— Так двигайтесь, двигайтесь, умоляю вас.

— А вы говорите, говорите...

— Что именно?

— Что угодно, только говорите. Я хочу слышать ваш голос, когда это случится.

— Извольте. Если продолжить эту мысль... Представьте себе, что все, что может дать прекрасная женщина, составляет сто процентов.

— Бухгалтер...

— Да, сто. Так вот, девяносто процентов она дарит в тот момент, когда просто ее видишь, а остальное, из-за чего идет весь тысячелетний торг, всего лишь крохотный остаток. И эти первые девяносто процентов невозможно разложить ни на какие составные части, потому что красота неопределима и неделима, что бы там ни врал Шопенгауэр. А что касается остальных десяти, то это просто совокупность нервных сигналов, которые не стоили бы ничего, не приходи им на помощь воображение и память... Анна, прошу вас, откройте на секунду глаза... Вот так... да, именно воображение и память. Знаете, если бы мне надо было написать по-настоящему сильную эротическую сцену, я дал бы несколько намеков, а остальное заполнил бы невнятным разговором, вроде

того... О Боже, Анна... Вроде того, который сейчас идет у нас с вами. Потому что изображать нечего — все должен достроить ум. Обман и, может быть, величайший из женских секретов... Ах, моя девочка из старой усадьбы... заключается в том, что красота кажется этикеткой, за которой спрятано нечто неизмеримо большее, нечто невыразимо более желанное, чем она сама, и она на него только указывает, тогда как на самом деле за ней ничего особого нет... Золотая этикетка на пустой бутылке... Магазин, где все выставлено на великолепно убранной витрине, а в скрытом за ней крохотном, нежном, узком-узком зале... Умоляю, милая, не так быстро... Да, в этом зале — пусто. Вспомните стихотворение, которое я читал этим несчастным. Про княгиню и бублик... Ах, Анна... Как бы он ни манил, наступает момент когда понимаешь, что в центре этого черного бублика бублика бублика пустота пустота-а-а пу-у-сто-о-о-от-а-а-а!!

— Что? — воскликнул я, поднимая голову с подушки.

— Пустота! — опять протяжно крикнули за дверью. — Войти можно?

— Merde, — пробормотал я, приподнимаясь на кровати и обводя безумными глазами свою комнату, за окном которой уже сгущались синие сумерки, — черт бы вас взял! Что надо?

— Войти можно?

— Войдите.

Дверь распахнулась. На пороге стоял желтоволосый кривоногий детина. Номинально это был мой денщик (кажется, его звали Семеном, хотя уверен я не был), но сейчас, после нескольких недель разлагающего влияния красных, было не вполне ясно, что у него на уме, так что на всякий случай по вечерам я сам стаскивал с себя сапоги и старался по возможности избегать встреч с ним во дворе.

— Чего, спишь, что ли? — спросил он, оглядывая комнату. — Разбудил? Ну извини. Удивил ты нас сегодня. Смотри, что тебе бойцы подарили.

На одеяло передо мной шлепнулся какой-то предмет, завернутый в газету; пахло неопределенно-знакомым запахом. Я развернул сверток. Внутри был бублик, из тех, что продавались в булочной на главной площади, только совершенно черный, и несло от него дегтем, которым солдатня мажет свои сапоги.

— Что, ай не рад? — спросил денщик.

Я поднял на него глаза, и он сразу попятился прочь; прежде, чем я нашарил в кармане браунинг, он уже исчез из проема, и три пули, которые я всадил в прямоугольник открытой двери, с ангельским пеном отрикошетили от каменной стены коридора.

— Все. Бабы. Суки, — громко произнес я и рухнул на кровать.

Довольно долго моего покоя не нарушал никто. За окном стоял пьяный гогот; несколько раз стреляли, потом, похоже, началась вялая долгая драка. Судя по долетавшим до меня звукам, концерт перерос в полное безобразие — было очень сомнительно, что хоть кто-нибудь в состоянии был контролировать эту разбушевавшуюся, как говорили петербургские либералы, народную стихию. Затем в коридоре, дверь в который я даже не потрудился закрыть, послышались тихие шаги. На секунду у меня мелькнула надежда — я подумал, что бывают ведь вещие сны — но она была настолько слабой, что, увидев в дверях широкоплечую фигуру Котовского, я не испытал особого разочарования; мне даже стало немного смешно от мысли, что он опять пришел торговаться насчет рысаков и кокаина.

Котовский был одет в коричневую пару; на голове у него была франтоватая шляпа с широкими полями, а в каждой руке он держал по кожаному баулу. Поставив их на пол, он приложил два пальца к полям шляпы.

— Добрый вечер, Петр, — сказал он. — Я, собственно, хотел попрощаться.

— Вы уезжаете? — спросил я.

— Да. И не знаю, почему вы остаетесь, — сказал Котовский. — Не сегодня-завтра эти ткачи все здесь спалят. Не понимаю, на что надеется Чапаев.

— Он собирался сегодня решить эту проблему.

Котовский пожал плечами.

— Знаете, — сказал он, — проблемы можно решать по-разному. Можно просто напиться в дым, и они на время исчезнут. Но я предпочитаю разбираться с ними до того, как они начнут разбираться со мной. Поезд уходит в восемь вечера. Еще не поздно. Пять суток, и мы в Париже.

— Я остаюсь.

Котовский внимательно поглядел на меня.

— Вы знаете, что вы сумасшедший? — спросил он.

— Конечно.

— Кончится тем, что вас троих арестуют, а верховодить начнет этот Фурманов.

— Меня это не пугает, — сказал я.

— Вы, значит, не боитесь ареста? Конечно, у всех нас, русских интеллигентов, даже в сумасшедшем доме остается тайная свобода а-la Pushkine, и можно...

Я засмеялся.

— У вас, Котовский, удивительный талант попадать в такт моим мыслям. Я как раз сегодня думал на эту тему. Могу вам рассказать, что это такое на самом деле — тайная свобода русского интеллигента.

— Если это займет немного времени, сделайте одолжение, — ответил он.

— Год, кажется, назад, в Петербурге, был интересный случай. Знаете, приезжали какие-то социал-демократы из Англии — конечно, их ужаснуло то, что они увидели — и у нас была с ними встреча на Бассейной. По линии Союза поэтов. Там был Алек-

сандр Блок, который весь вечер рассказывал им про эту самую тайную свободу, которую мы все, как он выразился, поем вослед Пушкину. Я тогда видел его в последний раз, он был весь в черном, и невыразимо мрачен. Потом он ушел, и англичане, которые, конечно, ничего не поняли, стали допытываться, что же это такое — *secret freedom*. И никто толком не мог объяснить, пока какой-то румын, который почему-то был с англичанами, не сказал, что понимает, о чем речь.

— Вот как, — сказал Котовский и посмотрел на часы.

— Не волнуйтесь, уже не долго. Он сказал, что в румынском языке есть похожая идиома — „хаз барагаз“ или что-то в этом роде. Не помню точно, как звучит. Означают эти слова буквально „подземный смех“. Дело в том, что в средние века на Румынию часто нападали всякие кочевники, и поэтому их крестьяне строили огромные землянки, целые подземные дома, куда сгоняли свой скот, как только на горизонте поднималось облако пыли. Сами они прятались там же, а поскольку эти землянки были прекрасно замаскированы, кочевники ничего не могли найти. Крестьяне, натурально, вели себя под землей очень тихо, и только иногда, когда их уж совсем переполняла радость от того, что они так ловко всех обманули, они, зажимая рот рукой, тихо-тихо хохотали. Так вот тайная свобода, сказал этот румын, это когда ты сидишь между вонючих козлов и баранов, и, тыча пальцем вверх, тихо-тихо хихикаешь. Знаете, Котовский, это было настолько точное описание ситуации, что я в тот же вечер перестал быть русским интеллигентом. Хохотать под землей — это не для меня. Свобода не бывает тайной.

— Интересно, — сказал Котовский. — Интересно. Но мне, однако, пора.

— Я провожу вас до ворот, — сказал я, вставая. — Во дворе творится черт знает что.

— О чем я и говорю.

Я сунул браунинг в карман, взял у Котовского один из его баулов и уже собирался пойти за ним следом по коридору, как вдруг меня кольнуло странное предчувствие, что я вижу свою комнату последний раз. Я остановился в дверях и внимательно ее оглядел: два полукресла, кровать, столик с подшивкой „Изиды“ за пятнадцатый год — Господи, подумал я почти весело, да если это и так, что с того, что я сюда больше не вернусь? Что с того, что я не знаю, куда иду? Мало ли было мест, откуда я ушел навсегда?

— Вы что-то забыли? — спросил Котовский.

— Нет, — ответил я, — так.

Панорама, открывшаяся нам с крыльца дома, чем-то неуловимым напоминала картину Брюллова „Последний день Помпеи“. Нет, не было никаких рушащихся колонн, никаких клубов дыма в черном небе — просто в темноте горело два больших костра, и повсюду бродили перепившиеся ткачи. Но в том, как они хлопали друг друга по плечам, в том, как они останавливались, чтобы прилюдно справить нужду или опрокинуть в рот бутылку, в полуголых пьяных бабах, с хохотом метавшихся по двору, в грозных красных отблесках огня, освещавшего всю эту вакханалию, было ощущение близости чего-то грозного, окончательного и неумолимого.

Мы молча и быстро пошли к воротам; нам призывно замахали руками и закричали что-то неразборчивое сидевшие возле одного из костров люди с винтовками, и Котовский нервно сунул руку в карман. Слава Богу, за нами никто не увязался, но последние метры перед воротами, когда наши незащитные спины были повернуты ко всему этому пьяному сброду, показались мне очень длинными. Выйдя за ворота, мы прошли десятка два шагов, и я остановился. Улица, спиралью уходящая вниз, была пуста; горело несколько фонарей, и в их спокойном свете тускло блестел мокрый булыжник.

— Дальше я не пойду, — сказал я. — Удачи вам.

— Вам тоже. Как знать, может, еще свидимся, — сказал он со странной улыбкой. — Или услышим друг о друге.

Мы пожали руки, он опять приложил два пальца к шляпе, и, не оборачиваясь, пошел вниз по улице. Я глядел на его широкую спину, пока она не скрылась за поворотом, а потом медленно побрел назад. У ворот я остановился и осторожно заглянул в них. Окно кабинета Чапаева было темным. Мне вдруг стало ясно, почему на меня повеяло такой жутью от увиденного во дворе — чем-то все это напоминало мир барона Юнгерна. Никакого желания опять идти мимо костров с пьяными ткачами у меня не было.

Я понял, где может быть Чапаев. Пройдя вдоль забора метров сорок, я огляделся по сторонам. Видно никого не было. Подпрыгнув, я ухватился руками за край стены, кое-как подтянулся, перевалился через нее и спрыгнул вниз.

Вокруг было темно; огни костров заслонял черный силуэт молчащей усадьбы. На ощупь пробираясь между мокрыми от недавнего дождя деревьями, я добрался до спуска в овраг, поскользнулся и съехал туда на спине. Невидимый ручей журчал где-то справа; выставив руки перед собой, я пошел на его звук и через несколько шагов увидел между стволов освещенное окошко бани.

— Входи, Петька, — крикнул Чапаев в ответ на мой стук.

Он сидел за знакомым дощатым столом, на котором стояла огромная бутылка с самогоном, несколько стаканов и тарелок, керосиновая лампа и пухлая папка с бумагами; на нем была расстегнутая до пупа длинная белая рубаха навывпуск, и он был уже изрядно пьян.

— Что скажешь? — спросил он.

— Кажется, вы собирались решить проблему с красными ткачами, — сказал я.

— Я ее и решаю, — сказал Чапаев и разлил самогон по двум стаканам.

— Как я посмотрю, Котовский хорошо вас знает, — сказал я.

— Правильно, — ответил Чапаев, — я его тоже хорошо знаю.

— Он только что уехал вечерним поездом в Париж. Мне кажется, что мы сильно ошиблись, не последовав его примеру.

Чапаев зажмурился.

— Но в нас горит еще желанье, — нараспев прочел он, — к нему уходят поезда, и мчится бабочка сознания из ниоткуда в никуда...

— Тоже читали? Очень польщен, — сказал я и сразу же с тоской подумал, что „тоже“ здесь неуместно. — Послушайте, если мы выйдем прямо сейчас, то можем еще успеть на поезд.

— А чего я не видел в этом Париже, — сказал Чапаев.

— Видимо, того, что мы скоро увидим здесь, — сказал я.

Чапаев ухмыльнулся.

— Это ты, Петька, верно говоришь.

— Кстати, — сказал я озабоченно, — а где сейчас Анна? В доме небезопасно.

— Я ей задание дал, — сказал Чапаев, — скоро подойдет. С ней все в порядке. Да ты садись давай. Я все тебя жду, жду — полбутылки уже выпил.

Я сел напротив.

— Твое здоровье.

Я пожал плечами. Делать было нечего.

— Ваше здоровье, Василий Иванович.

Мы выпили, и Чапаев задумчиво уставился на тусклый огонек керосиновой лампы.

— Я тут думал о твоих кошмарах, — сказал он, положив ладонь на папку. — Все истории, которые ты

написал, перечитал. И про Сердюка, и про Марию этого, и про врачей, и про бандитов. Ты когда-нибудь обращал внимание на то, как ты от всего этого просыпаешься?

— Нет, — сказал я.

— А ну-ка попробуй вспомнить.

Я задумался.

— Просто в какой-то момент становится ясно, что это сон, и все, — сказал я нерешительно. — Когда становится уж слишком не по себе, вдруг понимаешь, что бояться на самом деле нечего, потому что...

— Почему?

— Я пытаюсь подобрать слова. Я бы сказал так — потому что есть, куда просыпаться.

Чапаев хлопнул ладонью по столу.

— А куда именно просыпаться?

На этот вопрос ответа у меня не было.

— Не знаю, — сказал я.

Чапаев поднял на меня глаза и улыбнулся. Мне вдруг перестало казаться, что он пьян.

— Молодец, — сказал он. — Вот именно туда. Как только тебя подхватывает поток сновидений, ты сам становишься его частью, потому что в этом потоке все относительно, все движется, и нет ничего такого, за что можно было бы ухватиться. Когда тебя засасывает в водоворот, ты этого не понимаешь, потому что сам движешься вместе с водой, и она кажется неподвижной. Так во сне появляется ощущение реальности. Но есть точка, неподвижная не относительно чего-то другого, а неподвижная абсолютно, и она называется „не знаю“. Когда ты попадаешь в нее во сне, ты просыпаешься, точнее, сначала ты просыпаешься в нее. А уже потом, — он обвел рукой комнату, — сюда.

Из-за стены долетела дробь пулеметной очереди, потом раздался взрыв, и стекло в окне задребезжало.

— Но эта же точка есть в жизни, — продолжал Чапаев, — абсолютно неподвижная, относительно которой вся эта жизнь — такой же сон, как твои истории. Все на свете — просто водоворот мыслей, и мир вокруг нас делается реальным только потому, что ты становишься этим водоворотом сам. Только потому, что ты знаешь.

Он выделил слово „знаешь“ интонацией.

Я встал и подошел к окну.

— Слушайте, Чапаев, они, кажется, подожгли усадьбу.

— Что поделать, Петька, — сказал Чапаев, — так уж устроен этот мир, что на все вопросы приходится отвечать посреди горящего дома.

— Я согласен, — сказал я, садясь напротив, — все это замечательно, водоворот мыслей и так далее. Мир делается реальным и нереальным, я это все хорошо понимаю. Но сейчас сюда придут очень неприятные личности... Понимаете, я не хочу сказать, что они реальные, но нас они заставят ощутить свою реальность в полной мере.

— Меня? — спросил Чапаев. — Никогда. Вот смотри.

Он взял бутылку, подтянул к себе маленькое синее блюдце и налил его до краев. Потом он проделал ту же операцию со стаканом.

— Смотри, Петька. Самогон сам по себе не имеет формы. Вот стакан, вот блюдце. Какая из этих форм настоящая?

— Обе, — сказал я. — Обе настоящие.

Чапаев аккуратно выпил самогон из блюдца, потом из стакана, и по очереди с силой швырнул их в стену. И блюдце, и стакан разлетелись на мелкие осколки.

— Петька, — сказал он, — смотри и запоминай. Если ты настоящий, то действительно смерть придет.

Даже я тебе помочь не смогу. Я тебя еще раз спрашиваю. Вот стаканы, вот бутылка. Какая из этих форм настоящая?

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

— Показать? — спросил Чапаев.

— Покажите.

Он покачнулся, сунул руку под стол и вытащил свой никелированный маузер. Я едва успел схватить его за кисть.

— Хорошо, хорошо. Только не надо по бутылке стрелять.

— Правильно, Петька. Давай лучше выпьем.

Наполнив стаканы, Чапаев задумался. Казалось, он никак не мог подобрать нужные слова.

— На самом деле, — сказал он наконец, — для самогона нет ни блюдца, ни стакана, ни бутылки, а есть только он сам. Поэтому все, что может появиться или исчезнуть — это набор пустых форм, которых не существует, пока самогон их не примет. Нальешь самогон в блюдце — это ад, нальешь в чашку — это рай. А мы вот пьем из стаканов. Это, Петька, и делает нас людьми. Понял?

За окном опять грохнуло. Уже не надо было подходить к нему, чтобы увидеть в стекле багровые отблески пожара.

— Кстати, насчет ада, — сказал я, — не помню, говорил я вам или нет. Знаете, почему нас так долго не трогают эти ткачи?

— Почему?

— Потому что они искренне верят, что вы продали душу дьяволу.

— Да? — удивленно спросил Чапаев. — Интересно. А кто продает душу?

— В каком смысле?

— Ну вот говорят — продал душу дьяволу, продал душу Богу. А кто тот, кто ее продает? Он же должен отличаться от того, что продает, чтобы это продать?

— Знаете, Чапаев, — сказал я, — мое католическое воспитание не позволяет мне шутить такими вещами.

— Понимаю, — сказал Чапаев. — Я знаю, откуда идут эти слухи. Ко мне тут действительно приходил один человек, который интересовался, как продать душу дьяволу. Такой штабс-капитан Овечкин. Ты с ним знаком?

— Встречались в ресторане.

— Я ему объяснил, как это можно сделать. И он совершил весь ритуал с большой аккуратностью.

— И что случилось?

— Ничего особенного. Денег у него не появилось, вечной молодости тоже. Единственное, что произошло — во всех полковых документах вместо фамилии „Овечкин“ появилась фамилия „Козлов“.

— Это почему так?

— Нехорошо быть обманщиком. Как можно продавать то, чего у тебя нет?

— Так что же выходит, — спросил я, — у Овечкина нет души?

— Конечно нет, — сказал Чапаев.

— А у вас?

Чапаев секунду словно вглядывался в себя, а потом отрицательно помотал головой.

— А у меня есть? — спросил я.

— Нет, — сказал Чапаев.

Видимо, на моем лице отразилось смятение, потому что Чапаев ухмыльнулся и потрепал меня по локтю.

— Нету, Петька, никакой души ни у меня, ни у тебя, ни у штабс-капитана Овечкина. Это у души есть Овечкин, Чапаев, Петька. Про душу нельзя сказать, что она у всех разная, нельзя сказать, что у всех одна. Если и можно что-то про нее сказать, так это то, что ее тоже нет.

— Вот тут я уже совсем ничего не понимаю.

— Это такое дело, Петька... Тут и Котовский ошибся. Помнишь, была такая лампа с воском?

— Помню.

— Котовский понял, что формы нет. Но вот что воска нет, он не понял.

— Почему его нет?

— А потому, Петька — слушай меня внимательно — потому что и воск, и самогон могут принять любую форму, но и сами они — всего лишь формы.

— Формы чего?

— Вот тут и фокус. Это формы, про которые можно сказать только то, что ничего такого, что их принимает, нет. Понимаешь? Поэтому на самом деле нет ни воска, ни самогона. Нет ничего. И даже этого „нет“ тоже нет.

Секунду мне казалось, что я балансирую на каком-то пороге, а потом я ощутил тяжелую пьяную тупость. Мысли вдруг стали даваться мне очень тяжело.

— Воска нет, — сказал я. — А самогона еще полбутылки.

Чапаев мутновато поглядел на стол.

— Это верно, — сказал он. — Но если ты все же поймешь, что его тоже нет, я тебе с груди орден отдам. А пока я его тебе не отдам, мы с тобой отсюда не выйдем.

Мы выпили еще по стакану, и некоторое время я прислушивался к доносящейся из-за стены ружейной пальбе. Чапаев совершенно не обращал на нее внимания.

— Вы правда не боитесь? — спросил я.

— А ты что, Петька, чего-то боишься?

— Немного, — сказал я.

— А чего?

— Смерти, — сказал я. — Точнее, не ее самой, а... Не знаю. Я хочу спасти свое сознание.

Чапаев засмеялся и покачал головой.

— Я что-то смешное сказал?

— Ну ты даешь, Петька. От тебя не ждал. Ты что ж, с такими мыслями в атаку ходил каждый раз? Это как если бы лежал клочок газеты под фонарем и думал, что он хочет спасти свет, в котором он лежит. Да и от чего ты хочешь спасти сознание?

Я пожал плечами.

— От небытия.

— А небытие разве не объект сознания?

— Опять началась софистика, — сказал я. — Даже если я клочок газеты, который думает, что хочет спасти свет, в котором он лежит, какая для меня разница, если я действительно так думаю, и все это причиняет мне боль?

— Да ведь клочок не может думать. На нем просто напечатано курсивом: „я хочу спасти свет фонаря“. А рядом написано: „о, какая боль, какая истома...“ Эх, Петька... Как тебе объяснить... Весь этот мир — это анекдот, который Господь Бог рассказал самому себе. Да и сам Господь Бог — то же самое.

За стеной раздался взрыв, на этот раз такой близкий, что стекла в окне задребезжали. Я явственно различил шорох рвущих листов осколков.

— Знаете что, Василий Иванович, — сказал я, — давайте завершать с теорией. Лучше придумайте что-нибудь практическое.

— Практически, Петька, я тебе скажу, что если ты боишься, нам обоим скоро хана. Потому что страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка — это безразличие. Если ты по-настоящему безразличен, никто из тех, кто может причинить тебе зло, про тебя просто не вспомнит и не подумает. Но если ты будешь елозить по стулу, как сейчас, то через пять минут здесь будет полно этих ткачей.

Я вдруг понял, что он прав, и ощутил стыд за свою нервозность, которая выглядела особенно жалкой на фоне его великолепного равнодушия. Разве не я сам совсем недавно отказался ехать с Котовским? Я был здесь потому, что выбрал это сам, и глупо было тратить эти, быть может, последние минуты моей жизни на опасения и страхи. Я посмотрел на Чапаева и подумал, что, в сущности, так и не узнал ничего про этого человека.

— Скажите, Чапаев, а кто вы на самом деле?

— Ты, Петька, лучше себе ответь, кто ты на самом деле. Тогда и про меня все поймешь. А то ты все время говоришь „я, я, я“, совсем как этот бандит из твоего кошмара. А что это такое — „я“? Кто это? Посмотри-ка сам.

— Я хочу посмотреть, но...

— Так если ты хочешь, почему же ты сейчас смотришь не на себя, а на это „я“, на это „хочу“, на это „посмотреть“ и на это „но“?

— Хорошо, — сказал я, — тогда ответьте на мой вопрос. Вы можете на него просто ответить?

— Могу, — сказал он, — толку-то.

— Кто вы, Чапаев?

— Не знаю, — ответил он.

По дощатым стенам бани щелкнули две или три пули, полетели выбитые ими щепки, и я инстинктивно пригнул голову. Из-за двери донеслись тихие голоса — кажется, они что-то обсуждали. Чапаев налил два стакана, и мы, не чокаясь, выпили. После некоторого колебания я взял со стола луковицу.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — сказал я, откусывая от нее, — но ведь можно, наверно, ответить и по-другому?

— Можно, — сказал Чапаев.

— Так кто же вы, Василий Иванович?

— Я? — переспросил он и поднял на меня глаза. — Я отблеск лампы на этой бутылке.

Мне показалось, что свет, отражавшийся в его глазах, хлестнул меня по лицу. И тут совершенно неожиданно для себя я все понял и вспомнил.

Удар был таким сильным, что в первый момент я подумал, что прямо в центре комнаты разорвался снаряд. Но я почти сразу пришел в себя. У меня не было потребности говорить что-то вслух, но инерция речи уже перевела мою мысль в слова.

— Самое интересное, — тихо прошептал я, — что я тоже.

— Так кто же это? — спросил он, указывая на меня пальцем.

— Пустота, — ответил я.

— А это? — он указал пальцем на себя.

— Чапаев.

— Отлично! А это? — он обвел рукой комнату.

— Не знаю, — сказал я.

В тот же миг звякнуло пробитое пулей окно, и стоявшая между нами бутылка лопнула, облив нас остатками самогона. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга, а потом Чапаев встал, подошел к лавке, на которой лежал его китель, снял с него серебряную звезду и кинул ее мне через всю комнату.

Его движения неожиданно стали быстрыми и точными; трудно было поверить, что это тот самый человек, который только что пьяно покачивался на табурете, бессмысленно глядя на бутылку. Схватив со стола лампу, он быстро развинтил ее, выплеснул керосин на пол и швырнул в него горящий фитиль. Вслед за керосином вспыхнул разлившийся самогон, и комната осветилась мрачным светом занимающегося пожара. Лицо Чапаева, на которое легли глубокие тени от горящего на полу огня, вдруг показалось мне очень древним и странно знакомым. Одним движением опрокинув стол, он нагнулся и поднял узкий деревянный люк с металлическим кольцом.

— Пошли отсюда, — сказал он, — здесь больше делать нечего.

Нащупав лестницу, я стал спускаться в холодную сырую темноту. Дно колодца оказалось метрах в двух под уровнем пола; сначала я не мог понять, что мы собираемся делать в этой яме, а потом моя нога, которой я пытался нащупать стену, вдруг провалилась в пустоту. Сапог Чапаева, спускавшегося следом, задел мою голову.

— Вперед! — скомандовал он. — Живо!

От лестницы вел узкий и низкий ход, укрепленный деревянными подпорками. Я пополз вперед, безуспешно пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. Судя по довольно чувствительному сквозняку, выход был не очень далеко.

— Стой, — шепотом сказал Чапаев. — Надо минуточку выждать.

Он был метрах в двух сзади. Я сел на землю и прислонился спиной к одной из подпорок. Долетали неразборчивые крики и шум; один раз я четко различил голос Фурманова, оравшего: „Не лезь, мать твою! Сторишь! Я говорю, нет их там — ушли! А лысого поймали?“ Я подумал об этих людях, мечущихся в тяжелых облаках дыма среди безобразных химер, созданных их коллективно помутненным разумом, и мне стало невероятно смешно.

— Эй, Василий Иванович! — тихо позвал я.

— Чего? — отозвался Чапаев.

— Я одну вещь понял, — сказал я. — Свобода бывает только одна — когда ты свободен от всего, что строит ум. Эта свобода называется „не знаю“. Вы совершенно правы. Знаете, есть такое выражение — „мысль изреченная есть ложь“. Чапаев, я вам скажу, что мысль неизреченная — тоже ложь, потому что в любой мысли уже присутствует изреченность.

— Это ты, Петька, хорошо изрек, — отозвался Чапаев.

— Как только я знаю, — продолжал я, — я уже не свободен. Но я абсолютно свободен, когда не знаю. Свобода — это самая большая тайна из всех. Они, — я ткнул пальцем в низкий земляной потолок, — просто не знают, до какой степени они свободны от всего. Они не знают, кто они на самом деле. Они... — меня скрутило в спазмах неудержимого хохота, — они думают, что они ткачи...

— Тише, — сказал Чапаев. — Кончай ржать как лошадь. Услышат.

— То есть нет, они, — задыхаясь, выговорил я, — они даже не думают, что они ткачи... Они это знают...

Чапаев пихнул меня сапогом.

— Вперед, — сказал он.

Я несколько раз глубоко вдохнул, чтобы прийти в себя, и пополз дальше. Остаток пути мы проделали молча. Наверно, из-за узости и тесноты подземного коридора мне показалось, что он невероятно длинен. Под землей пахло сыростью и отчего-то сеном, причем этот запах чувствовался все отчетливей. Наконец мои вытянутые вперед руки уперлись в земляную стену. Я встал на ноги, выпрямился и больно ударился головой обо что-то железное. Ощупав темноту вокруг себя, я пришел к выводу, что стою в неглубокой яме, над краем которой находится какая-то железная плоскость. Между этой плоскостью и поверхностью земли оставался зазор примерно в полметра; я протиснулся в него, прополз метр или два, раздвигая заполняющее его сено, и наткнулся на широкое колесо из литой резины. Тут же я вспомнил огромный стог, возле которого постоянно дежурил неразговорчивый башкир с винтовкой, и понял, куда делся чапаевский броневик. Через секунду я уже стоял возле стога — с одной его стороны сено было разбросано, и виднелась приоткрытая клепаная дверь.

Усадьба была охвачена огнем; это зрелище было

величественным и завораживающим, как, впрочем, и всякий большой пожар. Метрах в пятидесяти от нас, среди деревьев, горел другой костер, поменьше — это пылала баня, где совсем недавно сидели мы с Чапаевым. Мне показалось, что я вижу вокруг нее людей, но это вполне могли быть изломанные тени деревьев, смещающиеся каждый раз, когда огонь вздрагивал под дуновением ветра. Видел я их или нет, люди, несомненно, там были: со стороны пожарниц прилетали безумные крики и стрельба. Если бы я не знал, что там происходит в действительности, можно было бы подумать, что какие-то два отряда ведут яростный ночной бой.

Совсем рядом со мной послышался шорох, и я выхватил пистолет.

— Это я, — сказала Анна.

Она была в гимнастерке, галифе и сапогах, а в руках держала изогнутый металлический рычаг вроде тех, которыми заводят моторы.

— Слава Богу, — сказал я, — вы не представляете, как я переживал ваше отсутствие. Одна мысль о том, что этот пьяный сброд...

— Не дышите на меня луком, — перебила она. — Где Чапаев?

— Я здесь, — сказал Чапаев, вылезая из-под днища броневика.

— Почему так долго? — спросила она. — Я начала волноваться.

— Петр никак не хотел понимать, — ответил он. — Был момент, когда я решил, что мы там и останемся.

— А теперь он понял? — спросила Анна.

Чапаев поглядел на меня.

— Да ничего он не понял, — сказал он. — Просто там такая стрельба началась...

— Послушайте, Чапаев, — начал было я, но он остановил меня повелительным жестом.

— Все в порядке? — спросил он у Анны.

— Да, — сказала она, подавая ему рычаг.

Я вдруг понял, что Чапаев, как всегда, прав: не было ничего такого, про что можно было бы сказать, что я это понял.

Чапаев быстро разбросал скрывающее покатым лоб броневика сено, вставил рычаг в отверстие радиатора и несколько раз крутанул магнето. Тихо и мощно заурчал двигатель.

Анна открыла дверь и скрылась внутри машины; мы с Чапаевым последовали за ней. Захлопнув дверь, Чапаев щелкнул выключателем, и в ослепительном после подземной тьмы свете я увидел знакомый интерьер — обитые кожей узкие диваны, прикрученный болтами к стене пейзаж и стол, на котором лежали заложённый томик Монтескье и пачка „Иры“. Анна быстро поднялась по винтовой лестнице и села на вращающееся сиденье пулеметчика, по пояс скрывшись в башне.

— Я готова, — сказала она. — Только ничего не видно из-за сена.

Чапаев поймал переговорную трубку, ведущую в отделение шофера (им, как я догадался, был башкир-часовой, которого бойцы между собой называли Батыем), и сказал в нее:

— Раскидать стог. И не угоди колесом в яму.

Мотор броневика взревел; вздрогнув, тяжелая машина сдвинулась с места и проехала несколько метров вперед. Сверху долетел какой-то механический шум — я поднял голову и увидел, что Анна вращает что-то вроде ручки от кофемолки, и башня вместе с ее сиденьем поворачивается вокруг оси.

— Теперь лучше, — сказала она.

— Включить фары, — сказал Чапаев в трубу.

Я припал к смотровому глазку на двери. Фары, как оказалось, были установлены по всему пери-

метру броневика, и, когда они зажглись, показалось, что это включились фонари, освещающие какой-то сумрачный сад.

Этот сад был странен. Белый электрический свет, легший на деревья, был намного ярче, чем зарево пожара — прыгающие тени, которые казались людьми, снующими в темноте, исчезли, и стало видно, что вокруг нас никого нет.

Но одиночество было недолгим. На границе светового пятна стали появляться ткачи с винтовками в руках — закрываясь от слепящего света фар, они молча глядели на нас. Скоро вокруг броневика сомкнулось ошестинившееся стволами живое кольцо. Стали слышны обрывки разговоров:

— Вот они где... нет, не уйдут... уже побежали... уברי гранату, дура, своих накроет...

Несколько раз по броневiku выстрелили, и пули со звоном отлетели от брони. Лопнула одна из фар, и в толпе вокруг нас раздался дружный рев восторга.

— Ну что же, — сказал Чапаев, — все когда-нибудь кончается. Анна, внимание...

Анна осторожно сняла с пулемета чехол. Пуля ударила в дверь совсем близко к смотровому глазку, и я на всякий случай отодвинулся от него подальше. Склонившись над пулеметом, Анна припала к прицелу, и ее лицо исказилось гримасой холодной ярости.

— Огонь! Вода! Земля! Пространство! Воздух! — крикнул Чапаев.

Анна быстро завертела поворотную ручку, и башня с тихим скрипом стала поворачиваться вокруг оси. Пулемет молчал, и я с недоумением посмотрел на Чапаева. Он сделал успокаивающий жест рукой. Башня совершила полный оборот и остановилась.

— Что, заело? — спросил я.

— Нет, — сказал Чапаев. — Просто уже все.

Я вдруг заметил, что не слышу больше ни выстре-

лов, ни голосов. Абсолютно все звуки, долетавшие снаружи, исчезли. Осталось только тихое урчание мотора, которое снова стало слышным.

Анна спустилась из башни, села рядом со мной и закурила папиросу. Я заметил, что ее пальцы дрожат.

— Это был глиняный пулемет, — сказал Чапаев. — Теперь я могу рассказать тебе, что это такое. На самом деле это никакой не пулемет. Просто много тысячелетий назад, задолго до того, как в мир пришли будда Дипанкара и будда Шакьямуни, жил будда Анагама. Он не тратил времени на объяснения, а просто указывал на вещи мизинцем своей левой руки, и сразу же после этого проявлялась их истинная природа. Когда он указывал на гору, она исчезала, когда он указывал на реку, она тоже пропадала. Это долгая история — короче, кончилось все тем, что он указал мизинцем на себя самого и после этого исчез. От него остался только этот левый мизинец, который его ученики спрятали в куске глины. Глиняный пулемет и есть этот кусок глины с мизинцем Будды. Очень давно в Индии жил человек, который попытался превратить этот кусок глины в самое страшное на Земле оружие. Но как только он просверлил в глине дырку, этот мизинец указал на него самого, и он исчез. С тех пор мизинец хранился в запортом сундуке и переезжал с места на место, пока не затерялся в одном из монгольских монастырей. А сейчас, по целому ряду обстоятельств, он оказался у меня. Я приделал к нему приклад и назвал его глиняным пулеметом. И только что мы пустили его в ход.

Чапаев встал с места, открыл дверь и выпрыгнул наружу. Я услышал, как ударились в землю его сапоги. Анна вылезла следом, а я все сидел на диване, глядя на английский пейзаж на стене. Река, мост, небо в тучах и какие-то неясные развалины — неужели, думал я, неужели?

— Петька, — позвал Чапаев, — ты что там сидишь?

Я встал и шагнул из двери наружу.

Мы стояли на идеально правильном круге засыпанной сеном земли диаметром метров в семь, который обрывался в никуда. За его границей не было ничего — там был только ровный неяркий свет, про который трудно было хоть что-нибудь сказать. На самом краю круглой площадки лежала половина винтовки с примкнутым штыком. Мне вдруг вспомнилось то место в „Балаганчике“ Блока, когда прыгнувший в окно Арлекин прорывает бумагу с нарисованной на ней далью, и в бумажном разрыве появляется серая пустота. Я оглянулся. Мотор броневика все еще работал.

— А почему остался этот остров? — спросил я.

— Слепая зона, — сказал Чапаев. — Мизинец указал на все, что было в мире за пределами этой площадки. Это как тень от ножки лампы.

Я шагнул в сторону, и Чапаев схватил меня за плечи.

— Куда пошел... Не попади под пулемет.

Он повернулся к Анне.

— Анна, а ну-ка... От греха подальше.

Анна кивнула и осторожно зашла под короткий раструб ствола.

— Смотри внимательно, Петька, — сказал Чапаев.

Анна зажала папиросу в зубах, и у нее в руке появилось маленькое круглое зеркальце. Она подняла его вверх на уровень ствола, и, прежде чем я успел понять, что сейчас произойдет, броневик исчез. Это произошло мгновенно и неправдоподобно легко, как будто кто-то выключил волшебный фонарь, и картинка на простыне погасла. Остались только четыре неглубоких вмятины от колес, в которых медленно распрямлялась примятая трава. И ничего уже не нарушало тишину.

— Вот и все, — сказал Чапаев. — Этого мира больше нет.

— Черт, — сказал я, — там ведь папиросы остались... Послушайте! А как же шофер?

Чапаев вздрогнул и испуганно поглядел сначала на меня, а потом на Анну.

— Черт возьми, — сказал он, — а я про него забыл... А ты, Анна, что же ты не сказала?

Анна развела руками. В этом жесте не было ни капли искреннего чувства, и я подумал, что она, несмотря на всю свою красоту, вряд ли сумела бы стать актрисой.

— Нет, — сказал я, — тут что-то не так. Где шофер?

— Чапаев, — сказала Анна, — я больше не могу. Разбирайтесь сами.

Чапаев вздохнул и подкрутил усы.

— Успокойся, Петька. Никакого шофера на самом деле не было. Ну ты же знаешь, есть такие бумажки с особой печатью, прилепляешь на бревно, и...

— А, — сказал я, — так это голем был. Понятно. Не надо меня только полным идиотом считать, хорошо? Я давно заметил, что он странный. Однако, Чапаев, с такими талантами вы могли бы сделать в Петербурге неплохую карьеру.

— Чего я не видел в твоём Петербурге, — сказал Чапаев.

— Стойте, а Котовский? — спросил я в волнении. — Он что, тоже исчез?

— Поскольку его никогда не существовало, — сказал Чапаев, — на этот вопрос довольно сложно ответить. Но если тебя по-человечески волнует его судьба, то не тревожься. Уверю тебя, что Котовский, точно так же, как ты и я, в силах создать свою собственную вселенную.

— А мы в ней будем присутствовать?

Чапаев задумался.

— Интересный вопрос, — сказал он. — Мне бы такой никогда не пришел в голову. Возможно, что и будем, но в каком качестве — не берусь судить. Откуда мне знать, какой мир создаст Котовский в своем Париже. Или, правильнее сказать, какой Париж создаст Котовский в своем мире.

— Ну вот, — сказал я, — опять софистика.

Повернувшись, я пошел к краю площадки. Но до самого края дойти я не сумел — когда до границы земляного круга осталась пара метров, у меня закружилась голова, и я с размаху сел на землю.

— Вам плохо? — спросила Анна.

— Мне замечательно, — ответил я, — но что мы тут будем делать? Жить втроем?

— Эх, Петька, — сказал Чапаев, — объясняешь тебе, объясняешь. Любая форма — это пустота. Но что это значит?

— Что?

— А то значит, что пустота — это любая форма. Закрой глаза. А теперь открой.

Не знаю, как описать словами эту секунду.

То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока, неизмеримо широкой реки, начинавшейся где-то в бесконечности и уходящей в такую же бесконечность. Она простиралась вокруг нашего острова во все стороны насколько хватало зрения, но все же это было не море, а именно река, поток, потому что у него было явственно заметное течение. Свет, которым он заливал нас троих, был очень ярким, но в нем не было ничего ослепляющего или страшного, потому что он в то же самое время был милостью, счастьем и любовью бесконечной силы — собственно говоря, эти три слова, опохабленные литературой и искусством, совершенно не в состоянии ничего передать. Просто глядеть на эти постоянно возникающие разноцветные огни и искры

было уже достаточно, потому что все, о чем я только мог подумать или мечтать, было частью этого радужного потока, а еще точнее — этот радужный поток и был всем тем, что я только мог подумать или испытать, всем тем, что только могло быть или не быть — и он, я это знал наверное, не был чем-то отличным от меня. Он был мною, а я был им. Я всегда был им, и больше ничем.

— Что это? — спросил я.

— Ничего, — ответил Чапаев.

— Да нет, я не в том смысле, — сказал я. — Как это называется?

— По-разному, — ответил Чапаев. — Я называю его условной рекой абсолютной любви. Если сокращенно — Урал. Мы то становимся им, то принимаем формы, но на самом деле нет ни форм, ни нас, ни даже Урала. Поэтому и говорят — мы, формы, Урал.

— Но зачем мы это делаем?

Чапаев пожал плечами.

— Не знаю.

— А если по-человечески? — спросил я.

— Надо же чем-то занять себя в этой вечности, — сказал он. — Ну вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет. Не бойся, Петька, ныряй!

— А я смогу вынырнуть?

Чапаев смерил меня взглядом с ног до головы.

— Так ведь смог же, — сказал он. — Раз тут стоишь.

— А я буду опять собой?

— Петька, — сказал Чапаев, — ну как ты можешь не быть собой, когда ты и есть абсолютно все, что только может быть?

Он хотел сказать что-то еще, но тут Анна, докурив свою папироску, бросила ее на землю, аккуратно загасила ее ногой, и, даже не посмотрев на нас, разбежалась и бросилась в поток.

— Вот так, — сказал Чапаев. — Правильно. Чем ляды точить.

Глядя на меня с предательской улыбкой, он начал пятиться спиной к краю площадки.

— Чапаев, — испуганно сказал я, — подождите. Вы не можете так меня бросить. Вы должны хотя бы объяснить...

Но было уже поздно. Земля под его каблуками осыпалась, он потерял равновесие и, раскинув руки, упал спиной в радужное сияние — совсем как вода, оно раздалось на миг в стороны, потом сомкнулось над ним, и я остался один.

Несколько минут я оцепенело смотрел на место, где исчез Чапаев. Потом я понял, что страшно устал. Я сгреб разбросанное по площадке сено в одну кучу, лег на него и уставился в невыразимо высокое серое небо.

Мне вдруг пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу Урала и вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаясь здесь же. Но если это действительно так, подумал я, то на что я тратил свою жизнь? Литература, искусство — все это были суетливые мошки, летавшие над последней во вселенной охалкой сена. Кто, подумал я, кто прочтет описание моих снов? Я поглядел на гладь Урала, уходящую со всех сторон в бесконечность. Ручка, блокнот и все те, кто мог читать оставленные на бумаге знаки, были сейчас просто разноцветными искрами и огнями, которые появлялись, исчезали и появлялись вновь. Неужели, подумал я, я так и засну опять на этом берегу?

Не оставив себе ни секунды на раздумья, я вскочил на ноги, разбежался и бросился в Урал.

Я не почувствовал почти ничего — просто теперь он был со всех сторон, и поэтому никаких сторон уже не было. Я увидел то место, где начинался этот по-

ток — и сразу понял, что это и есть мой настоящий дом. Словно подхваченная ветром снежинка, я понесся к этой точке. Сначала мое движение было легким и невесомым, а потом произошло что-то странное — мне стало казаться, что непонятное трение тянет назад мои голени и локти, и мое движение замедляется. А как только оно замедлилось, окружавшее меня сияние стало меркнуть, и, в момент, когда я остановился совсем, свет сменился тусклой полутьмой, источником которой, как я вдруг понял, была горевшая под потолком электрическая лампа.

Мои руки и ноги были пристегнуты ремнями к креслу, а голова лежала на маленькой клеенчатой подушке.

Откуда-то из полутьмы выплыли жирные губы Тимура Тимуровича, приблизились к моему лбу и припали к нему в долгом влажном поцелуе.

— Полный катарсис, — сказал он. — Поздравляю.

— Восемь тысяч двести верст пустоты, — пропел за решеткой радиоприемника дрожащий от чувства мужской голос, — а все равно нам с тобой негде ночевать... Был бы я весел, если б не ты, если б не ты, моя родина-мать...

Володин встал с места и щелкнул выключателем. Музыка стихла.

— Ты чего выключил? — спросил Сердюк, поднимая голову.

— Не могу я Гребенщикова слушать, — ответил Володин. — Человек, конечно, талантливый, но уж больно навороты любит. У него повсюду сплошной буддизм. Слова в простоте сказать не может. Вот сейчас про родину-мать пел. Знаешь, откуда это? У китайской секты Белого Лотоса была такая мантра: „абсолютная пустота — родина, мать — нерожденное“. И еще как зашифровал — пока поймешь, что он в виду имеет, башню сорвет.

Сердюк пожал плечами и вернулся к своей работе. Разминая пластилин, я иногда поглядывал на его быстрые пальцы, складывавшие журавлика из тетрадного листа. Он делал это с удивительным проворством, даже не глядя. Такие же журавлики были разбросаны по всей комнате лечебно-эстетического практикума; множество лежало на полу, хотя только сегодня утром Жербунов с Барболиным вывели в ко-

ридор целую гору. Но Сердюк совершенно не интересовался судьбой своих однообразных произведений — поставив карандашом номер на крыле журавлика, он бросил его куда-то в угол, и тут же вырвал из тетради следующую страницу.

— Сколько осталось? — спросил Володин.

— К весне должен успеть, — сказал Сердюк и перевел взгляд на меня. — Слушай, а я еще один вспомнил.

— Давай, — ответил я.

— Короче, значит, сидят Петька с Василием Ивановичем и бухают. Вдруг вбегает солдат и говорит: „Белые!“ Петька говорит: „Василий Иванович, давай ноги делать“. А Чапаев наливает еще два стакана и говорит: „Пей, Петька“. Выпили, значит. Опять солдат вбегает: „Белые!“ А Чапаев еще два стакана наливает: „Пей, Петька!“ Опять вбегает солдат и говорит, что белые уже к дому подходят. А Чапаев говорит: „Петька, ты меня видишь?“ Петька говорит: „Нет.“ Чапаев тогда говорит: „И я тебя нет. Хорошо замаскировались.“

Я презрительно вздохнул и взял со стола новый кусок пластилина.

— Этот я знаю, только с другим концом, — сказал Володин. — Белые вбегают, оглядывают комнату и говорят: „Вот черт, опять ушли“.

— Это уже ближе, — отозвался я, — хотя все равно бред. Белые какие-то... Я не понимаю, как все могло до такой степени исказиться. Ну а еще какой-нибудь?

— Еще такой помню, — сказал Сердюк. — Короче, значит, переплывают Петька с Василием Ивановичем Урал, а у Чапаева в зубах чемоданчик...

— Ой-й, — простонал я. — Кто ж только такую чушь придумал...

— И, короче, он уже тонет почти, а чемодан не бросает. Петька кричит ему: „Василий Иванович,

брось чемодан, утонешь!“ А Чапаев говорит: „Ты что, Петька! Нельзя. Там штабные карты“. Короче, еле выплыли. Петька говорит: „Ну что, Василий Иванович, покажи карты, из-за которых мы чуть не утопи“. Чапаев открывает чемодан. Петька смотрит, а там картошка. „Василий Иванович, какие же это карты?“ А Чапаев берет две картофелины, кладет на землю и говорит: „Смотри, Петька. Вот мы, а вот белые“.

Володин засмеялся.

— Тут уже совсем никакого проблеска смысла, — сказал я. — Во-первых, если у вас, Сердюк, через десять тысяч жизней появится возможность утонуть в Урале, можете считать, что вам крупно повезло. Во-вторых, мне абсолютно непонятно, откуда все время берутся эти белые. Я думаю, тут не обошлось без Дзержинского и его конторы. В-третьих, это была метафорическая карта сознания, а вовсе не план расположения войск. И не картошка там была, а лук.

— Лук?

— Да, лук. Хотя по ряду глубоко личных обстоятельств я дорого бы дал за то, чтобы там была картошка.

Володин и Сердюк обменялись долгим взглядом.

— И этот человек хочет выписаться, — сказал Володин. — А, теперь я вспомнил. Чапаев пишет в дневнике: „Шестое июня. Мы оттеснили белых...“

— Никакого дневника он не вел, — бросил я.

— „Седьмое июня. Белые оттеснили нас. Восьмое июня. Пришел лесник и всех прогнал“.

— Понятно, — сказал я, — это, наверно, про барона Юнгерна. Только он, к сожалению, так и не пришел. И потом, он лесником не был, он просто говорил, что всегда хотел быть лесником. Я, господа, нахожу все это странным. Вы неплохо информированы, но у меня постоянно возникает такое чувство, что кто-то, знающий, как все было на самом деле, попытался чу-

довищным образом извратить истину. И я не могу понять, с какой целью.

Некоторое время никто не нарушал тишины. Я углубился в работу, обдумывая предстоящую беседу с Тимуром Тимуровичем. Логика его действий до сих пор была мне совершенно не ясна. Марию выписали через неделю после того, как он разбил бюст Аристотеля о мою голову, а Володину, нормальнее которого я не видел человека в жизни, недавно назначили новый фармакологический курс. Ни в коем случае, размышлял я, не надо придумывать никаких ответов заранее, потому что он может не задать ни одного из вопросов, к которым я подготовлюсь, и я обязательно выдам какую-нибудь из своих заготовок невпопад. Полагаться можно было только на удачу и случай.

— Хорошо, — сказал наконец Володин. — А вы можете привести пример того, что именно подверглось искажению? Рассказать, как все было на самом деле?

— Что именно вас интересует? — спросил я. — Какой из упомянутых вами эпизодов?

— Любой. Или давайте возьмем что-нибудь новое. Ну вот, например, такой — совсем не могу представить, что тут можно исказить. Котовский прислал Чапаеву из Парижа красной икры и коньяка. А Чапаев пишет в ответ: „Спасибо, самогонку мы с Петькой выпили, хоть от нее клопами и воняло, а клюкву есть не стали — уж больно рыбой несет.“

Я не выдержал и засмеялся.

— Котовский ничего не присылал из Парижа. А нечто похожее было. Мы сидели в ресторане, действительно пили коньяк и закусывали красной икрой — я понимаю, как это звучит, но черной там не было. У нас был разговор о христианской парадигме, и поэтому мы говорили в ее терминах. Чапаев комментировал одно место из Сведенборга, где луч небесного света упал на дно ада и показался душам, кото-

рые там живут, зловонной лужей. Я понял это в том смысле, что трансформируется сам этот свет, а Чапаев сказал, что природа света не меняется, и все зависит от субъекта восприятия. Он сказал, что нет таких сил, которые не пускали бы в рай грешную душу — просто она сама не желает туда идти. Я не понял, как такое может быть, и тогда он сказал, что икра, которую я ем, показалась бы какому-нибудь из ткачей Фурманова клюквой, от которой воняет рыбой.

— Ясно, — сказал Володин и отчего-то побледнел.

Мне в голову пришла неожиданная мысль.

— Постойте-постойте, — сказал я, — а откуда, вы говорите, прислали коньяк?

Володин не ответил.

— А какая разница? — спросил Сердюк.

— Неважно, — сказал я задумчиво, — просто я, кажется, наконец начинаю догадываться, от кого все это может идти. Конечно, странно, и совершенно на него не похоже, но все другие объяснения настолько абсурдны...

— Слушай, еще вспомнил, — сказал Сердюк. — Короче, значит, приходит Чапаев к Анке, а она голая сидит...

— Милостивый государь, — перебил я, — вам не кажется, что вы несколько перегибаете палку?

— Так это ж не я придумал, — нагло ответил Сердюк, бросая в угол очередного журавлика. — Короче, он ее спрашивает: „Ты почему голая, Анка?“ А она отвечает: „У меня платьев нет“. Он тогда шкаф открывает и говорит: „Как нет? Раз платье. Два платье. Привет, Петька. Три платье. Четыре платье“.

— Вообще-то, — сказал я, — за такие слова надо было бы дать вам в морду. Но они отчего-то вгоняют меня в меланхолию. На самом деле все было абсолютно иначе. У Анны был день рождения, и мы поехали на пикник. Котовский сразу напился и уснул, а Чапаев стал объяснять Анне, что личность человека похо-

жа на набор платьев, которые по очереди вынимаются из шкафа, и чем менее реален человек на самом деле, тем больше платьев в этом шкафу. Это было его подарком Анне на день рождения — в смысле, не набор платьев, а объяснение. Анна никак не хотела с ним соглашаться. Она пыталась доказать, что все может обстоять так в принципе, но к ней это не относится, потому что она всегда остается собой и не носит никаких масок. Но на все, что она говорила, Чапаев отвечал: „Раз платье. Два платье“ и так далее. Понимаете? Потом Анна спросила, кто в таком случае надевает эти платья, и Чапаев ответил, что никого, кто их надевает, не существует. И тут Анна поняла. Она замолчала на несколько секунд, потом кивнула, подняла на него глаза, а Чапаев улыбнулся и сказал: „Привет, Анна!“ Это одно из самых дорогих мне воспоминаний... Зачем я вам это рассказываю?

Неожиданно на меня обрушился целый вихрь мыслей. Я вспомнил странную улыбку Котовского при нашем расставании. Не понимаю, подумал я. Про карту сознания он мог слышать, но откуда ему было знать про маскировку? Он же уехал как раз перед этим... И вдруг я вспомнил, что ответил Чапаев на мой вопрос о судьбе Котовского.

В один миг все сделалось для меня предельно ясным. Но Котовский не учел одной вещи, подумал я, чувствуя, как во мне вскипает злоба, он не учел, что я могу сделать то же самое в точности, что и он. И если этот накакаиненный любитель рысаков и тайной свободы уготовил мне сумасшедший дом, то...

— А я тоже анекдот сейчас расскажу, — сказал я.

Видимо, охватившие меня чувства отразились на моем лице, потому что Сердюк и Володин поглядели на меня с явным испугом; Володин даже подался назад вместе со своим стулом.

Сердюк сказал:

— Только переживать не надо, хорошо?

— Так будете слушать? — спросил я. — Значит, так. Сейчас... Ага, вот. Папуасы поймали Котовского и говорят: „Мы тебя съедим, а из твоего лысого скальпа сделаем барабан. А теперь загадывай последнее желание“. Котовский подумал и говорит: „Дайте мне шило“. Дают ему шило, а он как ткнет им себе в голову! И как заорет: „Не будет вам, сволочи, барабана!“

Я свирепо захохотал, и в этот момент дверь открылась. В ней появилось усатое лицо Жербунова. Он опасливо осмотрел комнату и остановил взгляд на мне. Откашлявшись, я поправил воротник халата.

— К Тимуру Тимуровичу.

— Иду, — ответил я, встал со стула и осторожно положил недолепленный бублик из черного пластилина на заваленный сердюковскими журавликами рабочий стол.

Тимур Тимурович был в отличном расположении духа.

— Вы, Петр, надеюсь, поняли, почему я назвал происшедшее с вами на последнем сеансе полным катарсисом?

Я уклончиво пожал плечами.

— Смотрите, — сказал он. — Я уже объяснял вам как-то, что заблудившаяся психическая энергия может принять форму любой мании или фобии. Мой метод заключается в том, что мы рассматриваем такую манию или фобию исходя из ее внутренней логики. Грубо говоря, вы говорите, что вы Наполеон.

— Я этого не говорю.

— Допустим, что говорите. Так вот, вместо того, чтобы доказывать вам, что вы ошибаетесь, или устраивать вам инсулиновый шок, я отвечаю: очень хорошо. Вы Наполеон. Но что вы будете делать? Высаживаться в Египте? Вводить континентальную блокаду? Или, может быть, вы отречетесь от престо-

ла и тихо вернетесь к себе в Корсиканский переулок? И уже из того, как вы ответите на этот вопрос, будет следовать все остальное. Посмотрите, например, на своего соседа Сердюка. Эти японцы, которые якобы заставляли его разрезать себе живот — самая живучая часть его психического мира. С ними ничего не происходит даже тогда, когда сам Сердюк переживает символическую смерть — наоборот, в его представлении они остаются жить, когда он уже мертв. А когда он приходит в себя, он не может придумать ничего лучше, чем складывать эти самолетики. Я уверен, это они ему в какой-нибудь новой галлюцинации присоветовали. То есть болезнь поразила настолько обширные зоны психики, что я начинаю иногда подумывать об оперативном вмешательстве.

— Что вы имеете в виду?

— Неважно. Про Сердюка я говорю просто для сравнения. Теперь посмотрите, что произошло с вами. Я нахожу, что это настоящий триумф моего метода. Весь этот болезненно подробный мир, который выстроило ваше помутненное сознание, исчез, растворился в себе, и не под нажимом врача, а как бы следуя своим собственным законам. Ваш психоз исчерпал себя сам. Заблудившаяся психическая энергия интегрировалась с остальной частью психики. Если моя теория верна — а мне хочется в это верить — вы сейчас абсолютно здоровы.

— Я уверен, что она верна, — сказал я. — Я, конечно, не понимаю ее во всей глубине...

— А вам и не надо ее понимать, — сказал Тимур Тимурович. — Достаточно того, что вы на сегодняшний день ее лучшее подтверждение. И огромное вам спасибо, Петр, за то, что вы так подробно описали ваши галлюцинации — на это способно не так уж много больных. Вы не возражаете, если я использую фрагменты ваших записей в своей монографии?

— Для меня это будет большой честью.

Тимур Тимурович ласково потрепал меня по плечу.

— Ну-ну, не будьте таким официальным. Со мной вы можете вести себя просто. Я ваш друг.

Он взял со стола довольно толстую стопку соединенных скрепкой листов.

— Вот только анкету прошу заполнить со всей серьезностью.

— Анкету?

— Формальность, — сказал Тимур Тимурович. — В Минздраве все время что-нибудь придумывают — штат большой, а делать нечего. Это так называемый тест на проверку социальной адекватности. Там много разных вопросов, и к каждому прилагается несколько вариантов ответа. Один ответ правильный, остальные абсурдны. Нормальный человек распознает все мгновенно.

Он перелистал анкету. В ней было, наверно, двадцать или тридцать страниц.

— Бюрократизм, конечно, но нам ведь тоже циркуляры приходят. При выписке положено. А поскольку я не вижу никаких причин держать вас здесь дальше, вот вам ручка, и вперед.

Взяв анкету из его рук, я сел за стол. Тимур Тимурович деликатно отвернулся к книжному шкафу и вынул из него какой-то толстенный том.

В анкете было несколько разделов: „Культура“, „История“, „Политика“ и что-то еще. Я наугад открыл раздел „Культура“ и прочел:

32. В конце какого из следующих фильмов герой разгоняет негодяев, вращая над головой тяжелой крестовиной?

- а) Александр Невский
- б) Иисус из Назарета
- в) Гибель богов

33. Какое из перечисленных имен символизирует всепобеждающее добро?

- а) Арнольд Шварценеггер
- б) Сильвестр Сталлоне
- в) Жан-Клод Ван Дамм

Стараясь не выдать своего замешательства, я перевернул сразу несколько страниц и попал куда-то в середину исторического раздела:

74. По какому объекту стрелял крейсер „Аврора“?

- а) Рейхстаг
- б) Броненосец „Потемкин“
- в) Белый дом
- г) Стрелять начали из Белого дома.

Мне вдруг вспомнилась та страшная черная ночь в октябре, когда „Аврора“ вошла в устье Невы. Подняв воротник, я стоял на мосту и нервно курил, глядя на далекий черный силуэт крейсера — на нем не было видно ни одного огня, только на концах тонких стальных мачт дрожало размытое электрическое сияние. Рядом со мной остановились двое поздних прохожих — удивительной красоты девочка-гимназистка и сопровождавшая ее толстая гувернантка, похожая на тумбу для афиш.

— Look at it, missis Brown! — воскликнула девочка, показывая пальцем на страшный черный корабль, — This is Saint Elmo's fires!

— You are mistaken, Katya, — тихо ответила гувернантка. — There is nothing saintly about this ship.

Она покосилась на меня.

— Let's go, — сказала она. — Standing here could be dangerous.

Я помотал головой, чтобы отогнать воспоминания, и перевернул еще несколько страниц.

102. Кто создал Вселенную?

- а) Бог
- б) Комитет солдатских матерей
- в) Я
- г) Котовский

Аккуратно закрыв анкету, я посмотрел в окно. За ним была видна заснеженная верхушка тополя, на которой сидела ворона. Она переваливалась с лапы на лапу, и с ветки, на которой она сидела, сыпался снег. Потом внизу заревел какой-то мотор и вспугнул ее. Тяжело махая крыльями, она снялась с дерева и полетела прочь от больницы — я глядел на нее, пока она не превратилась в еле заметную черную точку. Потом я медленно поднял глаза на Тимура Тимуровича и наткнулся на его внимательный взгляд.

— Слушайте, а для чего она вообще нужна, эта анкета? Зачем ее придумали?

— Да сам не знаю, — ответил он. — Хотя, конечно, некоторый резон в этом есть. Бывают больные, которые настолько хитры, что в состоянии обвести вокруг пальца даже опытного врача. Так что это на тот случай, если Наполеон решит временно признать, что он сумасшедший, чтобы получить возможность выйти из больницы и устроить Сто Дней...

В его глазах вдруг мелькнула какая-то испуганная мысль, но он сразу же прихлопнул ее веками.

— Хотя, — сказал он, быстро подходя ко мне, — вы совершенно правы. Я только что понял, что до сих пор отношусь к вам как к больному. Выходит, я не доверяю сам себе. Ужасно глупо, но это у меня профессиональное.

Выдернув анкету из моих рук, он разорвал ее на две части и бросил в корзину для мусора.

— Идите собирайтесь, — сказал он, отворачиваясь к окну. — Документы уже оформлены. Жербунов доведет вас до станции. И в случае чего, мой телефон у вас есть.

От синих хлопковых брюк и черного свитера, которые выдал мне Жербунов, пахло пылью и чуланом; мне чрезвычайно не понравилось, что брюки мятые и чем-то закапаны, но утюга, по словам Жербунова, в хозблоке не было.

— У нас тут не прачечная, — сказал он ядовито, — и не министерство культуры.

Я надел высокие ботинки на рифленной подошве, круглую меховую шапку и серое шерстяное пальто, которое было бы даже элегантным, если бы его не портила обгорелая дырка на спине.

— Нажрался, наверно, и кто-то из дружков сигарету тебе приложил, — прокомментировал Жербунов, надевая ядовито-зеленую куртку с капюшоном.

Интересно, что эти его хамские пассажи, которых он никогда не позволял себе в палате, не казались мне оскорбительными. Наоборот, они звучали для меня волшебной музыкой, потому что означали свободу. В сущности, он даже не хамил — такова была его обычная манера разговора с людьми. На меня больше не распространялись правила служебной этики — я перестал быть пациентом, а он санитаром, и все, что связывало нас раньше, осталось висеть на криво вбитом в стену гвозде вместе с его белым халатом.

— А саквояж? — спросил я.

Он округлил глаза в фальшивом недоумении.

— Никакого саквояжа не было, — сказал он. — С Тимуром Тимуровичем разбирайся. Вот твой кошелек, в нем как было двадцать тысяч, так и лежит.

— Понятно, — сказал я. — Правды тут не добьешься.

— А ты думал.

Я не стал спорить дальше. Глупо было даже заводить об этом речь; я удовлетворился тем, что незаметно вытащил из бокового кармана его куртки самопишущее перо.

Двери на волю растворились до такой степени буднично, что я испытал некоторое разочарование. За этими дверями оказался пустой заснеженный двор, окруженный бетонным забором, в котором, прямо напротив нас, зеленели большие металлические ворота, отчего-то украшенные красными звездами. Рядом была проходная, из трубы которой поднимался легкий дымок. Впрочем, я много раз видел все это из окна. Спустившись с крыльца, я оглянулся на безликое белое здание больницы.

— Жербунов, скажите, а где окно нашей палаты?

— На третьем этаже второе от края, — ответил Жербунов. — Вон, видишь, машут тебе.

Я увидел в окне два темных силуэта. Один из них поднял ладонь и приложил ее к стеклу. Я помахал им в ответ. Жербунов довольно грубо дернул меня за рукав.

— Пошли. На электричку опоздаешь.

Я повернулся и пошел к воротам вслед за ним.

В проходной было тесно и жарко. Служитель в зеленой фуражке с двумя скрещенными ружьями на кокарде сидел за окошком, перед которым помещалось какое-то куцее подобие шлагбаума из крашеной железной трубы. Он долго изучал бумаги, которые дал ему Жербунов, несколько раз перевел взгляд с фотографии на мое лицо и обратно, обменялся с Жербуновым парой тихих фраз — и наконец шлагбаум поднялся.

— Видел, серьезный какой, — сказал Жербунов,

когда мы вышли из проходной. — Раньше сидел в секретном ящике.

— Понятно, — ответил я. — Интересный случай. И что, Тимур Тимурович его тоже вылечил?

Жербунов покосился на меня, но ничего не сказал.

От ворот больницы шла узкая заснеженная тропинка. Сначала она петляла по редкому березовому лесу, потом минут десять вела нас по опушке и опять нырнула в лес. Никаких следов цивилизации вокруг видно не было, если не считать толстых проводов, которые провисали между одинаковыми металлическими мачтами, похожими на скелеты огромных красноармейцев в буденовских шлемах. Неожиданно лес кончился, и мы оказались у железнодорожной платформы, на которую вела деревянная лесенка.

Единственным строением на платформе был кирпичный загончик с вяло дымящей трубой, крайне похожий на больничную проходную. Я даже подумал, что таков господствующий в этом незнакомом мире тип архитектуры — но, конечно, у меня было еще недостаточно опыта, чтобы делать слишком широкие обобщения. Жербунов подошел к оконцу будки и купил мне билет.

— Ну что, — сказал он. — Вон электричка идет. Пятнадцать минут до Ярославского вокзала.

— Прекрасно, — ответил я.

— Что делать-то собираешься на гражданке?

Меня слегка покорибил его вопрос. По долгому опыту общения с солдатней я знал, что бесстыжее обсуждение интимных сторон жизни в низших классах общества выполняет примерно ту же функцию, что разговор о погоде в высших. Но Жербунов, видимо, сразу же собирался входить в нюансы и обсуждать подробности.

Я пожал плечами.

— Не могу сказать, что особенно соскучился по вашим согражданкам, Жербунов.

— Это почему? — спросил Жербунов.

— А потому, — ответил я, — что все бабы суки.

— Это верно, — сказал он и вздохнул. — Ну а все-таки — чем будешь заниматься? Работать-то надо кем-то?

— Не знаю, — ответил я. — Могу стихи писать, могу эскадронам командовать. Там видно будет.

Электропоезд остановился, и его двери с шипением распахнулись.

— Ну все, — сказал Жербунов, протягивая мне клешнеобразную ладонь. — Покедова.

— Прощайте, — сказал я. — И, пожалуйста, передайте мои лучшие пожелания соседям по палате.

Пожав его руку, я неожиданно увидел на его кисти татуировку, которой раньше не замечал. Это был размытый синий якорь, над которым можно было с трудом разобрать буквы „БАЛТФЛОТ“ — они были бледными и нечеткими, как будто их пытались сводить.

Войдя в вагон, я сел на жесткую деревянную лавку. Поезд тронулся; мимо окна проплыла коренастая фигура Жербунова и навсегда исчезла в небытии. Когда мой вагон был уже возле самого края платформы, я увидел над ее ограждением укрепленную на двух шестах табличку с надписью: „СТАНЦИЯ ЛОЗОВАЯ“.

Тверской бульвар был почти таким же, как и тогда, когда я последний раз его видел — опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели неподвижные старухи, стерегущие пестро одетых детей, занятых затяжной сугробной войной; вверху, над черной сеткой проводов, висело близкое-близкое к земле небо.

Была, впрочем, и разница, которую я заметил, дойдя до конца бульвара. Бронзовый Пушкин исчез, но зияние пустоты, возникшее в месте, где он стоял, странным образом казалось лучшим из всех возможных памятников. Там, где раньше был Страстной монастырь, теперь тоже была пустота, чуть прикрытая чахлыми деревьями и безвкусными фонарями.

Сев на лавку напротив невидимого памятника, я закурил сигаретку с коротким желтым мундштуком, которой меня любезно угостил сидевший рядом офицер в какой-то опереточной форме. Сигаретка сгорела быстро, как бикфордов шнур, оставив у меня во рту легкий привкус селитры.

В моем кармане было несколько мятых купюр — по виду они мало отличались от памятных мне радужных думских сотен, но были значительно меньше по размеру. Еще на вокзале я выяснил, что хватит этого на один обед в недорогом ресторане. Довольно долго я сидел на лавке, размышляя, как быть. Уже начинало темнеть, и на крышах знакомых домов (их было довольно много вокруг) зажигались огромные электрические надписи на каком-то диком волапюке — „SAMSUNG“, „OCA-CO A“, „OLBI“. В этом городе мне совершенно некуда было идти; я чувствовал себя персом, по непонятной причине прибежавшим из Марафона в Афины.

— А знаете ли вы, милостивый государь, что это такое, когда некуда больше идти? — тихо пробормотал я, глядя на горящие в небе слова, и засмеялся, вспомнив женщину-Мармеладова из „Музыкальной Табакерки“.

И вдруг мне стало совершенно ясно, что делать дальше.

Встав со скамейки, я перешел дорогу, остановился на краю тротуара и поднял руку, чтобы остановить какое-нибудь авто. Почти сразу же возле меня затормозила дребезжащая машина каплеобразной формы,

вся забрызганная снежной грязью. За ее рулем сидел бородатый господин, чем-то напомнивший мне графа Толстого — вот только борода у него была немного куцей.

— Вам куда? — спросил господин.

— Знаете, — сказал я, — я не помню точного адреса, но мне нужно место, которое называется „Музыкальная Табакерка“. Кафе. Где-то тут неподалеку — вниз по бульвару и налево. Недалеко от Никитских Ворот.

— Что, на Герцена?

Я пожал плечами.

— Не слышал про такое кафе, — сказал бородатый господин. — Наверно, недавно открылось?

— Почему, — сказал я, — довольно давно.

— Десять тысяч, — сказал господин. — Деньги вперед.

Открыв дверь, я сел на сиденье рядом с ним. Машина тронулась с места. Я украдкой поглядел на него. На нем был странного вида пиджак, покроем напоминавший военный френч вроде тех, что любило носить большевистское начальство, но сшитый из какого-то либерального клетчатого сукна.

— У вас хороший автомобиль, — сказал я.

Ему явно польстили мои слова.

— Сейчас уже старый, — ответил он, — а после войны лучше „Победы“ машины в мире не было.

— После войны? — переспросил я.

— Ну, конечно, не все время после войны, — сказал он, — но лет пять точно. А сейчас развалили все к ё...ной матери. Поэтому коммунисты к власти и пришли.

— Только не надо о политике, — сказал я, — я в ней абсолютно не смыслю и все время путаюсь.

Он быстро поглядел на меня.

— А вот потому-то, молодой человек, такая кругом разруха, что вы и люди вроде вас в ней не смыс-

лят. А что такое политика? Это то, как нам жить дальше. Если бы каждый думал о том, как обустроить Россию, вот тогда она и не нуждалась бы ни в каком обустройстве. Такая, с позволения сказать, диалектика.

— А куда вы собираетесь повесить эту диалектику? — спросил я.

— Прошу прощения?

— Нет, — сказал я, — ничего.

Мы остановились в начале бульвара. Впереди был затор — там раздавались тревожные гудки и мигали оранжевые и красные огни фар. Бородатый господин молчал, и я подумал, что он мог счесть мои слова недружелюбными. Мне захотелось загладить неловкость.

— Знаете, — заговорил я, — если история нас чему-нибудь учит, так это тому, что все, пытавшиеся обустроить Россию, кончали тем, что она обустривала их. Причем, как бы это сказать, далеко не по лучшим эскизам.

— Правильно, — сказал господин. — Вот именно поэтому и надо думать, как нам обустроить ее так, чтобы этого больше не происходило.

— Что касается меня, то мне не надо об этом думать, — сказал я. — Я отлично знаю, как обустроить Россию.

— Да? И как же?

— А очень просто. Всякий раз, когда в сознании появляются понятие и образ России, надо дать им самораствориться в собственной природе. А поскольку никакой собственной природы у понятия и образа России нет, в результате Россия окажется полностью обустроенной.

Он внимательно поглядел на меня.

— Понятно, — сказал он. — Американским сионистам только этого и надо. Потому-то всему вашему поколению мозги и запорошили.

Машина тронулась с места и повернула на Никитскую.

— Не очень понимаю, о ком вы говорите, — сказал я, — но в таком случае надо взять и обустроить этих американских сионистов.

— А их вы, интересно, как обустроите?

— Точно так же, — ответил я. — И Америку тоже обустроить надо. Да и вообще, зачем входить в частности. Если уж обустраивать, так весь мир сразу.

— Так что же вы этого не сделаете?

— Именно это я и собираюсь сегодня осуществить, — сказал я.

Господин снисходительно кивнул бородой.

— Глупо, конечно, говорить с вами всерьез, но я должен заметить, что не вы первый порете эту чушь. Делать вид, что сомневаешься в реальности мира — самая малодушная форма ухода от этой самой реальности. Полное убожество, если хотите знать. Несмотря на свою кажущуюся абсурдность, жестокость и бессмысленность, этот мир все же существует, не так ли? Существует со всеми проблемами, которые в нем есть?

Я промолчал.

— Поэтому разговоры о нереальности мира свидетельствуют не о высокой духовности, а совсем наоборот. Не принимая творения, вы тем самым не принимаете и Творца.

— Я не очень понимаю, что такое „духовность“, — сказал я. — А что касается творца этого мира, то я с ним довольно коротко знаком.

— Вот как?

— Да-с. Его зовут Григорий Котовский, он живет в Париже, и, судя по тому, что мы видим за окнами вашей замечательной машины, он продолжает злоупотреблять кокаином.

— Это все, что вы можете про него сказать?

— Пожалуй, еще я могу сказать, что голова у него сейчас залеплена пластырем.

— Понятно. Вы, позвольте спросить, из какой психиатрической больницы сбежали?

Я задумался.

— Кажется, из семнадцатой. Да, точно, там у дверей была такая синяя вывеска, и на ней была цифра семнадцать. И еще было написано, что больница образцовая.

Машина затормозила.

Я поглядел в окно. За ним было здание консерватории. Мы были где-то рядом с „Табакеркой“.

— Слушайте, — сказал я, — давайте спросим дорогу.

— Я вас дальше не повезу, — сказал господин. — Вылезайте из машины ко всем чертям.

Пожав плечами, я открыл дверь и вылез. Каплеобразный автомобиль сорвался с места и укатил в направлении Кремля. Было обидно, что моя попытка говорить откровенно и искренне натолкнулась на такой прием. Впрочем, к моменту, когда я добрался до угла консерватории, я уже полностью обустроил бородатого господина со всеми его чертами.

Я огляделся по сторонам. Улица определенно была мне знакома. Я прошел по ней с полсотни метров и увидел поворот направо. И почти сразу же за ним была знакомая подворотня, у которой автомобиль фон Эрнена остановился в ту памятную зимнюю ночь. Она была такой же в точности, как и тогда, только, кажется, изменился цвет дома. И еще на мостовой перед подворотней стояло множество разноцветных машин самых разнообразных очертаний.

Быстро пройдя невыразимо угнетающий двор, я оказался перед дверью, над которой торчал футуристический козырек из стекла и стали. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска:

ИВАН БЫК

John Bull Pubis International

Несколько соседних с дверью окон, закрытых полуспущенными розовыми гардинами, светились; из-за них доносился заунывно-механический звук неясного инструмента.

Я потянул на себя дверь. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и пальто; в его конце была неожиданно грубая стальная дверь. Навстречу мне поднялся с табурета похожий на преступника человек в канареечном пиджаке с золотыми пуговицами; в руке у него была странного вида телефонная трубка с оборванным проводом, от которого оставался кусок длиной не более дюйма. Я готов был поклясться, что за секунду перед тем, как встать мне навстречу, он говорил в эту трубку, от возбуждения покачивая ногой, причем держал ее неправильно — так, что обрывок провода был вверху. Эта трогательная детская способность полностью погружаться в свои фантазии, совершенно необычная для такого громила, заставила меня испытать к нему нечто вроде симпатии.

— У нас вход только для членов клуба, — сказал он.

— Слушайте, — сказал я. — Я тут совсем недавно был с двумя приятелями, помните? Вас еще прикладом в пах ударили.

На недобром лице канареечного господина проступили усталость и отвращение.

— Помните? — переспросил я.

— Помню, — сказал он. — Но ведь мы уже заплатили.

— Я не за деньгами, — ответил я. — Мне бы хотелось просто посидеть у вас. Поверьте, я буду здесь недолго.

Канареечный господин вымученно улыбнулся, от-

крыл стальную дверь, за которой висела бархатная штора, откинул ее, и я вошел в полутемный зал.

Место изменилось мало — оно по-прежнему напоминало ресторан средней руки с претензией на шик. За небольшими квадратными столиками, в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил гашиш. Освещала все это большая круглая люстра странного вида — она медленно вращалась вокруг оси, и по залу, словно лунные зайчики, плыли пятна тусклого света. На меня никто не обратил внимания, и я сел за пустой столик недалеко от входа.

Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где, за небольшим клавишным органчиком, стоял мужчина средних лет с черной звериной бородой на широколицем лице и отвратительным голосом пел:

— Не убивай — не убивал.

Не предавай — не предавал.

Не пожалей — отдам последнюю рубаху.

Не укради — вот тут я дал, вот тут я дал в натуре

маху...

Это был припев. Кажется, в песне шла речь о христианских заповедях, но рассматривались они под несколько странным углом. Непривычная для меня манера пения, видимо, была близка собравшимся в зале — каждый раз, когда повторялось загадочное „вот тут я дал в натуре маху“, над залом проносился шелестящий аплодисмент, и певец, не переставая ласкать огромными ладонями свой инструмент, слегка кланялся.

Мне стало чуть грустно. Я всегда гордился своей способностью понимать новейшие веяния в искусстве и узнавать то вечное и неизменное, что скрывалось за неожиданной и изощренной формой, но сейчас разрыв между моим привычным опытом и тем, что я видел, был слишком велик. Впрочем, объяснение могло быть простым — кто-то говорил мне, что Котовский до своего знакомства с Чапаевым был чуть ли не уго-

ловником, и именно здесь могла скрываться причина моей полной неспособности расшифровать эту странную культуру, проявления которой ставили меня в тупик еще в сумасшедшем доме.

Портьера у входа колыхнулась, и оттуда высунулся человек в канареечном пиджаке, по-прежнему сжимающий в руке телефонную трубку. Он щелкнул пальцами и кивнул на мой столик. Тотчас передо мной вырос половой в черном пиджаке и бабочке. В руках у него была кожаная папка с меню.

— Что будем кушать? — спросил он.

— Есть я не хочу, — ответил я, — а вот водочки бы выпил с удовольствием. Озяб.

— Смирнофф? Столичная? Абсолют?

— Абсолют, — ответил я. — И еще мне хотелось бы... Как бы это сказать... Чего-нибудь растормаживающего.

Половой с сомнением поглядел на меня, потом повернулся к канареечному господину и сделал какой-то шулерский жест. Канареечный господин кивнул. Тогда половой склонился к моему уху и прошептал:

— Псилоцибы? Барбитураты? Экстаз?

Сеунду или две я мысленно взвешивал эти иероглифы.

— Знаете что? Возьмите экстаз и растворите его в абсолюте. Будет в самый раз.

Половой еще раз повернулся к канареечному господину, еле заметно пожал плечами и крутанул пальцами у виска. Тот гневно наморщился и опять кивнул головой.

На моем столе появились пепельница и ваза с бумажными салфетками. Последнее было очень кстати. Я вытащил из кармана ручку, которую стащил у Жербунова, взял салфетку и хотел было начать писать, как вдруг заметил, что ручка кончается не пером, а дырой, очень похожей на обрез ствола. Я развинтил ее, и на стол выпал небольшой патрон с чер-

ной свинцовой пулей без оболочки, вроде тех, что продают к ружьям „Монтекристо“. Это остроумное изобретение было весьма кстати — без браунинга в кармане брюк я чувствовал себя немного шарлатаном. Аккуратно вставив патрон на место, я завинтил ручку и жестом попросил бледного господина в канареечном пиджаке дать мне что-нибудь пишущее.

Подошел половой с подносом, на котором стоял стакан.

— Ваш заказ, — сказал он.

Залпом выпив водку, я принял из рук канареечного господина самопишущее перо и углубился в работу. Сначала слова никак не хотели слушаться, но потом заунывные звуки органа подхватили меня, понесли, и подходящий текст был готов буквально через десять минут.

К этому времени бородатый певец исчез. Я не заметил момента его ухода со сцены, потому что музыка все время продолжала звучать. Это было очень странно — играл целый невидимый оркестр, минимум из десяти инструментов, но музыкантов не было видно. Причем это явно было не радио, к которому я привык в лечебнице, и не граммофонная запись — звук был очень чистым и, несомненно, живым. Моя растерянность прошла, когда я догадался, что это действует принесенная половым смесь. Я стал вслушиваться в музыку и вдруг четко различил фразу на английском языке, которую хриплый голос пропел где-то совсем рядом с моим ухом:

— You had to stand beneath my window
with your bagel and your drum
while I was waiting for the miracle —
for the miracle to come...

Я вадрогнул.

Это и был знак, которого я ждал. Ясно это было по словам „miracle“, „drum“ (это, бесспорно, относилось к

Котовскому) и „bager“ (тут ни в каких комментариях не было нужды). Правда, певец, кажется, не вполне владел английским — он произносил „bager“ как „bugle“, но это было неважно. Сидеть дальше в этом прокуренном зале не имело смысла. Я встал и, покачиваясь, неторопливо поплыл к сцене через пульсирующий аквариум зала.

Музыка стихла, что было очень кстати. Забравшись на эстраду, я облокотился на органчик, затянувший в ответ протяжную ноту неприятного тембра, и оглядел напряженно затихший зал. Публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это обычно случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых блядей. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства — и это, без всяких сомнений, было лицо старухи-процентщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. У закрывавшей вход портьеры появилось несколько похожих на переодетых матросов парней с румяными от мороза щеками; канареечный господин что-то быстро залопотал, кивая в мою сторону головой.

Убрав локоть с гудящего органчика, я поднес к глазам исписанную салфетку, откашлялся и, в своей прежней манере, никак совершенно не интонируя, а только делая короткие паузы между катернами, прочел:

— Вечное невозвращение.

Принимая разные формы, появляясь, исчезая
и меняя лица,
И пиля решетку уже лет, наверное, около семиста
Из семнадцатой образцовой психиатрической
больницы
Убегает сумасшедший по фамилии Пустота.
Времени для побега нет, и он про это знает.

Больше того, бежать некуда, и в это некуда нет пути.
Но все это пустяки по сравнению с тем, что того,
кто убегает
Нигде и никак не представляется возможным найти.

Можно сказать, что есть процесс пиления решетки,
А можно сказать, что никакого пиления решетки нет.
Поэтому сумасшедший Пустота носят на руке

лиловые четки
И никогда не делает вида, что знает хоть один ответ.
Потому что в мире, который имеет свойство деваться
непонятно куда
Лучше ни в чем не клясться, а одновременно
говорить „Нет, нет“ и „Да, да.“

С этими словами я поднял жербуновскую ручку и выстрелил в люстру. Она лопнула, как елочная игрушка, и под потолком полыхнуло ослепительным электрическим огнем. Зал погрузился во тьму, и сразу же у двери, где стояли канареечный господин и румяные парни, засверкали вспышки выстрелов. Я упал на четвереньки и медленно пополз вдоль края эстрады, морщась от нестерпимого грохота. В противоположном конце зала тоже начали стрелять, причем сразу из нескольких стволов, и от стальной двери в зал полетели веселые новогодние искры рикошетов. Я сообразил, что ползти надо не вдоль края эстрады, а к кулисам, и повернул на девяносто градусов.

От стальной двери донесся стон, похожий на вой раненого волка. Пуля сшибла органчик с подставки, и он шлепнулся на пол совсем рядом со мной. Наконец-то, думал я, ползя к кулисам, наконец-то я попал в люстру. Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен — выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки? Какая глубина символа, думал я, и как жаль, что никто из сидящих в зале не в состоянии оценить увиденное. Впрочем, думал я, как знать.

За кулисами было так же темно, как и в зале — похоже, электричество отказало на всем этаже. При моем появлении кто-то кинулся прочь по коридору, споткнулся, упал, но не встал, а затаился в темноте. Поднявшись с четверенок на ноги, я выставил руки вперед и побрел по невидимому коридору. Как оказалось, я отлично запомнил дорогу к двери черного хода. Она была заперта. Провозившись минуту с замком, я открыл его и оказался на улице.

Несколько глотков морозного воздуха привели меня в чувство, но все равно приходилось опираться на стену — поход по коридору оказался невероятно утомительным.

Входная дверь, от которой меня отделяло метров пять заснеженного асфальта, распахнулась, из нее выскочили два человека, подбежали к длинному черному автомобилю и открыли крышку багажного отделения. У них в руках появились жуткого вида ружья, и они, даже не захлопнув крышку, кинулись назад — словно больше всего на свете их пугала возможность того, что они не успеют принять участия в происходящем. На меня они даже не посмотрели.

В черных окнах ресторана одна за другой появлялись новые дыры; ощущение было такое, что в зале работают сразу несколько пулеметов. Я подумал, что в мое время люди вряд ли были добрее, но нравы определенно были мягче. Однако пора было уходить.

Пошатываясь, я прошел через двор и вышел на улицу.

Броневик Чапаева стоял как раз на том месте, где я ожидал его увидеть, и снежная шапка на его башне была именно такой, какой должна была быть. Его мотор работал, и за косой стальной кормой вилось сизое облачко дыма. Добравшись до двери, я постучал в нее. Она открылась, и я влез внутрь.

Чапаев совершенно не изменился, только его левая рука висела на черной полотняной ленте. Кисть

руки была перебинтована, и на месте мизинца под слоями марли угадывалась пустота.

Я был не в состоянии сказать ни единого слова — моих сил хватило только на то, чтобы повалиться на лавку. Чапаев сразу понял, что со мной, — захлопнув дверь, он что-то тихо сказал в переговорную трубку, и броневик тронулся с места.

— Как дела? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я. — Трудно разобраться в вихре гамм и красок внутренней противоречивой жизни.

— Понятно, — сказал Чапаев. — Тебе привет от Анны. Она просила передать тебе вот это.

Нагнувшись, он протянул здоровую руку под сиденье и поставил на стол пустую бутылку с золотой этикеткой, сделанной из квадратика фольги. Из бутылки торчала желтая роза.

— Она сказала, что ты поймешь, — сказал Чапаев. — И еще, кажется, ты обещал ей какие-то книги.

Я кивнул, повернулся к двери и припал к глазку. Сначала сквозь него были видны только синие точки фонарей, прорезавших морозный воздух, но мы ехали все быстрее — и скоро, скоро вокруг уже шуршали пески и шумели водопады милой моему сердцу Внутренней Монголии.

*Кафка-юрт,
1923—1925*

ПРИЛОЖЕНИЕ

К с. 48: to descend — слушаться, descendants — потомки

to ascend — подниматься, ascendant — предки (англ.).

К с. 76: вы уволены (игра слов: вы выстрелены) (англ.).

К с. 277: свет с востока (лат.).

К с. 330: „Среди этой неподвижности и грусти, в эти дни недоверия, быть может, все изменится — как знать? Как знать, что придет на смену тому, во что мы верим, чтобы судить наше прошлое?“ (англ.).

К с. 380: „Смотрите, миссис Браун, это огни Св. Эльма!“ — „Вы ошибаетесь, Катя. С этим кораблем не связано ничего святого. Идемте, здесь может быть опасно“.

К с. 394: „Тебе пришлось стоять под моим окном со своим бубликом и бараюаном, пока я ждал, что случится чудо“. (англ.).

К с. 395: bagel — бублик, bugle — рожок (англ.).

ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ ПЕЛЕВИН
Чапаев и Пустота

Выпускающий редактор А.Ю.Медведев.
Художественный редактор Ю.В.Архангельский.
Технолог М.С.Белоусова.
Оператор компьютерной верстки О.А.Костюков.
Зав. корректорской А.Ю.Минаева.
Зам. зав. корректорской Н.Ш.Таласбаева.
Корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский.

Издательская лицензия № 061 053 от 15 апреля 1992 года.
Подписано в печать 09.07.96. Формат 60×90/16. Гарнитура Антикva.
Печать офсетная. Объем 25 печ.л. Тираж 10 000 экз. Изд. № 345. Заказ 2605
Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Отпечатано с готовых диалозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Комитета Российской Федерации по печати.
113064, Москва, Валовая, 28.

**ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК ОБРАЩАТЬСЯ
К ЭКСКЛЮЗИВНОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ
ИЗДАТЕЛЬСТВА В «КЛУБ 36,6» ТЕЛЕФОНЫ:**

офис: (095) 261-24-90, 267-28-33
тел./факс: (095) 265-13-05

только для московских абонентов: 265-81-93, 265-20-38
крупнооптовый склад: (095) 523-92-83, 523-11-10
мелкооптовая и розничная торговля
книжная лавка «У Сытина»: (095) 230-89-00, 230-88-63
тел./факс: 237-36-11

для переписки и заказов книг по почте:
107078, Москва, л/я 245, «Клуб 36,6»

в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России
ОО «Невская книга»: (812) 567-47-56, 567-53-90

Виктор Пелевин /1962/ – самый известный и самый загадочный писатель своего поколения. Его сборник "Синий фонарь" был удостоен в 1994 году "Малого Букера", а романы "Омон Ра" и "Жизнь насекомых" переведены на десятки языков. Новый роман Пелевина самим автором определяется так: "Это первый роман в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте". На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, у которого главный герой – поэт-декадент Петр Пустота – служит комиссаром.



ВАГРИУС

145472
76000